

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

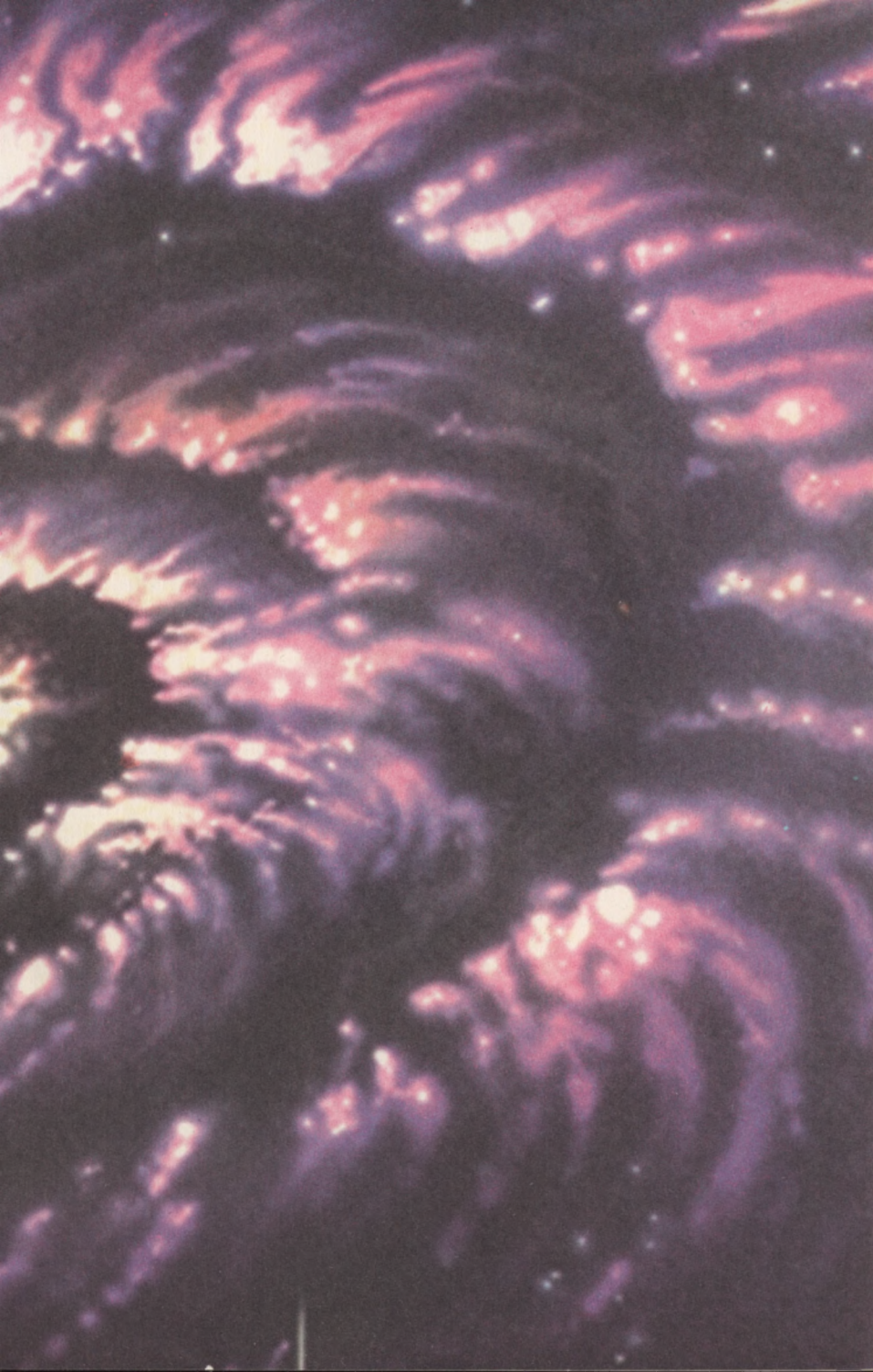
6

# МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО  
ПОЮ!







# РЭЙ БРЭДБЕРИ





# **WORLDS OF RAY BRADBURY**

---

---

Volume six

**I SING THE BODY  
ELECTRIC!**

**S IS FOR SPACE**

«POLARIS» PUBLISHERS  
1997

# **МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ**

---

Том шестой

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО  
ПОЮ!**

**К — ЗНАЧИТ КОСМОС**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»  
1997



*Издание подготовлено  
совместно с АО «Титул»*

х

**Миры Рэя Бредбери. Т. 6 / Пер. с англ. — Полярис,  
1997. — 382 с.**

В очередной том собрания сочинений одного из самых поэтичных и своеобразных фантастов Америки вошли его рассказы из авторских сборников зрелых лет «Электрическое тело покою!», «К — значит космос» и других.

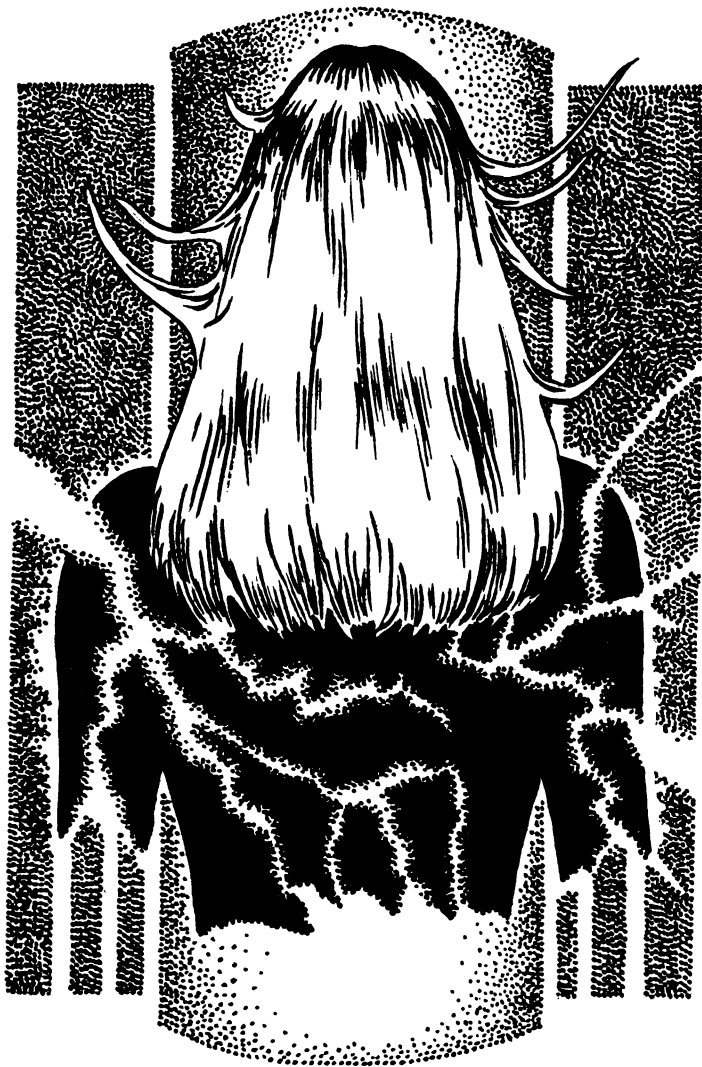
**Произведения, включенные в данное издание, охраняются  
законом об авторском праве. Перепечатка отдельных рассказов  
и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя  
и переводчика. Всякое коммерческое использование данного  
издания возможно исключительно с письменного разрешения  
издателя.**

*Иллюстрация на обложку печатается с разрешения  
художника Chris Moore и его агентов:  
Artbank International, Великобритания,  
и Александра Корженевского, Россия*

**I Sing the Body Electric!  
Copyright © 1969 by Ray Bradbury**

**© Издательство «Полярис»,  
составление, оформление,  
название серии, 1997**

**ISBN 5-88132-301-3**



**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
ТЕЛО ПОЮ!**





## МАШИНА ДО КИЛИМАНДЖАРО

**Я** приехал на грузовике ранним-ранним утром. Гнал всю ночь, в мотеле все равно не уснуть, вот я и решил — лучше уж не останавливаться, и прикатил в горы близ Кетчума и Солнечной долины как раз к восходу солнца, и рад был, что веду машину и ни о чем больше думать недосуг.

В городок я въехал, ни разу не поглядев на ту гору. Боялся, что, если погляжу, это будет ошибка. Главное — не смотреть на могилу. По крайней мере так мне казалось. А тут уж надо полагаться на свое чутье.

Я поставил грузовик перед старым кабачком и пошел бродить по городку, и поговорил с разными людьми, и подышал здешним воздухом, свежим и чистым. Нашел одного молодого охотника, но он был не то, что надо, я поговорил с ним всего несколько минут и понял — не то. Потом нашел очень старого старика, но этот был не лучше. А потом я нашел охотника лет пятидесяти, и он оказался в самый раз. Он мигом понял или, может, почуял, чего мне надо.

Я угостил его пивом, и мы толковали о всякой всячине, потом я спросил еще пива и понемногу подвел разговор к тому, что я тут делаю и почему хотел с ним потолковать. Мы замолчали, и я ждал, стараясь не выдать нетерпение, чтобы охотник сам завел речь о прошлом, о тех днях, три года тому назад, и о том, как бы



выбрать время и съездить к Солнечной долине, и о том, видел ли он человека, который когда-то сидел здесь, в баре, и пил пиво, и говорил об охоте, и ходил отсюда на охоту, — и рассказал бы все, что знает про этого человека.

И, наконец, глядя куда-то в стену так, словно то была не стена, а дорога в горы, охотник собрался с духом и негромко заговорил.

— Тот старик, — сказал он. — Да, старик на дороге. Да-да, бедняга.

Я ждал.

— Никак не могу забыть того старика на дороге, — сказал он и, понурясь, уставился на свое пиво.

Я отхлебнул еще из своей кружки — стало не по себе, я почувствовал, что и сам очень стар и устал.

Молчание затягивалось, тогда я достал карту здешних мест и разложил ее на дощатом столе. В баре было тихо. В эту утреннюю пору мы тут были совсем одни.

— Это здесь вы его видели чаще всего? — спросил я.

Охотник трижды коснулся карты.

— Я часто видел, как он проходил вот тут. И вон там. А тут срезал наискосок. Бедный старикан. Я все хотел сказать ему, чтоб не ходил по дороге. Да только не хотелось его обидеть. Такого человека не станешь учить — это, мол, дорога, еще попадешь под колеса. Если уж он попадет под колеса, так тому и быть. Соображаешь, что это уж его дело, и едешь дальше. Но под конец и старый же он был...

— Да, верно, — сказал я, сложил карту и сунул в карман.

— А вы что, тоже из этих, из газетчиков? — спросил охотник.

— Из этих, да не совсем.

— Я ж не хотел валить вас с ними в одну кучу, — сказал он.

— Не стоит извиняться, — сказал я. — Скажем так: я — один из его читателей.

— Ну, читателей-то у него хватало, самых разных. Я и то его читал. Вообще-то я круглый год книг в руки не беру. А его книги читал. Мне, пожалуй, больше всех

мичиганские рассказы нравятся. Про рыбную ловлю. По-моему, про рыбную ловлю рассказы хороши. Я думаю, про это никто так не писал и, может, уж больше так не напишут. Конечно, про бой быков тоже написано неплохо. Но это от нас далековато. Хотя некоторым пастухам да скотоводам нравится: они-то весь век около этой животины. Бык — он бык и есть, уж верно, что здесь, что там, все едино. Один пастух, мой знакомец, в испанских рассказах старика только про быков и читал, сорок раз читал. Так он мог бы хоть сейчас туда поехать и драться с этими быками, вот честное слово.

— По-моему, — сказал я, — в молодости каждый из нас, прочитав эти его испанские рассказы про быков, хоть раз да почувствовал, что может туда поехать и драться. Или уж по крайней мере пробежать рысцей впереди быков, когда их выпускают рано поутру, а в конце дорожки ждет добрая выпивка, и твоя подружка с тобой на весь долгий праздник.

Я запнулся. И тихонько засмеялся. Потому что и сам не заметил, как заговорил в лад то ли речам старика, то ли его строчкам. Покачал я головой и замолчал.

— А у могилы вы уже побывали? — спросил охотник так, будто знал, что я отвечу: да, был.

— Нет, — сказал я.

Он очень удивился. Но постарался не выдать удивления.

— К могиле все ходят, — сказал он.

— К этой я не ходок.

Он пораскинул мозгами, как бы спросить повежливей.

— То есть... — сказал он. — А почему нет?

— Потому что это неправильная могила, — сказал я.

— Если вдуматься, так все могилы неправильные, — сказал он.

— Нет, — сказал я. — Есть могилы правильные и неправильные, все равно как умереть можно вовремя и не вовремя.

Он согласно кивнул: я снова заговорил о вещах, в которых он разбирался или по крайней мере нюхом чувял, что тут есть правда.

— Ну ясно, — сказал он. — Знавал я таких людей, отлично помирали. Тут всегда чувствуешь — вот это было хорошо. Знал я одного, сидел он за столом, дожидался ужина, а жена была в кухне, приходит она с миской супа, а он эдак чинно сидит за столом мертвый — и все тут. Для нее-то, конечно, худо, а для него плохо ли? Никаких болезней, ничего такого. Просто сидел, ждал ужина, да так и не узнал, принесли ему ужинать, нет ли. А то еще с одним приятелем вышло. Был у него старый пес. Четырнадцать лет от роду. Дряхлый уже, почти слепой. Под конец приятель решил свезти его к ветеринару и усыпить. Усадил он старого, дряхлого, слепого пса в машину рядом с собой, на переднее сиденье. Пес разок лизнул ему руку. У приятеля аж все перевернулось внутри. Поехали. А по дороге пес без звука кончился, так и помер на переднем сиденье, будто знал, что к чему, и выбрал способ получше, просто испустил дух — и все тут. Вы ведь про это говорите, верно?

Я кивнул.

— Стало быть, по-вашему, та могила на горе — неправильная могила для правильного человека, так, что ли?

— Примерно так, — сказал я.

— По-вашему, для всех нас на пути есть разные могилы, что ли?

— Очень может быть, — сказал я.

— И коли мы могли бы увидеть всю свою жизнь с начала до конца, всяк выбрал бы себе которая лучше? — спросил охотник. — В конце оглянешься и скажешь: черт подери, вот он был, подходящий год и подходящее место — не другой, на который оно пришлось, и не другое место, а вот только тогда и только там надо было помирать. Так, что ли?

— Раз уж только и остается выбирать, не то все равно выставят вон, выходит, что так, — сказал я.

— Неплохо придумано, — сказал охотник. — Только у многих ли достало бы ума? У большинства ведь не хватает соображения убраться с пирушки, когда выпивка на исходе. Все мы норовим засидеться подольше.

— Норовим засидеться, — подтвердил я. — Стыд и срам.

Мы спросили еще пива.

Охотник разом выпил полкружки и утер рот.

— Ну а что можно поделатъ, коли могила неправильная? — спросил он.

— Не замечать, будто ее и нет, — сказал я. — Может, тогда она исчезнет, как дурной сон.

Охотник коротко засмеялся, словно всхлипнул:

— Рехнулся, брат! Ну ничего, я люблю слушать, которые рехнулись. Давай болтай еще.

— Больше нечего, — сказал я.

— Может, ты есть воскресение и жизнь?

— Нет.

— Может, ты велишь Лазарю встать из гроба?

— Нет.

— Тогда чего ж?

— Просто я хочу, чтоб можно было под самый конец выбрать правильное место, правильное время и правильную могилу.

— Вот выпей-ка, — сказал охотник. — Тебе полезно. И откуда ты такой взялся?

— От самого себя. И от моих друзей. Мы собрались вдсятером и выбрали одного. Купили в складчину грузовик — вон он стоит, — и я покатыл через всю страну. По дороге много охотился и ловил рыбу, чтоб настроиться, как надо. В прошлом году побывал на Кубе. В позапрошлом провел лето в Испании. А еще перед тем съездил летом в Африку. Накопилось вдоволь о чем поразмыслить. Потому меня и выбрали.

— Для чего выбрали, черт подери, для чего? — напористо, чуть не с яростью спросил охотник и покачал головой. — Ничего тут не поделаешь. Все уже кончено.

— Все, да не совсем, — сказал я. — Пошли.

И шагнул к двери. Охотник остался сидеть. Потом взгляделся мне в лицо — оно все горело от этих моих речей, — ворча поднялся, догнал меня, и мы вышли.

Я показал на обочину, и мы оба поглядели на грузовик, который я там оставил.

— Я такие видел, — сказал охотник. — В кино показывали. С таких стреляют носорогов, верно? Львов и все такое? В общем, на них разъезжают по Африке, верно?

— Правильно.

— У нас тут львы не водятся, — сказал он. — И носороги тоже, и буйволы, ничего такого нету.

— Нету? — переспросил я.

Он не ответил.

Я подошел к открытой машине, коснулся борта.

— Знаешь, что это за штука?

— Ничего я больше не знаю, — сказал охотник. — Считаю меня круглым дураком. Так что это у тебя?

Долгую минуту я поглаживал крыло. Потом сказал:

— Машина Времени.

Он вытаращил глаза, потом прищурился, отхлебнул пива (он прихватил с собой кружку, зажав ее в широкой ладони). И кивнул мне — валяй, мол, дальше.

— Машина Времени, — повторил я.

— Слышу, не глухой, — сказал он.

Он прошел вдоль борта, отступил на середину улицы и стал разглядывать машину — да, с такими и правда охотятся в Африке. На меня он не смотрел. Обошел ее всю кругом, вновь остановился на тротуаре и установил на крышку бензобака.

— Сколько миль из нее можно выжать? — спросил он.

— Пока не знаю.

— Ничего ты не знаешь, — сказал он.

— Первый раз еду, — сказал я. — Съезжу до места, тогда узнаю.

— И чем же такую штуку заправлять?

Я промолчал.

— Какое ей нужно горючее? — опять спросил он.

Я мог бы ответить: надо читать до поздней ночи, читать по ночам год за годом, чуть не до утра, читать в горах, где лежит снег, и в полдень в Памплоне, читать сидя у ручья или в лодке где-нибудь у берегов Флориды. А еще я мог сказать: все мы приложили руку к этой машине, все мы думали о ней и купили ее, и касались



ее, и вложили в нее нашу любовь и память о том, что сделали с нами его слова двадцать, двадцать пять или тридцать лет тому назад. В нее вложена уйма жизни, и памяти, и любви — это и есть бензин, горючее, топливо, называй как хочешь; дождь в Париже, солнце в Мадриде, снег на вершинах Альп, дымки ружейных выстрелов в Тироле, солнечные блики на Гольфстриме, взрывы бомб и водяные взрывы, когда выскакивает из реки рыба, — вот он, потребный тут бензин, горючее, топливо; так я мог бы сказать, так подумал, но говорить не стал.

Должно быть, охотник почуял, о чем я думаю, — глаза его сузились, долгие годы в лесу научили его читать чужие мысли, — и он принялся ворочать в голове мою затею.

Потом подошел и... вот уж этого трудно было ждать! Он протянул руку... и коснулся моей машины.

Он положил ладонь на капот и так и стоял, словно прислушивался, есть ли там жизнь, и рад был тому, что ощутил под ладонью. Долго он так стоял.

Потом без единого слова повернулся и, не взглянув на меня, ушел обратно в бар и сел пить в одиночестве, спиной к двери.

И мне не захотелось нарушать молчание. Похоже, вот она, самая подходящая минута поехать попытать счастья.

Я сел в машину и включил зажигание.

Сколько миль из нее можно выжать? Какое ей нужно горючее? — подумал я. И покатил.

Я катил по шоссе, не глядя ни направо, ни налево, так и ездил добрый час взад и вперед и порой на секунду-другую зажимивался, так что запросто мог съехать с дороги и перевернуться, а то и разбиться насмерть.

А потом около полудня солнце затянуло облаками, и вдруг я почувствовал — все хорошо.

Я поднял глаза, глянул на гору и чуть не заорал.

Могила исчезла.

Я как раз спустился в неглубокую ложбинку, а впереди на дороге одиноко брел старик в толстом свитере.

Я сбросил скорость, и, когда нагнал пешехода, машина моя поползла с ним вровень. На нем были очки в стальной оправе; довольно долго мы двигались бок о бок, словно не замечая друг друга, а потом я окликнул его по имени.

Он чуть поколебался, потом зашагал дальше.

Я нагнал его на своей машине и опять сказал:

— Папа.

Он остановился, выжидая.

Я затормозил и сидел, не снимая рук с баранки.

— Папа, — повторил я.

Он подошел, остановился у дверцы.

— Разве я вас знаю?

— Нет. Зато я знаю вас.

Он поглядел мне в глаза, всмотрелся в лицо, в губы:

— Да, похоже, что знаете.

— Я вас увидел на дороге. Думаю, нам с вами по пути. Хотите, подвезу?

— Нет, спасибо, — сказал он. — В этот час хорошо пройти пешком.

— Вы только послушайте, куда я еду.

Он двинулся было дальше, но приостановился и, не глядя на меня, спросил:

— Куда же?

— Путь долгий.

— Похоже, что долгий, по тому, как вы это сказали.

А покороче вам нельзя?

— Нет, — отвечал я. — Путь долгий. Примерно две тысячи шестьсот дней да прибавить или убавить денек-другой и еще полдня.

Он вернулся ко мне и заглянул в машину.

— Значит, вон в какую даль вы собрались?

— Да, в такую даль.

— В какую же сторону? Вперед?

— А вы не хотите вперед?

Он поглядел на небо.

— Не знаю. Не уверен.

— Я не вперед еду, — сказал я. — Еду назад.

Глаза его стали другого цвета. Мгновенная, едва уловимая перемена, словно в облачный день человек вышел из тени дерева на солнечный свет.

— Назад...

— Где-то посередине между двух и трех тысяч дней, день пополам, плюс-минус час, прибавить или отнять минуту, поторгуюсь из-за секунды, — сказал я.

— Язык у вас ловко подвешен, — сказал он.

— Так уж приходится, — сказал я.

— Писатель из вас никудышный, — сказал он. — Кто умеет писать, тот говорить не мастер.

— Это уж моя забота, — сказал я.

— Назад? — Он пробовал это слово на вес.

— Разворачиваю машину, — сказал я. — И возвращаюсь вспять.

— Не по милям, а по дням?

— Не по милям, а по дням.

— А машина подходящая?

— Для того и построена.

— Стало быть, вы изобретатель?

— Просто читатель, но так вышло, что изобрел.

— Если ваша машина действует, так это всем машинам машина.

— К вашим услугам, — сказал я.

— А когда вы доедете до места, — начал старик, взялся за дверцу, нагнулся, сам того не замечая, и вдруг спохватился, отнял руку, выпрямился во весь рост и тогда только договорил: — Куда вы попадете?

— В десятое января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

— Памятный день, — сказал он.

— Был и есть. А может стать еще памятной.

Он не шевельнулся, но света в глазах прибавилось, будто он еще шагнул из тени на солнце.

— И где же вы будете в этот день?

— В Африке, — сказал я.

Он промолчал. Бровью не повел. Не дрогнули губы.

— Неподалеку от Найроби, — сказал я.

Он медленно кивнул. Повторил:

— В Африке, неподалеку от Найроби.

Я ждал.

— И если поедem — попадем туда, а дальше что? — спросил он.

— Я вас там оставляю.

— А потом?

— Вы там останетесь

— А потом?

— Это все.

— Все?

— Навсегда, — сказал я.

Старик глубоко вздохнул, провел ладонью по краю дверцы.

— И эта машина где-то на полпути обратится в самолет? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я.

— Где-то на полпути вы станете моим пилотом?

— Может быть. Никогда раньше на ней не ездил.

— Но хотите попробовать?

Я кивнул.

— А почему? — спросил он, нагнулся и посмотрел мне прямо в глаза, в упор, грозным, спокойным, яростно-пристальным взглядом. — Почему?

«Старик, — подумал я, — не могу я тебе ответить. Не спрашивай».

Он отодвинулся — почувствовал, что перехватил.

— Я этого не говорил, — сказал он.

— Вы этого не говорили, — повторил я.

— И когда вы пойдете на вынужденную посадку, — сказал он, — вы на этот раз приземлитесь немного по-другому?

— Да, по-другому.

— Немного пожестче?

— Погляжу, что тут можно сделать.

— И меня швырнет за борт, а больше никто не пострадает?

— По всей вероятности.

Он поднял глаза, поглядел на горный склон, никакой могилы там не было. Я тоже посмотрел на эту гору. И, наверно, он догадался, что однажды могилу там вырыли.

Он оглянулся на дорогу, на горы и на море, которого не видно было за горами, и на материк, что лежал за морем.

— Хороший день вы вспомнили.

— Самый лучший.

— И хороший час, и хороший миг.

— Право, лучше не сыскать.

— Об этом стоит подумать.

Рука его лежала на дверце машины — не опираясь, нет — испытующе: пробовала, ощупывала, трепетная, нерешительная. Но глаза смотрели прямо в сияние африканского полдня.

— Да.

— Да? — переспросил я.

— Идет, — сказал он. — Ловлю вас на слове, подведите меня.

Я выждал мгновенье — только раз успело ударить сердце, — дотянулся и распахнул дверцу.

Он молча поднялся в машину, сел рядом со мной, бесшумно, не хлопнув, закрыл дверцу. Он сидел рядом, очень старый, очень усталый. Я ждал.

— Поехали, — сказал он.

Я включил зажигание и мягко взял с места.

— Развернитесь, — сказал он.

Я развернул машину в обратную сторону.

— Это правда такая машина, как надо? — спросил он.

— Правда. Такая самая.

Он поглядел на луг, на горы, на дом в отдалении.

Я ждал, мотор работал вхолостую.

— Я кое о чем вас попрошу, — начал он, — когда приедем на место, не забудете?

— Постараюсь.

— Там есть гора, — сказал он, и умолк, и сидел молча, с его сомкнутых губ не слетело больше ни слова.

Но я dokonчил за него. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро, подумал я. И на западном ее склоне нашли однажды иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.



На этом склоне мы тебя и положим, думал я, на склоне Килиманджаро, по соседству с леопардом, и напишем твое имя, а под ним еще: никто не знал, что он делал здесь, так высоко, но он здесь. И напишем даты рождения и смерти, и уйдем вниз, к жарким летним травам, и пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстроногие окапи.

Заслонив глаза от солнца, старик из-под ладони смотрел, как вьется в предгорьях дорога. Потом кивнул:

— Поехали.

— Да, Папа, — сказал я.

И мы двинулись, не торопясь, я за рулем, старик — рядом со мной, спустились с косогора, поднялись на новую вершину. И тут выкатилось солнце, и ветер дохнул жаром. Машина мчалась, точно лев в высокой траве. Мелькали, уносились назад реки и ручьи. Вот бы нам остановиться на час, думал я, побродить по колено в воде, половить рыбу, а потом изжарить ее, полежать на берегу и потолковать, а может, помолчать. Но если остановимся, вдруг не удастся продолжить путь? И я дал полный газ. Мотор взревел неистовым рыком какого-то чудо-зверя. Старик улыбнулся.

— Отличный будет день! — крикнул он.

— Отличный.

Позади дорога, думал я, как там на ней сейчас, ведь сейчас мы исчезаем? Вот исчезли, нас там больше нет. И дорога пуста. И Солнечная долина безмятежна в солнечных лучах. Как там сейчас, когда нас там больше нет?

Я еще поддал газу, машина рванулась: девяносто миль в час.

Мы оба заорали, как мальчишки.

Уж не знаю, что было дальше.

— Ей-Богу, — сказал под конец старик, — знаете, мне кажется... мы летим?

## И ВСЕ-ТАКИ НАШ...

**П**итер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку: «Нет, уж этого вам у меня не отнять» — и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

— Она умерла.

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет-нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... допивайте коктейль и пойдите. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видели? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели... это и есть?..

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: “С первым апреля!” — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет-нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смигнул слезы. — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, — быстро заговорил доктор. — Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко закончил доктор, — ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив-здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. — Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С ним? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. — А откуда вы знаете, что это «он»?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли... то есть... ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто не должен его видеть. Это вы понимаете?



— Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно — Полли.

Доктор нахмурился:

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отстранил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считаю я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску:  
— Вот и молоко. А ну-ка, попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смышленный, на диво смышленный. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался, Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж

сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему все вы так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы сможете его увидеть, — прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, — сказала Полли. — Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные. — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. — Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава Богу, он не

родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да-да. Ты права. — Питер взял ее за руку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится настоящим, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести, рассудка только и хватит — приказывать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. — Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошли три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично. У вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина

избитая. но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились — там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать... — начала Пояли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.



Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидками, шестиграниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала, — ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да-да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую. — Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить «папа». Да-да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: папа.

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради Бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяя по-своему: папа, папа, папа. Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она. — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли.

Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды. — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да-да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт, — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете, — возразила Полли. — Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. — Доктор потрепал Пая по «подбородку». — Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб — Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и мягче, — и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова стал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и

ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся:

— Какая славная у вас зверюшка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком постраниствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа»! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фью! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. — Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Афганистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой. — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка... — повторила Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним — Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гудение. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы куда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним:

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то. — И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили его, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы побыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что

приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправскими философами. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами мы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся вырожденками?

— Да. Но не почувствуете себя вырожденками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в

людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежними, хорошо знакомыми, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели... — Он вздохнул. — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш, и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот, — сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, — сказал Хорн и взял жену за руку. — Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую, — сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. — И еще вам скажу, вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-



то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем...» — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно-сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет и вот зажало. И весь он тает, плавится как воск.

Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще

друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться, и шутить, и угощать всех крохотными сандвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли, и малыша разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот, — стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

## ЖЕНЩИНЫ

**О**кеан вспыхнул — как будто в зеленой комнате включили свет. Под водой, точно пар, который осенним утром выдыхает море, зашевелилось и поплыло вверх белое свечение. Из какой-то потайной впадины стали вырываться пузырьки воздуха.

Она была похожа на молнию — если посчитать море зеленым небом. И все же она не была стихией. Древняя и прекрасная, она нехотя поднималась из самых глубин. То проблеск, то шепот, то вздох — ракушка, травинка, листок... В ее безднах колыхались похожие на мозг хрупкие кораллы, желтые зрочки ламинарий, косматые пряди морской травы. Она росла с каждым приливом и с каждым веком, она по крупичкам собирала и старательно берегла и прах, и саму себя, и чернила осьминогов, и все, что рождает море.

Нет, она не была стихией.

Просто — некая светящаяся зеленая сущность в осеннем море. Ей не требовались глаза — чтобы видеть, уши — чтобы слышать, кожа — чтобы осязать. Она вышла из пучины морской. И могла быть только женщиной.

Внешне она ничем не походила на мужчину или на женщину. Но у нее были женские повадки — мягкие, вкрадчивые, лукавые. И двигалась она совсем как жен-

щина. Словом, в ней легко угадывались все знакомые женские штучки.

Карнавальные маски, серпантин, конфетти... Всё, что вбирала в себя у берега темные волны, наполняясь, словно человеческая память, — всё сияющие зеленые пряди пропускали сквозь себя. Так ветви векового дуба пропускают сквозь себя ветер. Здесь были и апельсиновые корки, и салфетки, и яичная скорлупа, и головешки от костров... Она знала: их оставили после себя длинноногие загорелые люди из каменных городов — те, что бесцельно топчут песок уединенных островков, те, кого рано или поздно с визгом и скрежетом умчат по бетонному шоссе железные демоны.

Мерцающая и пенящаяся, она медленно всплыла в утреннюю прохладу. Мерцающая и пенящаяся, всплыла в утреннюю прохладу русалочки волосы...

Она долго пробивалась сквозь тьму и теперь отдыхала на волне. Пытливо вслушивалась в берег.

Там был мужчина.

Почерневший от солнца, поджарый, с длинными стройными ногами.

Каждый день он должен был входить в воду, купаться и плавать. Но он не входил. Рядом с ним на песке лежала женщина — женщина в черном купальнике. Обычно женщина беспечно щебетала или смеялась. Иногда они держались за руки, а иногда — слушали черную плоскую коробочку, из которой лилась музыка...

Свечение безмолвно висело на волнах.

По всему, сезон уже подходит к концу. Сентябрь. Все закрывается.

В любой день он может уехать и никогда не вернуться.

Нет, сегодня он должен войти в воду.

Они жарились на песке. Негромко играло радио. **Вдруг женщина в черном купальнике беспокойно дернулась, хотя глаза ее были закрыты.**

**Мужчина продолжал лежать, подложив под голову мускулистую руку. Открытым ртом, ноздрями, всем лицом он впитывал солнце.**

— Что с тобой? — спросил мужчина.

— Страшный сон приснился, — ответила женщина в черном купальнике.

— Что, прямо днем?

— А разве тебе ничего не снится днем?

— Мне вообще ничего не снится. И никогда не снилось.

Она по-прежнему лежала на песке, ее пальцы дрожали.

— Боже, какой жуткий сон...

— О чем?

— Не знаю, — ответила женщина, как будто и в самом деле не знала. Ей снилось что-то ужасное, но что именно, она забыла. Не открывая глаз, она попыталась вспомнить.

— Значит, обо мне, — лениво потягиваясь, сказал мужчина.

— Вовсе нет, — возразила она.

— Правда-правда, — сказал он, улыбаясь самому себе. — И я был в этом сне с другой.

— Да нет же...

— Не спорь, — продолжал мужчина. — Я знаю. Я был с другой — ты застаешь нас, начинается скандал, и в результате я оказываюсь в луже собственной крови.

Женщина невольно поморщилась:

— Перестань.

— Интересно, — продолжал он. — Какая она из себя? Кажется, мужчины предпочитают блондинок?

— Ну, хватит издеваться, — сказала она. — Мне и без того плохо.

Он открыл глаза.

— Неужели этот сон так сильно на тебя подействовал?

Она кивнула:

— У меня так бывает. Иногда приснится что-нибудь днем, а потом просыпаюсь — и сама не своя.

— Бедняжка. — Он взял ее за руку. — Принести тебе что-нибудь?

— Ничего не надо.

— Мороженое? Колу? Эскимо?

— Спасибо, милый. Не беспокойся за меня. Это все последние четыре дня. Сейчас совсем не так, как в начале лета. Что-то случилось.

— Но ведь не с нами же случилось, — сказал мужчина.

— Нет-нет, конечно, не с нами, — поспешила согласиться женщина. — Только тебе не кажется, что иногда все вдруг меняется? Пирс или карусели, например. Даже хот-доги на этой неделе совсем не те, как раньше.

— Какие же?

— Как будто старые, что ли. Не знаю, как объяснить, но у меня начисто пропал аппетит... И вообще, скорее бы кончился отпуск. Да-да, больше всего на свете мне сейчас хочется домой.

— Завтра и так последний день. Ты ведь знаешь, что значит для меня эта лишняя неделя отпуска.

— Я все прекрасно понимаю, — вздохнула она. — Если бы только это место не казалось мне таким чужим и странным. Ничего не могу с собой поделать. У меня вдруг такое чувство — хочется вскочить и убежать.

— И это все из-за сна? Я со своей блондинкой и моя преждевременная кончина?

— Замолчи, — сказала женщина. — Не смей так говорить о смерти! — Она придвинулась к нему поближе. — И вообще, я сама ничего не могу понять...

— Успокойся. — Он погладил ее. — Я всегда сумею тебя защитить.

— Не меня — себя, — шепнула женщина. — У меня было такое чувство, что ты... устал от меня и... и ушел.

— Ну что ты... я же люблю тебя.

— Я просто глупая. — Она натянуто рассмеялась. — Ну и дуреха же я!

Они неподвижно лежали под куполом из неба и солнца.

— Знаешь, — задумчиво произнес мужчина, — и мне начинает казаться, что здесь стало как-то по-другому. Что-то действительно изменилось.

— Значит, ты тоже заметил... — обрадовалась она.

Он сонно улыбнулся, покачал головой и прикрыл глаза, упиваясь солнцем.

— Вот-вот... — пробормотал он, — я тоже... Мы оба... Оба перегрелись... Оба...

Мягко, одна за другой на берег выкатились три волны.

День продолжался. Солнце пощипывало небеса. В бухте качались на волнах ослепительно белые яхты. Ветер доносил запахи жареного мяса и подгоревшего лука. Песок шуршал и колыхался, точно изображение в огромном зыбком зеркале.

Под боком у лежащих доверительно бормотало о чем-то радио. На фоне светлого песка их тела были похожи на застывшие черные стрелки часов. Они не двигались. Только ресницы беспокойно трепетали, а уши пытались расслышать неслышное. То и дело языки мужчины и женщины скользили по пересохшим губам. На лбах у обоих мельчайшей водяной пылью искрился пот.

Мужчина поднял голову, не размыкая век, вслушиваясь в раскаленный воздух.

Шумно вздохнуло радио.

Он снова уронил голову на песок.

Но уже через минуту женщина почувствовала, как он вновь приподнялся. Она приоткрыла один глаз — облокотившись на песок, мужчина внимательно оглядывал пирс, небо, воду и пляж.

— Что случилось?

— Ничего, — ответил он, снова укладываясь на песок.

— Совсем ничего?

— Мне показалось, я что-то слышал.

— Это радио.

— Нет. Что-то другое.

— Значит, еще чье-то радио.

Мужчина не ответил. Она почувствовала плечом, как он с силой сжимает и разжимает руку.

— Черт, — сказал он. — Ну вот, опять.

Они лежали и оба прислушивались.

— Я не слышу ничего такого...

— Тсс! — шикнул он. — Погоди...

Волны разбивались о берег, безмолвные зеркала рассыпались на мириады переливающихся звонких осколков.

— Там кто-то поет.

— Поет?

— Честное слово, я только что слышал.

— Не может быть.

— Сама послушай.

Они немного послушали.

— Я ничего не слышу, — ледяным тоном сказала женщина.

Мужчина встал. В небе, в пирсе, в песке, в киосках с хот-догами не было ничего особенного. Только настороженная тишина... И только ветер легонько шевелил волосы на его руках и ногах.

Он шагнул к морю.

— Постой! — крикнула она.

Он посмотрел на нее сверху вниз каким-то чужим и невидящим взглядом. Он все еще прислушивался.

Женщина включила радиоприемник погромче. Из него потоком хлынули слова, обрывки музыки, какая-то песенка:

— ...моя красotka просто класс...

Он скривился и прикрыл лицо рукой.

— Выключи.

— А мне нравится! — Женщина сделала еще громче. Она прищелкивала пальцами в такт музыке, покачивалась и пыталась выдавить улыбку.

Было два часа дня.

Солнце плавилlo океан. С протяжным стоном старый пирс растекался в жарком мареве. В раскаленном небе птицы забывали, что надо махать крыльями. Солнечные лучи пронизывали зеленоватый бульон, омывающий пирс, играли в прибрежной ряби.

Пена, хрупкие коралловые извилины, зрачки водорослей вздрогнули и зашевелились.

Загорелый мужчина все еще лежал на песке, рядом с женщиной в черном купальнике.

Над водой, точно легкая дымка, стелилась музыка — как отзвук приливов и прошедших лет, морской соли



и путешествий, приятных и привычных чудес. Ее можно было сравнить с шорохом морской пены на песке, с летним дождем, с плавными движениями морской травы. Так поет затерявшийся во времени голос раковины. Так в заброшенных остовах затонувших кораблей шумно вздыхает океан. Таковую же песню ведет ветер, что тихонько дует в выброшенный на горячий песок череп.

Но радио, которое лежало на одеяле, пело громче.

Свечение, легкое, как женщина, устало опустилось вниз и скрылось. Осталось лишь несколько часов. В любую минуту они могут уйти. Если бы он только вошел в море — хотя бы на мгновение вошел в море...

Белая дымка нетерпеливо шевельнулась, вообразив его лицо и тело в воде, глубоко в воде. Почти под двадцатиметровой толщей воды, куда непреклонно несет его неведомый подводный поток, а он лишь извивается и бьется. Вода забирает тепло его тела... Хрупкие извилины кораллов, драгоценные песчинки, соленые белые космы жадно впитывают горячее дыхание, которое вырывается из его открытого рта...

Волны перекатали размытую пену ее мыслей на отмель — вода была там теплая, как парное молоко, разогретая жарким полуденным солнцем.

Он не должен уйти. Если он сейчас уйдет, то уже не вернется.

Сейчас.

Шевелились холодные коралловые щупальца.

Сейчас.

Раскаленный воздух донес чью-то мольбу.

Иди в воду. Ну же, — просила музыка, — смелее.

Женщина в черном купальнике крутила ручку приемника.

— Внимание, — орало радио. — Сегодня, сейчас вы можете купить новый автомобиль за...

— Черт! — Мужчина протянул руку и убавил громкость. — Неужели нельзя сделать потише!

— Пусть играет, — ответила женщина в черном купальнике, через плечо поглядывая на море.

Было три часа. Солнце сверкало.

Он встал, весь мокрый от пота.

— Пойду купаться, — сказал он.

— Может, принесешь мне сначала хот-дог?

— Лучше подожди, пока я искупаюсь.

— Ну пожалуйста. — Женщина надула губы. — Я хочу сейчас.

— Как ты любишь?

— Да. Три штуки.

— Три? Ого, ничего себе — пропал аппетит! — сказал он и побежал в закусочную.

Женщина подождала, когда он уйдет. Затем выключила радио. Долго лежала и прислушивалась. Тишина. Она пристально всматривалась в море, пока от солнечных бликов не закололо глаза.

Море успокоилось. Лишь легкая рябь дробила свет на миллиарды крохотных солнц.

Снова и снова женщина шурилась на волны и хмуро отводила глаза.

Мужчина прибежал назад.

— Какой горячий песок — чуть пятки не обжег! — Он бросился на одеяло. — Налетай!

Она придвинула к себе все три хот-дога, взяла один и не спеша принялась есть. Покончив с ним, передала мужчине остальные:

— Доешь, пожалуйста. Я немного пожадничала.

Он молча расправился с хот-догами.

— В следующий раз, — сказал мужчина, дожевывая, — не проси больше, чем сможешь осилить. Только добро переводить.

— Тебе, наверное, пить хочется, — сказала она, отвинчивая крышку термоса. — Допей лимонад.

— Спасибо. — Он допил. Затем довольно потер руки и сказал: — Ну, теперь в воду. — Он озабоченно взглянул на блестящее море.

— Подожди-ка, — воскликнула женщина, как будто только что вспомнила, — не купишь ли мне сначала флакон масла для загара? А то у меня все кончилось.

— А разве у тебя в сумочке не осталось?

— Ни капли.

— Могла бы сказать, когда я ходил за хот-догами, — проворчал мужчина. — Ну ладно.

Он побежал, подпрыгивая на ходу.

Когда он скрылся из виду, женщина достала из сумочки наполовину полный флакон масла, отвинтила колпачок и аккуратно вылила все в песок. При этом она поглядывала на море и улыбалась. Затем поднялась и подошла к кромке воды, пристально всматриваясь в едва заметную рябь.

«Ты его не получишь, — думала она. — Не знаю, кто ты или что, но он мой, и я его тебе не отдам. Я не понимаю, что происходит — и не берусь понять. Знаю только, что сегодня в семь мы сядем в поезд. И завтра нас здесь уже не будет. Так что оставайся и жди... Океан, море — или как там тебя... Делай, что хочешь... со мной тебе все равно не справиться».

Подняла камешек и швырнула его в море.

— Вот тебе! — крикнула она.

Мужчина стоял рядом.

— Ой! — Женщина отпрянула.

— Что это с тобой? Стоишь тут, бормочешь.

— Правда? — Она сама удивилась. — А где же масло для загара? Намажь мне, пожалуйста, спину.

Он налил в ладонь густую желтую жидкость и принялся втирать ее в золотистую кожу женщины. Время от времени она хитро поглядывала на море, кивала и словно приговаривала: «Ну что, видишь? То-то!»

Она мурлыкала, словно кошка.

— Все. — Мужчина отдал ей флакон.

Он уже наполовину зашел в воду, когда она пронзительно крикнула:

— Куда ты! Вернись!

Мужчина обернулся так, как будто она была чужой.

— Ну что там еще?

— Да ведь ты только что ел хот-доги и пил лимонад — тебе нельзя сейчас в воду, судороги сведут!

Он усмехнулся:

— Бабушкины сказки.

— Все равно возвращайся на песок и подожди часок, понял? Не хватало только, чтобы ты утонул.

— О Господи... — проворчал он.

— Давай-давай — на берег. — Женщина снова улеглась на одеяле, и он послушно присоединился к ней — продолжая оглядываться на море.

Три часа. Четыре.

В десять минут пятого погода изменилась. Лежа на песке, женщина в черном купальнике заметила это, и у нее отлегло от сердца. С трех часов на небе стали появляться тучки. Теперь откуда-то из бухты неожиданно хлынул туман. Похолодало. Внезапно подул ветер. Небо на глазах затягивало серыми тучами.

— Кажется, будет дождь, — сказала она.

— Похоже, тебя это радует, — заметил мужчина. — Последний наш день, а ты радуешься тучам.

— По радио передавали, — доверительно сообщила женщина, — что сегодня во второй половине дня — и завтра тоже — пройдут ливни. Может быть, нам уехать прямо сегодня?

— Давай останемся — вдруг прояснится. Хочется хоть один денек покупаться, — сказал он. — До сегодняшнего дня я еще ни разу не заходил в воду.

— Зато мы от души наговорились и наелись — незаметно как время и пролетело.

— Угу, — ответил он, разглядывая свои ладони.

Пушистыми длинными лентами на песок ложился туман.

— Ой! — вскрикнула женщина. — Мне на нос упала капля! — Она глупо захихикала. Глаза ее снова молодо заблестели. Она почти ликовала. — Дождик-дождик, лей-лей!

— Чему ты так радуешься? Вот чудачка...

— Помоги-ка мне свернуть одеяла. Надо скорее бежать!

Мужчина принялся медленно и задумчиво складывать одеяла.

— Вот черт, даже напоследок не искупался. Пойду хотя бы слегка окунусь. — Он улыбнулся ей. — Я мигом!

— Стой. — Она побледнела. — Еще простудишься, а мне потом за тобой ухаживать!

— Ну хорошо, хорошо. — Он отвернулся от моря. Заморосило.

Они шагали к отелю. Женщина шла впереди, что-то негромко напевая.

— Постой-ка! — крикнул он.

Женщина остановилась, не оборачиваясь. И услышала его голос — уже вдалеке.

— Там кто-то в воде! — кричал мужчина. — Кто-то тонет!

Она так и застыла на месте, с ужасом вслушиваясь в топот его ног.

— Подожди меня! — кричал он. — Я сейчас! Там кто-то тонет! Кажется, это женщина!

— Пусть ею занимаются спасатели! — крикнула в ответ она.

— Никого нет! Уже поздно! — Он бежал к самой воде, к волнам, к морю.

— Вернись! — вдруг в полный голос заверещала она. — Там никого нет! Прошу тебя, остановись!

— Не бойся, я быстро! — отозвался он. — Человек тонет, слышишь?

Туман сгустился, застучал дождь, в волнах разливалось белое сияние. Он бежал, а женщина в черном купальнике, теряя пляжные принадлежности, бежала за ним. Она что есть сил кричала, и из ее глаз лились слезы.

— Вернись! — простирала к нему руки она.

Он прыгнул прямо в хлынувшую на берег темную волну.

Женщина в черном купальнике осталась ждать под дождем.

...В шесть часов где-то за серыми тучами село солнце. Дождь мягко барабанил по волнам.

Под водой двигалось белое свечение.

На отмели призрачно белела пена, колыхались длинные, похожие на пряди волос зеленые водоросли. В плену прозрачной ряби, на самом дне, лежал мужчина.

Хрупкие пузырьки пены назревали — и тут же лопались. Мозговые извилины кораллов шевелились и дрожали — словно в них роились какие-то свои мысли. Оказывается, мужчины такие слабые... Ломаются, словно куклы... Ни на что, ни на что они не годны... Всего лишь минута под водой — и вот им уже худо, их тошнит, они бьются, а затем вдруг затихают и лежат... Лежат тихо-тихо... Надо же. Стоило ли ждать столько дней?

Что же с ним теперь делать? Вон — голова болтается, рот открыт, глаза не закрываются, кожа бледнеет. Проснись же, дуралей! Проснись!

Его омывают волны.

Он вяло покачивается, рот его широко открыт.

Нет больше ни светящейся дымки, ни длинных зеленых прядей...

Его отпустили. Волна вернула мужчину обратно на берег. К жене, которая ждала его под холодным дождем.

Дождь поливал и поливал черную морскую гладь.

И вдруг нависшее свинцовое небо прорезал пронзительный женский вопль. Его было слышно далеко вокруг.

«Ну вот, — вяло шевельнулись в воде древние песчинки, — женщина есть женщина. Ей он теперь тоже не нужен!»

В семь часов вечера дождь усилился. Стало темно и так холодно, что в отелях по всему побережью пришлось включить отопление...

## МОТЕЛЬ КУРИНЫХ ОТКРОВЕНИЙ

**Э**то случилось в 1932 году, во время Великой депрессии, в самую тяжкую ее пору. Мы сели в свой «бьюик» 1928 года выпуска и двинулись на запад — мать, отец, мой брат Слип и я. И однажды остановились в мотеле, который потом всегда называли «Мотелем куриных откровений».

Этот мотель, по словам отца, и сам был точно апокалиптическое видение, однако самое главное — у его хозяев была курица, умевшая «писать» совершенно библейские пророчества на снесенных ею яйцах, и это получалось у нее столь же непроизвольно, как непроизвольно исторгают пророчества по поводу Всевышнего, Времени и Вечности трясуны-пятидесятники, корчась и вопя в безумном экстазе во время своих молитвенных радений, словно пророчества эти с болью рвутся у них изнутри наружу, ищут выхода через рот, проступают сквозь кожу.

У всех от рождения свой дар, но с тех пор мне кажется, что куры — самые таинственные из бессловесных тварей. Особенно несушки. Ведь они умудряются — то ли намеренно, то ли чисто интуитивно — передавать людям послания свыше и как бы «пишут» их аккуратным почерком на яичной скорлупе, под которой, чуть вздрагивая во сне, ждут своего часа зародыши цыплят.

В ту долгую осень 1932 года, когда, подкачав колеса и подтянув ремень вентилятора, мы полетели по шоссе номер 66, то понятия не имели, что где-то впереди нас ждет этот мотель и там — самая потрясающая курица в мире.

В пути мы являли собой отличный пример взаимно презрительных, хотя и дружелюбных, семейных отношений. Раскрыв на коленях автомобильный атлас, мы с братом считали себя по меньшей мере в тысячу раз умнее отца; отец, разумеется, был уверен, что маме до него далеко, а она не сомневалась в том, что никто из родных по сообразительности ей и в подметки не годится.

Подобная расстановка сил была близка к идеалу.

По-моему, в любой семье, которая хочет сохранить себя, должно присутствовать определенное количество взаимного неуважения. Пока людям есть о чем спорить, они будут собираться вместе за обеденным столом. Иначе семья распадется сама собой.

Так что вскакивая по утрам с постели, мы уже ждали той минуты, когда кто-нибудь сморозит очередную глупость по поводу пережаренного бекона и недожаренной яичницы. Или, скажем, пересушенных (а также недосушенных) тостов. Или если подали только одну порцию джема. Или если на столе стоит соус, который двое из нас четверых терпеть не могут.

Если бы нам с утра пораньше вручали набор колоколов, мы бы могли прозвонить отличную заутреню по поводу собственных неудовольствий! Когда отец говорил вдруг, что, как ему кажется, он все еще растет, мы со Скипом тут же хватались за сантиметр и обмеряли его, стараясь доказать, что за ночь он, наоборот, как бы ссохся, уменьшился. Таковы уж люди. Такова их природа. Такова человеческая семья.

Итак, мы, постоянно ворча друг на друга, тащились по Иллинойсу, ссорились, проезжая по Озарку, а в горах расцвели уже краски осени — мы простояли целых десять минут, любуясь их ярким бушующим половодьем. Потом мы «на авось» попытались счастья в Канзасе и Оклахоме и поехали дальше, прикрывая неудачу



притворными вздохами раскаяния и лицемерно веселой болтовней, пока не утонули в прямо-таки роскошной темно-красной грязище, неудачно съехав с магистрали на проселок.

Теперь каждый из нас мог вволю прославлять собственную дальновидность и проклинать других за неосмотрительность, подсакивая на бесконечных колдобинах и недобрым словом поминая облезлые дорожные знаки и отвратительные тормоза старого «бьюика». С трудом миновав очередную лужу, мы въехали во двор какого-то совершенно занюханного мотеля, где плата была стандартной — доллар за ночь, — зато окрестности очень подошли бы банде головорезов: неподалеку виднелся лесок, а сам мотель стоял на самом краю глубокого горного карьера, так что наши тела вполне могли бы пролежать несколько лет на дне одного из озер, образовавшихся на месте многочисленных котлованов, прежде чем их обнаружили бы.

Однако мы все же остались там ночевать. Слип и я, лежа в одной постели, долго развлекались тем, что считали струйки дождя, без конца просачивавшиеся сквозь крышу из дранки и каждый раз в новом месте, и пинали друг друга, когда кто-то один чересчур нахально перетягивал теплое одеяло на себя.

Следующий денек был еще лучше. Промокнув насквозь и исходя паром, мы из полосы дождя вылетели прямо на сорокаградусную жару, которая тут же высосала из нас все жизненные соки и последнее мужество. Отец, правда, пару разков шлепнул Скипа, однако попало при этом почему-то мне.

К полудню от нашего взаимного презрения не осталось и следа — видно, вышло через поры вместе с потом, — и уже явно начинался хорошо знакомый период изнурительной вежливости, перемежающейся грубостями, но тут в пригородах Амарильо навстречу нам попалась обыкновенная техасская ферма, где разводили кур.

Решение остановиться именно здесь пришло сразу. Почему?

Да потому, что мы увидели: с курами люди обращаются так же грубо, как и с членами собственной семьи, особенно когда кто-то вертится под ногами.

Когда старик — видимо, хозяин фермы — сперва с улыбкой пнул ногой петуха, а потом, как ни в чем не бывало, открыл для нас ворота, мы со Скипом просто расцвели. Старик наклонился к отцу и сказал, что у них есть еще и мотель, где ночевка стоит всего пятьдесят центов — это было действительно очень дешево, однако запах там, надо сказать, дорогого стоил!

Поскольку у отца уже не осталось сил спорить с нами, он добродушно согласился, что это место ничуть не хуже прочих и вполне годится, чтобы смыть с себя дорожную грязь.

Ожидания нас не обманули. Жалкая комнатенка, в которую мы вошли, оказалась прямо-таки находкой: не только все пружины на кровати и на диване одновременно впивались в тело, стоило туда шлепнуться, но и весь домишко тут же вздрагивал и еще долго продолжал трястись, точно страдал пляской святого Витта. Видимо, его фундамент не вынес бесчисленных налетов жестоких постояльцев, которые с криком «Ух, здорово!» кидались на измученные пружинные матрасы.

Судя по запаху, можно было предположить, что кое-кто из этих дикарей прямо здесь и скончался. Вонь стояла ужасная; в ней различались запахи лживых любовных признаний и похоти, выдаваемой за страсть. Ветерок сквозь щели в полу приносил ароматы куриных испражнений — видно, здешние несчастные птицы неизбежно страдали расстройством желудка, кляя землю у стока из туалета, всю пропитанную дезинфицирующей жидкостью, которая просачивалась сквозь сгнивший линолеум.

Зато после того как мы, спрятавшись от жары в комнатушке, перекусили — ленч состоял из бутербродов с холодной фасолью и свининой, украшенных отвратительными потеками сероватого растительного маргарина, — Слип и я, удрав от родителей, отыскали

поблизости пустынный ручей и долго швырялись друг в друга камешками, чтобы немного остыть.

Вечером мы отправились в город и за обедом в кафе тщетно пытались «прочитать» на найденной грязной ложке, засиженной мухами, некое таинственное послание свыше, «написанное» коричневыми точками мушиных следов, и все время стряхивали с себя тощих кузнечиков, которые, похоже, более всего желали утопиться в наших тарелках с супом. Потом, купив билеты по десять центов, мы посмотрели гангстерский боевик и вернулись к себе, на куриную ферму, повеселев и на время забыв о пережитых страданиях и о Великой депрессии.

До одиннадцати вечера никто здесь, в Техасе, спать не ложился из-за жары. К нам зашла хозяйка, хрупкая изможденная женщина — таких я видел множество, почти на всех газетных фотографиях, посвященных этой стране песчаных бурь. Она была настолько иссушена ветрами и жарой, что от нее остались буквально кожа да кости, однако в глазах, в самой их глубине, точно горели две свечи. Разговор шел о восемнадцати миллионах безработных и о том, что еще может случиться, и о том, куда мы всей семьей направляемся, и о том, чего ждать в следующем году.

Жара, донимавшая нас весь день, чуточку отступила, словно давая людям передышку. Откуда-то со стороны грядущей утренней зари подул прохладный ветерок. Мы несколько притихли. Я посмотрел на брата, он — на маму, а она — на отца: мы снова чувствовали себя единой семьей; что бы там ни случилось, сегодня мы были вместе и вместе держали путь неведомо куда.

— Видите ли... — Отец вытащил автомобильный атлас и раскрыл его, показывая хозяйке наш маршрут, отмеченный красными чернилами, точно круг наших четырех судеб, внутри которого нам еще долго предстояло жить, точнее — стараться выжить: сводить концы с концами, есть что придется и ложиться спать, не надеясь, что приснится какой-нибудь сон. — Завтра... — он коснулся карты дорог желтым от никотина паль-

цем, — мы будем в Томбстоуне. Послезавтра — в Тусоне. Там мы немного задержимся — поищем работу. Денег хватит недели на две, если экономить, конечно. Если там работы не будет, мы двинемся дальше, в Сан-Диего. Там у нас родственник работает в порту, в таможенной инспекции. В Сан-Диего побудем с недельку, ну и еще три недели в Лос-Анджелесе. А потом денег останется только на то, чтобы вернуться домой, в Иллинойс, и там, может быть, записаться на получение пособия по безработице. Или — кто его знает? — вдруг снова удастся получить работу в электрокомпании? Меня оттуда полгода назад уволили...

— Понятно, — сказала хозяйка.

И ей действительно все было понятно. Потому что все те восемнадцать миллионов безработных как бы проехали здесь и тоже останавливались в этом мотеле, а потом уезжали — куда-нибудь, все равно куда, в никуда; и снова возвращались — в никуда, все равно куда, куда-нибудь, где они когда-то лишились работы и были совсем не нужны, а потом снова исчезали в поисках неведомо чего.

— А какую работу вы ищете? — спросила хозяйка.

Вот это она сказала! Она и сама сразу поняла, что ляпнула что-то не то. Отец помолчал, задумался и рассмеялся. И мать рассмеялась. И мы с братом тоже рассмеялись. Всем вдруг стало очень смешно.

Еще бы, кто же спрашивает, какая нужна работа! Уже давно существовала просто работа, которую нужно найти, без всяких там названий и определений; работа, чтобы кормить семью, платить за бензин, иногда, может, покупать мороженое в вафельном стаканчике. Кино? Ну и в кино раз в месяц не грех сходить. Все равно мы со Скипом всегда ухитрились просочиться в зал — через заднюю дверь, через служебный вход, через подвал и оркестровую яму; а еще можно было спуститься по пожарной лестнице прямо на балкон... Ничто на свете не могло удержать нас от походов на утренние субботние сеансы! Интереснее могли быть

только фильмы с участием Адольфа Менжу, которые показывали вечером...

И вдруг все разом умолкли, словно чувствуя, что подошло время для чего-то очень важного. Хозяйка извинилась, вышла и через несколько минут вернулась, неся две небольшие коробочки из серого картона. По тому, как она с ними обращалась, можно было предположить, что там фамильные драгоценности или урна с пеплом любимого дядюшки.

Женщина осторожно села, разгладила фартук на коленях и бережно опустила на него коробочки, чуть прикрывая их от нас ладонями, и сидела так довольно долго, с большим мастерством выдерживая паузу, как в настоящем театре. Многие начинают понимать важность паузы для драматического действия, когда становится необходимо подчеркнуть смысл самого ерундового события, чтобы оно показалось значимым, и для этого как бы замедлить бег времени.

И странно, нас тронуло поведение этой тихой женщины, ее печальное, чуть отчужденное измученное лицо, в чертах которого отразилась вся ее напрасно прожитая жизнь. В глубине глаз плакали дети, так и не рожденные ею на свет. А может, рожденные, да только рано умершие и похороненные не в земле, а словно в ней самой, в душе, в сердце. А может, она родила их и вырастила, но они покинули ее, разъехались по белому свету и никогда ей не пишут? По лицу хозяйки можно было прочесть и ее жизнь, и жизнь ее мужа, и то, как они выжили здесь благодаря своей ферме... Господь не раз грозил дыханием своим погасить разум этой женщины, однако душа ее, себе самой на удивление, все-таки устояла, и огонь в ее глазах продолжал гореть.

Увидишь такое лицо — с написанными на нем бесчисленными утратами, — и невозможно не обратить на него внимания, когда оно вдруг вспыхнет от счастья, если хозяин его вдруг найдет то, к чему может прилепиться душой или хотя бы просто смотреть с наслаждением, не отводя глаз.

Именно так вспыхнуло лицо нашей хозяйки, когда она приподняла крышку одной из коробок.

И внутри оказалось...

— Ну и что? — вырвалось у Скипа. — Это же просто яйцо!..

— Смотри внимательнее, — сказала ему хозяйка.

И мы очень внимательно посмотрели на чистенькое, только что снесенное яйцо на подстилке из ваты.

— Ничего себе, — пробормотал Скип.

— Вот это да! — прошептал я.

На скорлупе, прямо посередине, был странный след — словно яйцо треснуло, стукнувшись обо что-то, а потом трещина затянулась, и на ее месте появилось нечто загадочное: отчетливое выпуклое изображение головы длиннорогого быка!

Это было здорово! Такая тонкая работа, будто над яйцом потрудился какой-то волшебник-ювелир, заставив кальций, содержащийся в скорлупе, лечь послушно его воле и создать нужный рисунок — бычью морду и огромные рога. Да такое яйцо любой мальчишка с гордостью повесил бы себе на шею и показывал бы приятелям в школе — пусть лопнут от зависти!

— Это яйцо, — сказала хозяйка, — вместе с рисунком появилось на свет ровно три дня назад.

Сердца наши екнули; мы открыли было рты:

— Но...

Хозяйка закрыла крышку коробки, и рты наши тоже закрылись сами собой. Женщина глубоко вздохнула, на секунду прикрыла усталые глаза и приподняла крышку на второй коробке.

— Спорим, я знаю, что там! — вскричал Скип.

Что уж тут спорить, все и так было ясно.

Конечно, и во второй коробке на вате лежало такое же кругленькое белоснежное яйцо.

— Ну вот, смотрите, — сказала эта женщина, владевшая жалким мотелем и куриной фермой, затерявшейся среди безлюдных равнин, под бездонными небесами, где ни земля, ни небо не кончаются за горизонтом, а тянутся все дальше и дальше, без конца и без края.

Мы дружно склонились над яйцом, прищурившись, чтобы получше разглядеть его.

На сей раз на скорлупе виднелись слова. Словно сама душа несушки, направляемая неведомым нам ночным ее собеседником, с трудом и болью вывела, «начертала» эти буквы на скорлупе неровным, но вполне разборчивым почерком.

Вот что там было написано:

«Мир вам. Благоденствие ваше грядет».

И вдруг стало очень тихо.

У нас и без того было полно вопросов еще насчет первого яйца. Они так и рвались с языка. Как, например, могла курица со своим крошечным нутром умудриться завести там еще какой-то орган, способный делать на скорлупе рисунки и надписи? А может, в нее вставлен механизм — вроде как в наручных часах? Или это сам Господь использует столь простенькую живую тварь как медиума? И это Его рука изображает на яичной скорлупе разные фигуры, пишет заповеди и откровения?

Однако, увидев надпись на втором яйце, мы так и не задали ни одного вопроса; мы слова не могли проронить.

«Мир вам. Благоденствие ваше грядет».

Отец глаз не сводил с этой надписи.

И все мы тоже.

Губы дружно шевелились — мы без конца перечитывали написанные на скорлупе слова.

Один раз отец, правда, вскинул глаза на нашу хозяйку. Она ответила ему прямым, спокойным, уверенным и честным взглядом; нет, в чистоте ее помыслов сомнений не было, как не могло быть сомнений и в том, что вокруг нас дрожат в жарком мареве бескрайние, безлюдные, безводные равнины. В ее глазах мерцал, порой расцветая, тот огонь, что вспыхнул не менее полувека назад. Она не жаловалась и ничего не объясняла. Да, она просто нашла это яйцо подле своей несушки. Вот оно. Смотрите сами. Читайте написанные на нем слова. А потом... пожалуйста, прочитайте их еще раз!

Мы тяжело вздохнули и с трудом выдохнули воздух.

Затем отец медленно повернулся и пошел прочь. У самой двери он кинул взгляд через плечо, как-то странно моргая, но слез рукой не смахнул, хотя глаза у него были влажны и сияли ярко и возбужденно. Он молча спустился с крыльца и побрел меж хижин старого мотеля, сунув руки поглубже в карманы.

Мы с братом все еще не могли отвести глаз от надписи на яйце, но хозяйка осторожно закрыла коробку крышкой, поднялась и пошла к дверям. Мы молча двинулись следом.

Отец стоял у загона для кур, освещенный последними закатными лучами, хотя в небе уже показалась луна. Мы тоже подошли к проволочной сетке и стали смотреть, как за ней мечутся по крайней мере тысяч десять кур, до смерти пугаясь то порыва ветра, то тени от облака, то далекого лая собаки, то шума автомобиля, мчащегося по пустынному, раскалившемуся за день шоссе.

— Вон она, — сказала хозяйка. — Вон та.

И показала куда-то в море куриных спин и голов.

Туда, где суетились и кудахтали то громче, то тише тысячи птиц.

— Вот она, моя дорогая, моя милая девочка! Видите?

Рука женщины ничуть не дрожала, когда она неторопливо стала показывать нам свое сокровище, тыкая пальцем куда-то в пространство...

— Ну что, правда, хороша? — спросила хозяйка.

Я смотрел во все глаза, я даже на цыпочки встал и прищурился. Я смотрел так, что у меня чуть глаза не выскочили.

— А я вижу! — крикнул мой брат. — По-моему...

— Ну да, такая беленькая, — поддержала его хозяйка. — С рыжими крапинками.

Я посмотрел на эту женщину. Она была совершенно спокойна: уж она-то свою несущку знала отлично! Это мы не могли разглядеть ее среди множества других кур, однако ее любимица несомненно была там, реальная,



как мир вокруг нас, как небо над головой — сама всего лишь маленькая частичка этого огромного мира.

— Вон она, — сказал мой брат и сразу умолк, смутившись. — Нет, постойте... Ну да, вон та!

— Да, — сказал я. — Теперь и я его вижу!

— Ее, балда!

— Ну, ее, — поправился я, и на секунду мне показалось, что я действительно ее вижу — замечательную несушку с куда более белым и пышным, чем у остальных, оперением и куда более резвую и веселую, чем прочие куры, однако ступавшую удивительно гордо...

Волнующееся птичье море расступилось на миг перед нашим взором, чтобы явить ему одну-единственную из множества птиц, похожих на островки лунного света на теплой траве. На секунду куры застыли на месте, но тут снова то ли лай собаки, то ли прозвучавший выстрелом выхлоп проезжающего мимо автомобиля обратил их в паническое бегство. Стоило им сомкнуть свои ряды, и та несушка исчезла.

— Ты видел? — спросила меня хозяйка, крепко вцепившись в проволочную сетку и высматривая свою любимицу в толпе мечущихся кур.

— Да. — Мне не было видно, какое при этом стало лицо у отца — то ли осталось серьезным, то ли он сухо усмехнулся. — Я ее видел.

Отец с матерью повернулись и пошли к нашему домику, но хозяйка и мы со Скипом остались стоять у сетки и молча, даже не показывая пальцами на кур, простояли там еще минут десять.

А потом пришла пора ложиться спать.

Но мне не спалось. Я лежал рядом со Скипом и вспоминал, как раньше по ночам, когда отец с матерью разговаривали о всяких взрослых вещах, мы любили слушать их разговоры — мать озабоченно спрашивала о чем-то, а он отвечал ей спокойно, уверенно и тихо. Горшок с золотыми монетами, счастье на том конце радуги — нет, в такое я больше не верил. Молочные реки с кисельными берегами. Нет, нет. Мы слишком много проехали и слишком много видели, чтобы я мог в это поверить. И все же...

Когда-нибудь в гавань войдет мой корабль...

В это я верил.

Когда я слышал, как отец говорит это, на глаза мне наворачивались слезы. Я видел такие корабли — на озере Мичиган летним утром. Они проплывали мимо после регаты, полные веселых людей, которые горстями бросали в воздух конфетти и трубили в трубы, а мне представлялось... — бесконечное множество раз в бесконечное множество ночей я отчетливо видел на стене перед собой дивную картину: мы тоже стоим на причале — мама, папа, Слип и я! — и корабль, огромный, белоснежный, всплывает в гавань, а на верхней палубе стоят миллионеры и подбрасывают вверх не конфетти, а долларовые банкноты и золотые монеты, и все это шумным дождем падает вниз, и мы пляшем от радости, и стараемся изловчиться и поймать как можно больше, и ойкаем, когда тяжелой монетой попадает по голове, и смеемся, когда нас щекочут похожие на хлопья снега банкноты...

Мать что-то спрашивала — насчет того корабля, — а отец отвечал ей, и в ночной тиши мы со Слипом погружались в одни и те же мечты — как мы стоим на причале, а корабль...

Но сегодня ночью я вдруг спросил в давно уже наступившей тишине:

— Пап, а что оно означает?

— Что именно? — откликнулся отец из темноты, где он лежал рядом с матерью.

— То, что написано на яйце. Неужели тот корабль скоро придет?

Отец долго молчал. Потом твердо ответил:

— Я думаю, да. Надпись означает именно это. А теперь спи, Дуг.

— Хорошо, сэр.

Я вытер слезы и отвернулся к стене.

Из Амарильо мы выехали в шесть утра, чтобы успеть хоть немного проехать по холодку, и в течение первого часа все тупо молчали, еще не проснувшись

как следует. И весь следующий час мы тоже молчали — думали о том, что произошло вчера. Наконец на отца подействовал выпитый кофе, и он обронил вслух:

— Десять тысяч.

Мы ждали, что он скажет еще, но отец молча качал головой.

— Десять тысяч бессловесных тварей! — воскликнул он наконец. — Но лишь одна, невесть откуда взявшаяся, вдруг решает передать нам...

— Ну что ты, отец, в самом деле! — с упреком сказала мама.

Словно хотела спросить: «Ты ведь не веришь этому, правда?»

— Да уж, папа! — Мой брат говорил с той же чуть заметной насмешкой.

— Тут есть над чем подумать. — Отец не обращал на них внимания. Он не сводил глаз с дороги, ведя машину легко и свободно, не стискивая руль, а уверенно направляя наше «утлое суденышко» через пустыню. Стоило миновать один холм, как сразу же за ним возникал следующий, а там и еще один, и дальше... а что дальше?

Мать заглянула отцу в глаза, но у нее не хватило духу окликнуть его тем же насмешливым тоном еще раз. Она отвернулась к окошку, посмотрела на дорогу и промолвила так тихо, что нам почти не было слышно:

— Как там было написано? Повтори-ка!

Отец плавно миновал поворот в сторону Уайт-Сэндз, откашлялся, на ходу протер ладошкой ветровое стекло перед собой, точно расчищая кусочек неба, и сказал, как бы вспоминая:

— Мир вам. Благоденствие ваше грядет.

Мы проехали еще с милю, прежде чем я решился спросить:

— А сколько... ну, сколько может... стоять такое яйцо, пап?

— Людям его оценить невозможно, — ответил он, не оглядываясь и продолжая вести машину к далекому

горизонту. — Знаешь, сынок, этого просто нельзя делать! Нельзя вешать ценник на яйцо, посредством которого с нами говорят Небеса! Мотелем куриных откровений — вот как мы теперь всегда будем называть этот мотель.

И мы помчались дальше со скоростью сорок миль в час сквозь жару и пыль послезавтрашнего дня.

Мы со Скипом сидели смирно и даже потихоньку, незаметно не пихали друг друга, пока где-то в полдень не пришлось вылезти, чтобы «полить цветочки» на обочине дороги.

## ВЕТЕР ГЕТТИСБЕРГА

**В**ечером, в половине девятого, с той стороны коридора, где был зрительный зал, донесся резкий короткий звук.

«Выхлоп автомобиля на соседней улице, — подумал он. — Нет. Выстрел».

Через мгновение — всплеск встревоженных голосов и внезапная тишина.словно волна, с разбега ударившись о песчаный берег, затихла в недоумении. Хлопнули двери. Чьи-то бегущие шаги.

В кабинет вбежал билетер и обвел комнату невидящим взглядом; лицо его было бледно, губы силились что-то сказать:

— Линкольн... Линкольн...

Бэйс поднял голову от бумаг:

— Что случилось с Линкольном?

— Его... Его убили.

— Прекрасная шутка. А теперь...

— Убили. Разве вы не понимаете? Застрелили. Во второй раз!..

И билетер, пошатываясь, держась рукой за стену, вышел.

Бэйс почувствовал, как встает со стула.

— О Господи...

Через секунду он уже бежал по коридору, обогнал билетера, и тот, словно очнувшись, побежал рядом.

— Нет-нет, — повторял Бэйс. — Этого не произошло. Не могло, не должно...

— Убит, — снова сказал билетер.

Едва они завернули за угол, как с треском распахнулись двери зрительного зала, и уже не зрители, а возбужденная толпа заполнила коридор. Она волновалась, шумела, слышались крики, визг, отдельные испуганные голоса:

— Где он? Кто стрелял? Этот? Он? Держите его! Осторожно! Остановитесь!

Из гущи людей безуспешно пытались выбраться двое охранников, но их толкали, теснили, отбрасывали то в одну, то в другую сторону. В руках у них бился человек, он тщетно пытался увернуться от жадных рук толпы, мелькавших в воздухе кулаков. Но руки хватали его, тянули к себе, били, щипали, удары наносились чем попало — тяжелыми свертками и легкими дамскими зонтиками, тут же разлетающимися в щепки, как бумажный змей, подхваченный ураганом. Женщины, потерявшие спутников, жалобно причитали и испуганно озирались по сторонам; оружие мужчины грубо расталкивали толпу, стремясь протиснуться поближе к охранникам и человеку, который ладонями рук с широко растопыренными пальцами закрывал свое разбитое и исцарапанное лицо.

— О Господи!

Бэйс застыл на месте, глядя на происходящее, начиная уже верить. Но замешательство было лишь мгновенным. Он бросился к толпе.

— Сюда, сюда! Потеснитесь назад! Вот в эти двери. Сюда, сюда!

И каким-то образом толпа подчинилась; наружные двери распахнулись и, пропустив плотную массу тел, тут же захлопнулись.

Внезапно очутившись на улице, толпа яростно заколотила в двери, разразилась руганью, проклятиями, какие еще не доводилось слышать ни одному смертному. Казалось, стены театра содрогаются от приглушенных выкриков, причитаний, угроз и зловещих предсказаний беды.

Бэйс еще какое-то время смотрел, как бешено вертятся ручки дверей, трясутся готовые сорваться замки и засовы, и наконец перевел взгляд на охранников, поддерживавших обмякшее тело человека.

И тут новая, страшная догадка заставила Бэйса броситься в зал. Левая нога ударилась о что-то, бесшумно скользнувшее по ковру под кресла, вертясь, словно крыса, догоняющая собственный хвост. Он нагнулся и пошарил под креслами рукой и тотчас нашел то, что искал, — еще не остывший пистолет. Бэйс глядел на него, все еще не веря, а затем опустил в карман. Ему понадобилось целых полминуты, чтобы наконец заставить себя сделать то, что теперь уже представлялось неизбежным. Он посмотрел на сцену.

Авраам Линкольн сидел в своем кресле с высокой резной спинкой в самом центре сцены. Голова его была неестественно наклонена вперед, широко открытые глаза неподвижно глядели перед собой. Большие руки покоились на подлокотниках, и казалось, что вот он сейчас шевельнется, обопрется руками о подлокотники, поднимется во весь свой рост и скажет, что, в сущности, ничего страшного не произошло.

С усилием передвигая ноги, словно переходя реку вброд, Бэйс поднялся на сцену.

— Свет! Дайте свет, черт побери!

За сценой невидимый механик-осветитель вдруг вспомнил о своих обязанностях, и мутный свет, словно слабые лучи рассвета, упал на сцену.

Бэйс обошел сидящую в кресле фигуру. Вот она, аккуратная дырочка на затылке у левого уха.

— *Sic semper tyrannis\**, — вдруг послышался голос.

Бэйс резко обернулся.

Убийца сидел в последнем ряду, опустив голову. Зная, что Бэйсу сейчас не до него, он произнес эти слова тихо, почти про себя, уставясь в пол:

— *Sic...*

Но, услышав, как угрожающе зашевелился за его спиной охранник, он тут же умолк. Рука охранника

---

\* Такова участь тиранов (лат.).

поднялась и застыла в воздухе, готовая опуститься на голову убийцы. Казалось, она действовала совершенно самостоятельно...

— Не надо! — крикнул Бэйс.

Охранник с трудом подавил разочарование и гнев. Рука неохотно подчинилась хозяину.

«Нет, я не верю, — думал Бэйс, — не верю. Здесь нет ни охранников, ни этого человека, и нет...» Глаза его снова отыскивали еле заметное отверстие от пули в голове убитого президента. Из него на пол медленно капало машинное масло. Еще одна темная струйка проложила след по подбородку и бороде президента, и капли масла медленно стекали на галстук и сорочку.

Бэйс опустил на колени и приложил ухо к груди манекена.

Еле слышное гудение говорило о том, что схемы уникального механизма не повреждены окончательно, но привычный его ход, увы, был нарушен.

Бэйс вскочил. Звук работающего механизма напомнил ему...

— Фиппс?!

Охранники удивленно подняли головы.

Бэйс с досадой даже прищелкнул пальцами.

— Он собирался приехать сюда после спектакля, не так ли? Он не должен этого видеть! Надо направить его куда-нибудь. Сообщите ему, что он срочно нужен на заводе в Глендейле. Там обнаружили неполадки. Пусть немедленно выезжает туда. Действуйте!

Один из охранников поспешил к выходу.

Провожая его взглядом, Бэйс думал: «Господи, хотя бы Фиппс задержался, хотя бы не приезжал!..»

Странно, что в такую минуту перед его мысленным взором предстала не своя, а чужая жизнь...

Помнишь... тот день, пять лет назад, когда Фиппс разложил на столе первые схемы, чертежи, рисунки и сообщил им о своем Великом Плане? Как все сначала глядели на чертежи, а потом на чудака Фиппса:

— Линкольн?



Да, именно! Фиппс смеялся так, как может смеяться от счастья будущий отец, поверивший в чудесное знамение: у него родится необыкновенный сын.

Линкольн. Именно такова его задумка. Новое рождение Линкольна.

А сам Фиппс? О, именно ему предстоит произвести на свет, вскормить и вырастить этого чудо-младенца — работа.

Разве не счастье... снова очутиться на лугу под Геттисбергом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие бритвы, грани своей души и жить!

Бэйс еще раз обошел неловко склоненную фигуру в кресле, вспоминая дни, считая годы...

Вечер. Фиппс с бокалом в руке, а в гранях бокала, словно в линзе, отблеск прошлого и свет будущего.

— Я всегда мечтал создать фильм о Геттисберге... Огромное скопление народа, и где-то у самого края разморенной жарою, охваченной нетерпением толпы стоит фермер, а рядом мальчик, его сын. Они жадно ловят слова, которые доносит до них ветер. Их произносит оратор на далеком помосте. Они то слышат, то не слышат, что говорит высокий худой человек в цилиндре. Вот он снимает цилиндр, заглядывает в него, словно в собственную душу, будто читает в ней то, что записал, и начинает говорить.

Фермер, чтобы сынишку не задавила толпа, сажает его на плечи, и девятилетний мальчуган становится ушами отца, ибо фермер почти не слышит, а лишь догадывается, что говорит президент, обращаясь к морю людей, собравшихся в Геттисберге. Высокий голос то слышен отчетливо, то не слышен совсем, когда его относит ветер или же легкий озорной ветерок, словно вздумавший соперничать с ним. Слишком многие ораторы выступали до президента; толпа порядком устала, лица мокры от пота, праздничная одежда измята. Скотоводы и фермеры тяжело переминаются с ноги на ногу, неловко задевают друг друга локтями, а отец торопит сына: «Ну же, ну говори, что он сказал...» Подставив ветру розовое в нежном пушке ухо, мальчик послушно повторяет каждое долетевшее слово:

«Восемьдесят семь лет тому назад...»

— Да!

«...наши отцы создали...»

— Да-да!

«...на этом континенте...»

— Где? Где?

— На этом континенте! «...новое государство, рожденное свободой, верящее в то, что все люди...»

Вот как это было. Ветер относил в сторону еле слышные слова, человек продолжал говорить, плечи фермера не чувствовали тяжести — своя ноша не тянет, — а мальчуган горячим шепотом повторял каждое услышанное слово. Фермер сам то слышал обрывки фраз, то не слышал ничего, но как-то само собой все понял до конца.

«...пусть правительство народа, из народа, для народа живет вечно...»

Мальчик умолк.

Все.

Толпа покидает луг, растекаясь во все стороны. Геттисберг становится историей.

Фермер не торопится снять с плеч толмача-мальчишку, пересказавшего ему то, что донес ветер, но мальчик, потеряв уже интерес, сам спрыгивает на землю...

Бэйс не сводил глаз с Фиппса.

А тот, допив коктейль и внезапно погрузнев от переполнивших его чувств, вдруг в сердцах воскликнул:

— Мне никогда не снять этот фильм. Но вот *это* я все-таки сделаю!

Тогда-то он и разложил на столе чертежи фирмы Фиппса «Эвереди Сэлем, Иллинойс и Спрингфилд Линкольн Мэкеникл» по изготовлению машины привидений, электронно-каучуковых, самых совершенных и самых дерзких и смелых снов.

Фиппс и его творение — совсем готовый, совсем настоящий, во весь свой немалый рост младенец Линкольн. Да, Линкольн, вызванный к жизни из дебрей

технологии, усыновленный романтиком, созданный потому, что так велело сердце. Получив жизнь от разряда молнии, а голос от безымянного актера, он вошел в этот мир, чтобы отныне пребывать вечно в этом глухом уголке юго-запада старой-новой Америки. Фиппс и Линкольн!

Да, в этот день слова Фиппса были встречены взрывом смеха, но он, словно и не заметив этого, лишь сказал:

— На лугу у Геттисберга мы обязательно, да-да, обязательно, станем там, где стоял фермер с сынишкой. Это наветренная сторона, здесь все будет слышно.

Он поделился со всеми своим сокровищем. Одному поручил арматуру, другому воссоздать благородную форму черепа, третьему поймать и записать голос и слова, а остальным, и их было немало, найти неповторимый цвет кожи, волос и отпечатки пальцев. Увы, прикосновение Линкольна приходилось заимствовать!

Отныне подшучивания и насмешки вошли в привычку, стали чем-то, без чего и не обойтись.

Эйб никогда не заговорит, в этом нет сомнений, и никогда не сделает ни шагу. Все придется сдать на свалку — выброшенные деньги.

Но по мере того как месяцы превращались в годы, вспышки иронического смеха сменялись понимающими улыбками, откровенным изумлением. Они все напоминали мальчишек, из озорства вступивших в тайное и пугающе веселое братство могильщиков, чтобы встречаться в полночь в кладбищенских склепах, а на рассвете исчезать, как тени, среди могил.

Бригада Линкольна росла как на дрожжах. Вместо одного одержимого уже десяток их рылись в истлевших подшивках старых газет, выпрашивали, а то и не спросясь попросту уносили посмертные маски, хоронили пластиковые кости, чтобы потом выкапывать их вновь.

Многие побывали на полях гражданской войны в надежде, что в одно прекрасное утро ветер истории

взметнет, как флаги, полы их сюртуков. Иные октябрьскими днями бродили по окрестностям Сэлема, обгорая до черноты под прощальными лучами солнца, жадно внюхиваясь, наострив уши, пытаясь поймать еще один голос какого-нибудь долговязого адвоката, ловя эхо прошлого, доказывая, убеждая.

Разумеется, Фиппс волновался больше всех и больше всех был преисполнен тревожной отцовской гордости. Но вот робот на сборочном столе. Теперь предстояло собрать его, дать ему голос, подняв гуттаперчевые веки, вложить в глубокие глазницы печальные глаза, видевшие так много, приладить большие уши, которым суждено слышать лишь прошлое, и крупные руки с узловатыми суставами, словно маятники, отсекающие время, канувшее в вечность. А затем портные, нет, его Ученики, обрядили его в одежды и наглухо застегнули на все пуговицы, повязали галстук, и в одно великолепное пасхальное утро на иерусалимских холмах приготовились сдвинуть могильный камень и повелеть ему встать.

В последний час последнего дня Фиппс, выпроводив всех, остался наедине с расprostертым телом и безмолвствующим духом, чтобы завершить последние приготовления. Наконец он открыл двери и пригласил их — не буквально, а скорее символически — поднять *его* на плечи в последний раз.

В наступившей тишине Фиппс, обращаясь к полям былых сражений и еще дальше, за горизонт, крикнул, что его место не в могиле: восстань!

И Линкольн шевельнулся в прохладной темноте спрингфилдского мраморного склепа, пробуждаясь ото сна, и поверил, что он жив.

Он встал.

Он заговорил.

Зазвонил телефон.

Бэйс вздрогнул.

Воспоминания исчезли.

В дальнем углу сцены звонил телефон.

«О Господи», — подумал Бэйс и бросился к телефону.

— Бэйс, это Фиппс. Мне только что звонил Бак, сказал, чтобы я немедленно приехал! Сказал, что-то про Линкольна...

— Нет, не надо приезжать, — ответил Бэйс. — Ты же знаешь Бака, он звонил, должно быть, из соседней пивной. Я в театре, здесь все в порядке. Один из генераторов забарахлил, но мы его уже починили...

— Значит, с *ним* все в порядке?

— Да, все просто великолепно. — Бэйс не мог оторвать взгляда от склоненной фигуры. «О Господи, какая нелепость!...»

— Я... я сейчас приеду.

— Не надо!

— Черт побери, почему ты кричишь?

Бэйс прикусил язык, сделал глубокий вдох и, закрыв глаза, чтобы не видеть фигуру в кресле, медленно произнес:

— Я не кричу, Фиппс. В зале только что зажегся свет, нельзя задерживать публику. Я должен идти. Клянись тебе...

— Ты лжешь!

— Фиппс!

Но Фиппс уже повесил трубку.

«Десять минут, — лихорадочно думал Бэйс. — Господи, через десять минут он будет здесь». Через десять минут человек, поднявший Линкольна из гроба, встретится с человеком, который вновь уложил его туда...

Он сделал несколько шагов, и вдруг ему неудержимо захотелось броситься за кулисы, включить магнитофоны, проверить, как откликнется поникшая фигура, которая из рук поднимется, а которая останется неподвижной. Нет, это безумие. Это можно сделать завтра.

Сегодня же у него едва есть время разгадать загадку. А она в человеке, который сидел в третьем кресле последнего ряда.

Убийца... Разве он не убийца? Кто он? Как выглядит?

Он лишь мельком видел его лицо несколько минут назад, не так ли? Разве оно не напомнило ему старый,

знакомый, но куда-то запропастившийся дагерротип? Пышные усы, темные надменные глаза...

Бэйс медленно спустился в зал, медленно прошел по проходу между рядами кресел и остановился, вглядываясь в человека, который сидел, обхватив руками склоненную голову.

Бэйс сделал глубокий вдох и на выдохе произнес:

— Мистер... Бут?

Странный незнакомец застыл, по телу его пробежала дрожь, и шепотом, полным ужаса, он ответил:

— Да...

Бэйс ждал. Наконец он снова решился.

— Мистер... Джон Уилкс Бут?\*

В ответ раздался тихий смехок и наконец сухие и отрывистые, как карканье, слова:

— Норман Ллэвлин Бут. Всего лишь фамилия... совпадает...

«Слава Богу, — подумал Бэйс. — Я бы не вынес, если бы совпало все».

Он резко повернулся и, быстро пройдясь по проходу, остановился и посмотрел на часы. Время на исходе. Фиппс едет сюда, он в любую минуту может постучать в запертую дверь зрительного зала.

— Почему? — жестко спросил Бэйс, обращаясь к стене, которая была перед глазами.

Вопрос прозвучал, как эхо трех сотен испуганных голосов зрителей, тех, кто десять минут назад заполнял этот зал и в ужасе повскакивал со своих мест, когда раздался выстрел.

— Почему?

— Не знаю! — закричал Бут.

— Лжете! — почти одновременно с ним выкрикнул Бэйс.

— Такой шанс глупо было бы упустить.

— Что?.. — Бэйс круто повернулся и впился взглядом в Бута.

— Ничего.

---

\* Актер Джон Уилкс Бут, убийца президента Линкольна. (Примеч. пер.)

— Нет смелости повторить еще раз, не так ли?

— Потому, — начал Бут, опустив голову, то различимый, то еле видимый в полутьме, раздираемый чувствами, в которых и сам не мог разобраться, которые подхватывали и несли его куда-то, чтобы так же внезапно покинуть, смениться судорожными спазмами смеха или внезапным оцепенением. — Потому что... это правда. — И в благоговейном страхе, поглаживая щеки, он прошептал: — Я сделал это. Я все-таки сделал это.

— Ублюдок!

Бэйс бежал по проходу между рядами кресел, боясь, что если он остановится, то бросится и ударит, и будет бить, бить этого идиотского умника, этого хвастливого убийцу...

Бут понимал это.

— Чего вы ждете? Кончайте.

— Нет, меня не будут... — Бэйс с трудом остановился, заставил себя не кричать, а говорить совершенно спокойно, — ...не будут судить за убийство человека, который убил того, кто по сути не был живым существом, а всего лишь машиной. Достаточно того, что стреляли в робота, казавшегося живым существом. Я не допущу, чтобы какой-нибудь судья или суд присяжных создали прецедент и был осужден человек, убивший того, кто стрелял в гуманоида, в компьютер! Глупость не должна повториться.

— Жаль, — с тоской в голосе произнес человек по имени Бут, и глаза его погасли.

— Говорите, — сказал Бэйс, глядя на стену и видя ночное шоссе, мчащегося в машине Фиппса и неумолимый бег минут. — В вашем распоряжении пять минут, может, чуть больше, может, чуть меньше. Говорите: зачем вы сделали это? Да начинайте же! Начните с того, что вы трус!

Он ждал. За спиной Бута поскрипывал ботинками охранник, неловко переступавший с ноги на ногу.

— Да, я трус, — согласился Бут. — Как вы догадались?

— Я это знал.

— Трус, — продолжал Бут. — Я трус. Всегда боялся. Вы правильно сказали. Боялся вещей, людей, мест, где можно побывать. Боялся людей, которых хотел ударить, но не смел. Вещей, которые хотел иметь, но не имел. Мест, где хотел побывать, но так и не побывал. Мечтал стать великим, знаменитым. Почему бы нет? Но не получилось. Тогда подумал: не находишь причин для радости, найди причину для горя. Столько возможностей для этого. Вот вы спрашиваете почему. Кто знает? Мне надо было сотворить что-нибудь отвратительное, а затем терзаться всю жизнь, спрашивать себя, зачем я это сделал. По крайней мере знаешь, что хоть что-то сделал. Вот и задумал сотворить что-нибудь мерзкое.

— Вам это, бесспорно, удалось.

Бут смотрел на свои руки, опущенные между колен, будто видел, как они держат древнее, совсем простое оружие.

— Случалось вам когда-нибудь убить черепаху?

— Что?!

— Когда я был десятилетним мальчишкой, я впервые узнал о смерти. И тогда же я узнал, что черепаха, это глупое, похожее на камень животное, еще долго будет жить после того, как меня давно уже не будет на свете. Тогда я решил, раз мне не миновать смерти: пусть первой умрет черепаха. Я взял камень и бил по панцирю до тех пор, пока не проломил его и черепаха не подохла...

Бэйс чуть замедлил свои бесконечные шаги по проходу и сказал:

— По этой же причине я однажды не убил бабочку.

— Нет, — быстро ответил Бут, — не по этой. Мне тоже однажды на руку села бабочка. Она расправляла и складывала свои крылышки, отдыхая на моей руке. Я знал, что в любую минуту могу прихлопнуть ее, но не сделал этого, потому что знал, что через несколько минут, самое большее, через час ее склонет какая-нибудь птаха. Поэтому я позволил ей улететь. А вот черепахи — это совсем другое. Они лежат во дворе, лежат десятки лет, целую вечность. Поэтому я вышел во двор



и взял камень, а потом много-месяцев мучился от того, что сделал. Может, мучаюсь по сей день. Вот, смотрите...

Бут протянул руки. Они дрожали.

— Какое это имеет отношение к тому, что сегодня вы оказались здесь? — спросил Бэйс.

— Какое? Вы что, серьезно? — Бут смотрел на Бэйса, как на сумасшедшего. — Разве вы не слышали, что я говорил? О Господи, я завидую! Завидую всему, что хорошо сделано, что работает, всему, что прекрасно само по себе, всему, что вечно... Мне все равно, что это! Я завидую!

— Нельзя завидовать машине.

— Почему нельзя, черт побери! — Бут ухватился за спинку переднего кресла, медленно наклонился вперед и впился глазами в печально склоненную фигуру в кресле с высокой спинкой в самом центре сцены. — Разве машины не совершенней людей в девяност девяти случаях из ста? Вспомните ваших знакомых. Я это серьезно. Разве машины не выполняют все так, что не придерешься? А люди? Можете вы мне назвать таких, чтобы делали все, как надо, хоть на треть, хоть наполовину? Вот эта проклятая штуковина там, на сцене, эта машина, разве она не только выглядит отлично, но и делает все отлично — говорит, действует? Более того, если ее смазывать, заводить, беречь от поломок, она будет еще лучше, будет говорить и действовать без изъяна сто и двести лет, когда я давно сгнию в земле. Завидую? Да! Разве я не прав, черт побери?

— Но машина не знает, какая она.

— Зато я знаю! Я чувствую! — кричал Бут. — Я посторонний, заглядывающий в окна. В таких делах я всегда посторонний. Я не участник, мне это не дано. А машине дано. Она все может, а я нет. Она создана, чтобы выполнять одно или два действия, но как она выполняет их! Комар носа не подточит. Сколько бы я ни учился, сколько бы ни знал и ни старался, хоть всю жизнь, мне не быть совершенством, таким чудом, как это, которое так и просится, чтобы его сломали, как

вот этот человек, эта вещь, это существо на сцене, этот ваш президент!..

Он уже стоял и кричал, обращаясь к сцене, до которой было шагов шестьдесят.

Линкольн молчал. Под креслом тускло поблескивала лужица машинного масла.

— Этот президент... — внезапно переходя на шепот, почти про себя пробормотал Бут, словно постиг наконец истину, которую искал. — Президент, да, Линкольн. Разве вам не понятно? Он давно умер. Он не может жить. Это несправедливо. Прошло сто лет, и он снова здесь. Его убили, похоронили, а он продолжает жить. Живет сегодня, будет жить завтра, и так день за днем, до бесконечности. Его зовут Линкольн, а меня Бут... Я должен был прийти сюда...

Голос его прервался. Глаза остекленели.

— Садитесь, — тихо сказал Бэйс.

Бут сел, а Бэйс, кивнув охраннику, сказал:

— Пожалуйста, подождите в коридоре.

Тот вышел. Теперь, когда Бэйс остался один с Бутом и с молчаливой фигурой на сцене, которая словно чего-то ждала, сидя в своем кресле, он медленно повернулся и внимательно посмотрел на убийцу. Тщательно взвешивая каждое слово, он сказал:

— Все это так, да не совсем.

— Что?

— Вы назвали не все причины, побудившие вас прийти сегодня сюда.

— Нет, все!

— Вы так думаете. Но вы обманываете самого себя. Все вы, романтики, таковы. В той или иной степени. Фиппс, который создал этого робота. Вы, который уничтожил его. Но все, в сущности, сводится к одному... К одной очень простой и понятной причине. Вам хочется увидеть свой портрет в газете, не так ли?

Бут не ответил, но его плечи еле заметно шевельнулись, словно распрямляясь.

— Хочется видеть себя на обложках всех журналов континента?

— Нет.

— Получить неограниченное время для выступлений по телевидению?

— Нет.

— Интервью по радио?

— Нет.

— Нравится, что адвокаты и судьи будут ломать копыя, споря, подсуден ли человек, стрелявший в чучело...

— Нет!

— ...то есть в гуманоида, в машину?..

— Нет!!!

Бут тяжело дышал, глаза его бегали как у безумного.

Бэйс продолжал:

— Нравится, что завтра двести миллионов человек заговорят о вас и будут говорить неделю, может, месяц, а то и целый год!

Молчание.

Но улыбка, словно капля слюны, оттянула уголок губ, и Бут, почувствовав это, поднес руку к губам.

— Нравится, что можно продать международным синдикатам собственную версию того, как все это было, и сорвать солидный куш.

По лицу Бута струился пот, ладони взмокли.

— Хотите, я сам отвечу на все эти вопросы? А? Итак, — начал Бэйс, — ответ здесь только один...

Стук в дверь прервал его. Бэйс вскочил. Бут тоже повернулся в сторону двери.

— Бэйс, это я, Фиппс, откройте! — послышался голос за дверью. И снова стук, уже настойчивый и громкий. Бэйс и Бут, словно заговорщики, молча посмотрели друг на друга.

— Да впустите же меня, черт побери!

В дверь снова забарабанили, потом наступила короткая пауза, и стук возобновился с новой силой — в дверь то глухо били кулаками, то барабанили пальцами. Временами стук прекращался, а затем слышалось тяжелое дыхание, словно человек успел обежать коридор в поисках других дверей.

— На чем я остановился? — спросил Бэйс. — Да, на ответах на мои вопросы. Вы, следовательно, рассчитываете на широкую рекламу — телевидение, радио, прессу и все такое прочее?..

Молчание.

— Этого не будет.

Губы Бута дрогнули, но он ничего не сказал.

— Н-Е-Т! — раздельно произнося каждую букву, выкрикнул Бэйс. — Не будет!

И, протянув руку, он выдернул у Бута из кармана бумажник. Вынув все документы, он вернул пустой бумажник.

— Нет? — повторил за ним потрясенный Бут.

— Нет, мистер Бут. Никаких портретов в газетах, никаких интервью по телевидению. Не будет статей и колонок в газетах и журналах, не будет рекламы, не будет славы — и удовлетворенного тщеславия. Не удастся жалеть себя, терзаться раскаянием, увековечить свое имя. Никто не будет слушать вздор о победе над машиной, якобы обесчеловечившей человека. Не будет ореола мученика и бегства от собственной посредственности, сладких терзаний совести и сентиментальных слез. Не удастся не думать о будущем. Не будет судебного процесса, адвокатов, комментаторов, анализирующих все через месяц, через год, через тридцать, шестьдесят, девяносто лет, не будет и денег, нет!..

Бут поднялся в кресле, словно его подтянули вверх канатом, стал выше, худее, еще больше побледнел.

— Я не понимаю... я...

— Ведь только ради этого вы все и затеяли, не так ли? Да, ради этого. А я испорчу вам всю игру. Ибо как только все будет сказано и сделано, мистер Бут, названы все причины и подведены итоги, вы превратитесь в ничто, в пустое место. Таким вы и останетесь навсегда, испорченным и самовлюбленным, мелким, злобным и порочным. Роста вы незавидного, но я намерен сделать вас еще ниже, по крайней мере еще на один дюйм, пригнуть вас к самой земле, втоптать в нее. Вместо того чтобы возвысить и раздуть до непомерных размеров, как вам того хотелось бы.

— Вы не посмеете! — крикнул Бут.

— О, мистер Бут, — воскликнул Бэйс, испытывая почти радостное чувство, — еще как посмею! В данном случае я могу поступить с вами, как мне заблагорассудится. Так вот, я не собираюсь возбуждать против вас судебное дело. Более того, мистер Бут, ничего, в сущности, и не произошло.

Стук в дверь возобновился. Теперь стучали в дверь за сценой.

— Бэйс, ради Бога, откройте! Это я, Фиппс! Бэйс, вы слышите?

Бут смотрел, не отрываясь, как содрогается от ударов дверь. А Бэйс с великолепным спокойствием и естественностью крикнул:

— Одну минуту!

Он понимал, что спокойствие вот-вот изменит ему и в нем что-то сломается, но, пока он чувствует себя так уверенно, он обязан довести дело до конца. Вежливо, корректно обращаясь к убийце, он продолжал говорить и видел, как тот поник. Он продолжал говорить и видел, как тот съежился и стал меньше ростом.

— Этого никогда не будет, мистер Бут. Можете рассказывать все, что вам угодно, а мы все опровергнем. Вас не было здесь, не было пистолета и не было выстрела, не было убийства робота, не было волнений, шока, паники, и не было толпы. Посмотрите на себя. Почему вы съежились, почему согнулись и дрожите? Разочарованы? Не вышло, я помешал вам? Прекрасно. — Он кивнул в сторону выхода. — А теперь, мистер Бут, убийтесь!

— Вы не можете...

— Очень жаль, мистер Бут, что вы не послушались.

Бэйс сделал бесшумный шаг к убийце, протянул руку, схватил его за галстук и неторопливо потянул вверх, заставив того встать. Теперь он дышал прямо в лицо убийце.

— Если вы хоть словом обмолвитесь жене, другу, вашему хозяину, случайному встречному, мужчине, женщине, ребенку, дяде, тетке, кузену, даже проговоритесь самому себе во сне, знаете, что я с вами сделаю,

мистер Бут? Если произнесете хоть слово, шепотом или мысленно, я стану преследовать вас повсюду. Днем или ночью, где бы вы ни были, я найду вас, найду, когда вы меньше всего будете ждать меня, и знаете, мистер Бут, что я с вами сделаю? Нет, этого я не скажу вам, не могу сказать. Но это будет страшная, это будет ужасная расплата, и вы пожалеете, что родились на свет — так это будет страшно.

Бледное лицо Бута прыгало перед его глазами, голова моталась из стороны в сторону, глаза были выпучены, а рот открыт, словно он пытался поймать им капли дождя.

— Вы поняли, что я сказал, мистер Бут? Повторите.

— Вы убьете меня?

— Повторите еще раз!

Он тряс Бута до тех пор, пока слова сами не нашли дорогу сквозь стучащие зубы Бута.

— Убьете меня!

Он крепко держал его и тряс сильно и равномерно, словно массировал, ухватив за рубашку, за кожу под рубашкой, чувствуя, как в теле врага рождается ужас.

— Прощайте, мистер Никто. О вас не будут писать статьи в журналах, не будет передач по телевидению, не будет и славы, лишь безымянная могила и никаких упоминаний в учебниках истории, нет! А теперь вон отсюда! Вон, пока я не прикончил тебя на месте!

Он толкнул Бута, и тот побежал, упал, поднялся и снова побежал прямо к выходу, к той самой двери, которую трясли, в которую колотили кулаками, которую пробили почти насквозь.

За нею был Фиппс, кричавший из темноты.

— Не в эту дверь! — воскликнул Бэйс и указал Буту в противоположную сторону. Тот повернулся на всем бегу, споткнулся, чуть не упал и побежал к другой двери. Перед нею он остановился, шатаясь, и протянул руку...

— Стойте! — крикнул Бэйс и, приблизившись, наотмашь ударил Бута по лицу. Брызги пота, словно брызги дождя, разлетелись во все стороны. — Я... — промолвил Бэйс, — я должен был это сделать...

Посмотрев на свою руку, он отпер дверь.

Они увидели ночное небо, звезды и пустую улицу.

Бут отшатнулся назад, в его больших темных влажных глазах ребенка застыла обида и недоумение; это были глаза оленя, который сам себе нанес увечье, который будет постоянно ранить и калечить себя.

— Уходите, — сказал Бэйс.

Бут бросился в дверь, она захлопнулась, и Бэйс прислонился к ней, тяжело дыша.

В другом конце зала в другую дверь снова стучали, крича и умолая. Бэйс смотрел на эту трясущуюся, но, казалось, такую далекую дверь. За нею был Фиппс, но он подождет. Теперь же...

Пустой зрительный зал казался огромным, как луг у Геттисберга, когда многочисленная толпа покинула его и разбежалась по домам, а солнце опустилось за горизонтом. Там, где стояли люди, а потом разошлись, где стоял фермер с сынишкой на плечах, повторявшим каждое слово президента, было пусто...

На сцене не сразу, а после долгих колебаний он наконец протянул руку и коснулся плеча Линкольна.

«Безумец, — подумал он, стоя в полумраке сцены. — Не делай этого, не делай. Остановись! Зачем? Это глупо. Остановись».

То, что надо было найти, он нашел. То, что надо было сделать, он сделал.

Слезы текли по его лицу.

Он рыдал. Он задыхался от рыданий. Он не мог остановить слез, и они лились неудержимо.

Мистер Линкольн мертв. Мистер Линкольн мертв!

А он отпустил убийцу.

## ДО ВСТРЕЧИ НАД РЕКОЙ

**Б**ез минуты девять, и пора бы уж закатить деревянного индейца — символ табачной торговли — обратно в теплый ароматный полумрак и запереть лавку. Но он все медлил: столько людей потерянно брели мимо, непонятно куда, неизвестно зачем. Кое-кто забредал и сюда — скользнет глазами по опрятным желтым коробкам с сортовыми сигарами, потом осмотрится, сообразит, куда его занесло, и скажет уклончиво:

— Вот и вечер, Чарли...

— Он самый, — отвечал Чарли Мур.

Одни выходили с пустыми руками, другие покупали дешевенькую сигарку, подносили ко рту и забывали зажечь.

И только в половине десятого Чарли Мур решился наконец тронуть индейца за локоть — будто и не хотел бы нарушать покой друга, да вот приходится... Осторожно передвинул дикаря вовнутрь, где стоять тому всю ночь сторожем. Резное лицо уставилось из темноты через дверь тусклым слепым взглядом.

— Ну, вождь, что же ты там видишь?..

Немой взор указывал именно туда, на шоссе, расщепившее самую сердцевину их жизни.



Саранчовыми стаями с ревом неслись из Лос-Анджелеса машины. Раздраженно снижали скорость до тридцати миль в час. Пробирались меж тремя десятками лавок, складов и бывших конюшен, переделанных под бензоколонки, к северной окраине городка. И вновь взывали, разгоняясь до восьмидесяти, и как фурии летели на Сан-Франциско — преподать там урок насилия.

Чарли тихо хмыкнул.

Мимо шел человек, заметил его наедине с бессловесным деревянным другом, промолвил:

— Последний вечер, а?..

И исчез.

Последний вечер.

Вот. Кто-то наконец осмелился сказать это вслух.

Чарли круто повернулся, выключил в лавке весь свет, закрыл дверь на ключ и замер на тротуаре, опустив глаза.

Потом, будто во власти гипноза, ощутил, как глаза сами собой вновь поднялись на старое шоссе: оно проносилось рядом, но шоссе́йные ветры пахли теперь далеким прошлым, их относило на миллиард лет. Огни фар взрывались в ночи и, разрезав ее, убегали прочь красными габаритными огоньками, как стайки маленьких ярких рыбешек, что мчатся вслед за стаяй акул или за стадом скитальцев-китов. Красные огоньки тускнели и растворялись в черноте гор.

Оторвав от них взгляд, Чарли медленно зашагал через свой городок. Часы над клубом пробили три четверти и двинулись дальше к десяти, а он все шел, удивляясь и не удивляясь тому, что у каждой двери изваяниями стоят мужчины и женщины, — вот и он недавно стоял подле индейского воина, ослепленный мыслью, что будущее, о котором столько говорили, которого так боялись, вдруг превратилось в настоящее, в Сегодня и Сейчас...

Фред Фергюсон, набивщик чучел, глава семейства пугливых сов и встревоженных косуль, навсегда поселившихся в его витрине, проронил в ночной мрак — Чарли как раз проходил мимо:

— Не верится, правда? — И продолжал, не дожидаясь ответа: — Все думаю — не может быть. А завтра шоссе умрет, и мы вместе с ним...

— Ну, до этого не дойдет, — откликнулся Чарли.

Фергюсон глянул на него с возмущением:

— Постой-ка. Не ты ли два года назад орал, что надо взорвать законодательное собрание, перестрелять подрядчиков, выкрасть бульдозеры и бетономешалки, как только они осмелятся начать работы на новом супершоссе, там, в трехстах ярдах к западу? Что значит «до этого не дойдет»? Дойдет, и ты это прекрасно знаешь!

— Знаю, — согласился Чарли Мур нехотя.

Фергюсон все раздумывал над близкой судьбой.

— Каких-то три сотенки ярдов. Совсем ведь немного, а? Городишко у нас в ширину ярдов сто, стало быть, еще двести. Двести ярдов от супершоссе. От тех, кому могут понадобиться болты, гайки или, допустим, краска. Двести ярдов от шутников, которым удалось подстрелить в горах оленя или, на худой конец, бродячего кота и которые нуждаются в услугах единственного первоклассного набивщика чучел на всем побережье. Двести ярдов от дамочек, которым приспичило купить аспирин... — Он показал глазами на аптеку. — Сделать укладку... — Посмотрел на полосатый столбик у дверей парикмахерской. — Освежиться клубничным глянсе... — Кивнул в сторону лавочки мороженщика. — Да что перечислять...

Молча они dokonчили перечень, скользя взглядом по магазинчикам, лавкам, киоскам.

— Может, еще не поздно?

— Не поздно, Чарли? Да черт тебя побери! Бетон уложен, схватился и затвердел. На рассвете снимут с обоих концов ограждение. Может, сам губернатор ленточку перережет. А потом... В первую неделю, пожалуй, кто-нибудь и вспомнит Оук Лейн. Во вторую уже не очень. А через месяц? Через месяц мы для них будем мазком старой краски справа, если давишь железку на север, или слева, если на юг. Вон Оук Лейн, припоминаешь? Город-призрак... Фюить! И нету...

Чарли выждал — сердце отмерило два-три удара — и спросил:

— Фред! А что ты собираешься делать дальше?

— Побуду здесь еще немножко. Набью десяток птичьих чучел для наших, местных. А потом заведу свою консервную банку, выведу ее на новое супершоссе и помчусь. Куда? Да никуда. Куда-нибудь. И прости-прощай, Чарли Мур...

— Спокойной ночи, Фред. Надеюсь, тебе удастся заснуть.

— Что-о? И пропустить Новый год в середине июля?..

Чарли пошел своей дорогой, и голос за ним затих. Добрался до парикмахерской, где за зеркальной витриной возлежали в трех креслах три клиента, и над ними склонились три усердных мастера.

Машины, пробегающие по шоссе, бросали на витрину яркие блики. Будто между парикмахерским салоном и Чарли плыл поток гигантских светляков.

Чарли вошел в салон, и все обернулись к нему.

— Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?..

— Прогресс, Чарли, — ответил Фрэнк Мариано, продолжая орудовать гребенкой и ножницами, — это идея, которую не остановишь другой идеей. Давайте выдернем этот городишко со всеми потрохами, перенесем и вроем у новой трассы...

— В прошлом году мы прикидывали, во что бы это обошлось. Четыре десятка лавок — в среднем по три тысячи долларов, чтобы перетащить их всего-то на триста ярдов.

— И накрылся наш гениальный план, — пробормотал кто-то сквозь горячий компресс, задавленный мокрой тряпкой и неотразимостью фактов.

— Один хорошенький ураган — и переедем бесплатно...

Все тихо рассмеялись.

— Надо бы нам сегодня отпраздновать, — заявил человек из-под компресса. Он сел прямо и оказался Хэнком Саммерсом, бакалейщиком. — Выпьем по маленькой и погадаем, куда-то нас занесет ровно через год...

— Мы плохо боролись, — возвестил Чарли. — Когда все начиналось, нам бы навалиться всем миром...

— Какого дьявола! — Фрэнк вырвал у клиента волос, торчавший из большого уха. — Если уж времена меняются, то дня не проходит, чтоб кого-то не зацепило. В этом месяце, в этом году пришел наш черед. В следующий раз нам самим что-нибудь понадобится, и плохо придется кому-то другому. И все во имя Великого Принципа Давай-Давай... Слушай, Чарли, организуй отряд добровольцев. Поставьте на новом шоссе мины. Только поосторожнее. А то будешь пересекать проезжую часть, чтоб заложить взрывчатку, и запросто угодишь под транзитный грузовик с навозом.

Опять все рассмеялись, но быстро смолкли.

— Посмотрите, — сказал Хэнк Саммерс, и все посмотрели. Он говорил, обращаясь к своему засиженному мухами отражению в стареньком зеркале, как бы пытаясь всучить зазеркальному близнецу половинчатую свою логику. — Прожили мы тут тридцать лет, и вы, и я, все мы. А ведь не помрем, если придется сняться. Глубоких-то корешков мы, помилуй Бог, не пустили. И вот выпускной вечер. Школа трудностей выбрасывает нас под зад коленом безо всяких там «извините, пожалуйста» и «что вы, что вы, не стоит». Ну что ж, я готов. А ты, Чарли?

— Я хоть сейчас, — сообщил Фрэнк Мариано. — В понедельник в шесть утра загружаю свою парикмахерскую в прицеп — и вдогонку за клиентами со скоростью девяносто миль в час!..

Вновь раздался смех, только теперь это было похоже на последний смех дня. Чарли не задумываясь решительно повернулся и вновь очутился на улице.

А магазины все еще торговали, и огни горели, и двери были раскрыты настежь, будто хозяевам до смерти не хотелось домой, по крайней мере пока течет мимо река людей, металла и света, пока они движутся, мелькают, шумят привычным потоком, и кажется невероятным, что на этой реке вот-вот настанет сухой сезон... Чарли тянул время, переходя от лавки к лавке.

В молочном баре выпил шоколадный коктейль. В аптеке, где мягко шуршащий фанерный вентилятор перешептывался сам с собою под потолком, купил совершенно ненужную пачку писчей бумаги. Он шлялся как бродяга — крал кусочки Оук Лейна на память. Задержался в проулке, где по субботам цыгане торговали галстуками, а продавцы кухонной утвари выворачивали свои чемоданы в надежде привлечь покупателей. Наконец добрался до бензоколонки — Пит Бриц сидел в яме и ковырялся в немудреных, грубых потрохах безответного «форда» модели 1947 года.

И только после десяти, будто по тайному сговору, в лавках стали гасить огни, и люди пошли по домам, Чарли Мур вместе со всеми.

Он догнал Хэнка Саммерса — лицо бакалейщика все еще розовато сияло от бессмысленного бритья. Некоторое время они не спеша шли рядом и молчали, и казалось — обитатели домов, мимо которых лежал их путь, все до одного высыпали на улицу, курили, вязали, качались в креслах-качалках, обмахивались веерами, отгоняя несуществующую жару.

Хэнк вдруг рассмеялся каким-то своим мыслям. Через пару шагов он решил их обнародовать.

Мы будем снова вместе над рекой.  
Река, река, небесная дорога.  
Итак, до встречи, братья, над рекой,  
Что пролегла у трона Бога, —

продекламировал он нараспев, и Чарли кивнул:

— Первая баптистская церковь. Мне было тогда двенадцать...

— Бог дал, комиссар шоссейных дорог взял, — сказал Хэнк без улыбки. — Странно. Никогда раньше не представлял себе, что город — это люди. То есть ведь каждый чем-то занят. Там, когда я лежал под компрессом, подумалось: ну что мне в этом местечке? Потом встал бритый — и вот ответ. Расс Ньюэлл у себя в гаражике «Ночная сова» возится с карбюраторами. Н-да. Элли Мэй Симпсон...

Он смутился и проглотил конец фразы.

Элли Мэй Симпсон... Чарли мысленно продолжил список. Элли Мэй в эркере своего «Салона мод» накручивает старухам бигуди. Доктор Найт раскладывает пузырьки с лекарствами под стеклом аптечного прилавка. Магазин хозяйственных товаров — и посреди него Клинт Симпсон под палящим полуденным солнцем перебирает и сортирует миллионы искр, миллионы блесков, латунных, серебряных, золотых, все эти гвозди, щеколды, ручки, ножовки, и змеящийся медный провод, и рулоны алюминиевой фольги, словно вывернули карманы тысяч мальчишек за тысячи лет. И, наконец...

И, наконец, его собственная лавка, теплая, темная, желто-коричневая, уютная, пропахшая, как берлога курящего медведя. Влажные запахи целых семейств разнокалиберных сигар, импортных сигарет, нюхательных табаков, только и поджидающих случая, чтобы взорваться клубами...

«Забери все это, — подумал Чарли, — и что останется? Ну конечно, постройки. Так ведь кто угодно может сколотить ящик и наклеить вывеску, чтоб известить, что там внутри. Люди нужны, люди — вот тогда возьмет за живое...»

И у Хэнка, как выяснилось, мысли были не веселее.

— Тоска меня гложет, что ж тут непонятного! Вернуть бы каждого в его лавку да рассмотреть хорошенько, что он там делал и как. И почему я за все эти годы не присмотрелся толком? Черт возьми! Что это на тебя накатило, Хэнк Саммерс? Вверх, да и вниз по дороге есть еще такой же Оук Лейн и еще, и люди там крутятся точно так же, как здесь. Куда б меня теперь ни закинуло, присмотрюсь к ним повнимательнее, клянусь Богом. Прощай, Чарли...

— Пошел ты со своим прощанием!

— Ну ладно, тогда спокойной ночи...

И Хэнк ушел, и вот Чарли дома, и Клара ждет его у дверей, затянутых сеткой, и предлагает стакан воды со льдом.

— Посидим немножко на улице?

— Как все? Почему же не посидеть...

Они сидели на темном крылечке, на деревянных качелях с цепями, и смотрели, как шоссе вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет: приближаются фары, удаляются злые красные огоньки, словно по полям рассыпаны угли из огромной жаровни...

Чарли неторопливо пил воду и, пока пил, думал: а ведь в прежние времена никому не дано было увидеть, как умирает дорога. Можно было еще почувствовать, что она угасает, и ночью в постели вдруг уловить какой-то намек, толчок, смутенное предчувствие — дорога сходит на нет. Но проходили годы и годы, прежде чем дорога отдавала Богу свою пыльную душу и взамен начинала оживать новая. Так было: новое появлялось медленно, старое исчезало медленно. Так было всегда.

Было, да прошло. Теперь это дело немногих часов.

Он осекся.

Прислушался к себе и уловил что-то непривычное.

— А знаешь, я успокоился...

— Это хорошо, — отозвалась жена.

Они покачались на качелях, две половинки одного целого.

— О Господи, сперва меня так крепко взяло...

— Помню, — сказала жена.

— А теперь я подумал, ну и... — Он говорил неспешно, обращаясь прежде всего к себе. — Миллион машин катит каждый год по этой дороге. Нравится нам или нет, дорога стала просто тесна, мы тут задерживаем весь мир со своей старой дорогой и отжившим городишком. А миру надо идти вперед. Теперь по той новой дороге проедут уже не миллион, а два миллиона машин. Проедут всего-то на расстоянии ружейного выстрела отсюда — проедут куда им надо, по делам, какие им кажутся важными, все равно, важны они на самом деле или нет: людям кажется, что важны, а больше ничего и не требуется. Да если бы мы по-настоящему поняли, что нас ждет, обдумали бы все со всех сторон, то взяли бы паровой молот, расширили бы свой городишко в лепешку и пригласили: «Проезжайте!» — а не заставляли бы других прокладывать ту прокляту-

щую дорогу через клеверное поле. Сейчас Оук Лейн умирает тяжело, как на веревке у мясника, а следовало бы разом сбросить все в пропасть. Но, правда... — Он закурил трубку и закутался в густых клубах дыма — только так и можно было искать и прошлые ошибки, и нынешние откровения. — Раз уж мы люди, то поступить иначе мы, наверное, не могли...

Они слышали, как часы над аптекой пробили одиннадцать, потом часы над клубом — половину двенадцатого, а в двенадцать они лежали в темноте спальни, и потолок над ними пучился от раздумий.

— Выпускной вечер...

— Что-что?

— Фрэнк-парикмахер так сказал, и в самую точку. Вся эта неделя — словно последние дни в школе когда-то давно. Я же помню, как это было, как я боялся, чуть не плакал и клялся себе, что прочувствую каждую минутку, что осталась до выпуска, — ведь один Бог знает, что нас ждет завтра. Безработица. Кризис. Война. А потом пришло это самое завтра, час настал, а я все живой, слава Богу, целехонек, все начинается сызнова и, черт меня побери, получается даже, что к лучшему. Так что сегодня и впрямь еще один выпускной вечер. Фрэнк так сказал, и если кто сомневается, только не я...

— Слышишь? — спросила жена немалое время спустя. — Слышишь?..

Там, в ночи, через городок текла река, река металла, — она попритихла, но все равно набегала и убегала, неся с собой древние ароматы приливов и отливов на непроглядных морях нефти. И над кладбищенской их кроватью по потолку мелькали блестящие отсветы, будто кораблики плыли вверх-вниз по течению, и глаза мало-помалу закрылись, и дыхание слилось с размеренным ритмом приливов и отливов... и Чарли с женой заснули.

Когда в комнату проник первый утренний свет, половина кровати оказалась пуста.

Клара села с невольным испугом. Не в привычках Чарли было уходить из дому в такую рань.



Потом ее испугало еще и что-то другое. Она сидела, вслушиваясь и не понимая, что же это вдруг бросило ее в дрожь, но, прежде чем она пришла к определенному выводу, раздалися шаги. Она расслышала шаги издали, и немало времени минуло, прежде чем шаги приблизились, поднялись по ступенькам и вошли в дом. И — тишина. Она догадалась, что Чарли немо стоит в гостиной, и спустя две минуты окликнула:

— Чарли! Где ты был?

Он вошел в спальню, освещенную слабыми лучами зари, и сел рядом с ней на кровати, обдумывая ответ: где же он был и что делал.

— Прошел примерно с милю вдоль берега и обратно. В общем, до самых бревен, где начало нового шоссе. Рассудил, что ничего другого не остается, а раз так, надо принять участие...

— Новая дорога открыта?

— Открыта и работает. Разве не замечаешь?

— И правда... — Она вновь тихо приподнялась в постели, склонив голову и прикрыв на мгновение глаза, чтобы лучше слышать. — Так вот оно что! Вот отчего мне не по себе. Старая дорога умерла, действительно умерла...

Они вслушались в тишину за домом: старое шоссе опустело и высохло, как речное дно в разгар лета, — только этому лету не будет конца, оно продлится вечно. За ночь река передвинулась в новые берега, переменила русло. Теперь было слышно лишь, как шумят на ветру деревья, да еще было слышно птиц, затеявших восторженную переключку перед тем, как солнцу подняться из-за гор.

— Не шевелись!..

Они прислушались снова.

И точно — там вдали, в двухстах пятидесяти, а может, в трехстах ярдах за лугом, ближе к морю, раздавался все тот же знакомый издавна, но теперь приглушенный шум: река переменила русло, но не перестала течь, не перестала струиться — и никогда не перестанет — через привольные земли на север и сквозь приумолкший рассвет на юг. А еще дальше, еще тише —

голос настоящей воды, голос моря, которое будто притянуло их родную реку ближе к своему берегу.

Чарли Мур с женой посидели еще минуту-другую не двигаясь, вникая в смутное бормотанье реки, несущейся и несущейся по полям.

— Фред Фергюсон пришел туда еще затемно, — сказал Чарли, и по тону его было ясно, что он уже припоминает Прошлое. — Тьма народу. Чиновники из шоссе-ного управления и все такое прочее. Как налегли! Фред, так тот сразу подскочил — и за бревно. А я за другой конец. Вместе подняли и потащили с дороги прочь. А потом отступили на обочину. Чтоб не мешать машинам.

## РАЗГОВОР ЗАКАЗАН ЗАРАНЕЕ

**С** чего это в памяти всплыли вдруг старые стихи?  
Ответа он и сам не знал, но — всплыли:

Представьте себе, представьте еще и еще раз,  
Что провода, висающие на черных столбах,  
Впитали миллиардные потоки слов человеческих,  
Какие слышали каждую ночь напролет,  
И сберегли для себя их смысл и значенье...

Он запнулся. Как там дальше? Ах да...

И вот однажды, как вечерний кроссворд,  
Все услышанное составили вместе  
И принялись задумчиво перебирать слова,  
Как перебирает кубики слабоумный ребенок... ✓

Опять запнулся. Что же там в конце? Постой-ка...

Как зверь безмозглый,  
Сгребает гласные и согласные без разбора,  
За чудеса почитает дрянные советы  
И цедит их шепотом, с каждым ударом сердца  
Строго по одному...  
И в час полночный некто сядет в постели,  
Услышит гром звонка, поднимет трубку,  
  
И грянет голос — чей? Святого духа?  
Призрака из дальних созвездий?  
А это — он. Зверь.  
И с присвистом, смакуя звуки,

Промчась по континентам, одолев безумие времени,  
Зверь вымолвит по слогам:  
— Здрав-ствуй-те...

Он перевел дух и закончил:

Что же ответить ему, прежде немому,  
Затерянному неведомо где жестокому зверю,  
Как достойно ответить ему?

Он замолк.

Он сидел и молчал. Восьмидесятилетний старик, он сидел один в пустой комнате, в пустом доме, на пустой улице пустого города, на пустой планете Марс.

Он сидел, как сидел последние полвека, — сидел и ждал.

На столе перед ним стоял телефон. Телефон, который давным-давно не звонил.

И вот теперь телефон затрепетал, тайно готовясь к чему-то. Быть может, именно этот трепет и вызвал в памяти забытые строки.

Ноздри у старика раздулись. Глаза широко раскрылись.

Телефон задрожал — тихо, почти беззвучно.

Старик наклонился, уставясь на аппарат безумными глазами.

Телефон... зазвонил.

Старик подпрыгнул, отскочил от телефона, стул полетел на пол. Старик закричал, собрав все силы:

— Нет!..

Телефон зазвонил опять.

— Не-е-ет!..

Он хотел было протянуть руку к трубке, протянул — и сбил аппарат со стола. Телефон упал на пол как раз в ту секунду, когда зазвонил в третий раз.

— Нет, нет... о нет... — повторял старик тихо, прижимая руки к груди, а телефон лежал у его ног. — Этого не может быть... Этого не может быть...

Потому что как-никак он был один в пустой комнате, в пустом доме, в пустом городе на планете Марс, где не было никого живого, лишь он один — Король Пустынных Гор.

И все же...

— Бартон!..

Кто-то звал его.

Нет, слышалось. Просто в трубке что-то трещало, стрекотало, как кузнечики и цикады дальних пустынь.

«Бартон? — подумал он. — Ну да... ведь это же я!..»

Старик так давно не слышал звука своего имени, что совсем его позабыл. Он не принадлежал к числу тех, кто способен разговаривать сам с собой. Он никогда...

— Бартон! — позвал телефон. — Бартон! Бартон! Бартон!..

— Замолчи! — крикнул старик.

И пнул трубку ногой. Потев и задыхаясь, нагнулся, чтобы положить ее обратно на рычаг.

Но едва он водворил ее на место, проклятый аппарат зазвонил снова.

На сей раз старик стиснул телефон руками, сжал так, словно хотел задушить, заглушить звук, но в конце концов костяшки пальцев побелели, и он, разжав пальцы, поднял трубку.

— Бартон! — донесся голос издалека, за миллиард миль.

Старик подождал — сердце отмерило еще три удара, — затем сказал:

— Бартон слушает...

— Ну-ну, — отозвался голос, приблизившийся теперь до миллиона миль. — Знаешь, кто с тобой говорит?

— Черт побери, — заявил старик. — Первый звонок за пол моей жизни, а вы шутики шутить...

— Виноват. Это я, конечно, зря. Само собой, не мог же ты узнать собственный голос. Собственный голос никто не узнает. Мы-то сами слышим его искаженным, сквозь кости черепа... Слушай, Бартон, с тобой говорит Бартон.

— Что?!

— А ты думал кто? Командир ракеты? Думал, кто-то прилетел на Марс, чтобы спасти тебя?

— Да нет...

— Какое сегодня число?

— 20 июля 2097 года.

— Бог ты мой! Шестьдесят лет прошло! И что, ты все это время так и просидел, ожидая прибытия ракеты с Земли? — Старик молча кивнул. — Послушай, старик, теперь ты знаешь, кто говорит?

— Знаю. — Он вздрогнул. — Вспомнил. Мы с тобой одно лицо. Я Эмиль Бартон, и ты Эмиль Бартон.

— Но между нами существенная разница. Тебе восемьдесят, а мне двадцать. У меня еще вся жизнь впереди!

Старик рассмеялся — и тут же заплакал навзрыд. Он сидел с трубкой в руке, чувствуя себя глупым, заблудившимся ребенком. Разговор этот был невыносим, его не следовало продолжать, и все-таки разговор продолжался. Совладав с собой, старик прижал трубку к уху и сказал:

— Эй, ты там! Послушай... О Господи, если б я только мог предупредить тебя! Но каким образом? Ты же всего-навсего голос. Если б я мог показать тебе, как одиноки предстоящие годы... Оборви все разом, убей себя! Не жди! Если б ты мог понять, как это страшно — превратиться из того, что ты есть, в то, чем я стал сегодня, сейчас, сию минуту, на этом конце провода...

— Чего нельзя, того нельзя, — расхохотался молодой Бартон далеко-далеко. — Я же не могу знать, ответил ли ты на мой звонок. Все это автоматика. Ты разговариваешь с записью, и не больше. Я живу в 2037 году, для тебя — шестьдесят лет назад. На Земле сегодня началась война. Всех колонистов отозвали с Марса домой на ракетах. А меня забыли...

— Помню, — прошептал старик.

— Один на Марсе, — хохотал молодой голос. — Месяц, год, не все ли равно? Продукты есть, книги есть. Между делом я подобрал фонотеку на десять тысяч слов с типовыми ответами — все надиктовано моим же голосом и подключено к телефонным реле. Буду сам себе звонить, заведу собеседника...

— Да-да...

— А шестьдесят лет спустя мои записи позвонят мне сами. Я, правда, не верю, что пробуду на Марсе столько лет. Просто мысль такая в голову пришла,

замечательно ехидная мысль, средство убить время. Это действительно ты, Бартон? Ты — это я?

Из глаз старика текли слезы.

— Да-да...

— Я создал тысячу Бартонов, тысячу записей, готовых ответить на любые вопросы, в тысяче марсианских городов. Целая армия Бартонов по всей планете, куда сам я жду возвращения ракет...

— Дурак! — Старик устало покачал головой. — Ты прождал шестьдесят лет. Состарился, ожидая, и все время один. И теперь ты стал я, и ты по-прежнему один, один во всех пустых городах...

— Не рассчитывай на мое сочувствие. Ты для меня чужеземец, житель иной страны. Зачем мне грустить? Когда я диктую эти записи, я живой. И ты, когда слушаешь их, живой. Но понять друг друга мы не можем. Ни один из нас не может ни о чем предупредить другого, хоть мы и перекликаемся через годы — один автоматически, другой по-человечески страстно. Я живу сейчас. Ты живешь позже меня. Плакать не стану — будущее мне неизвестно, а раз так, я остаюсь оптимистом. Записи спрятаны от тебя и лишь реагируют на определенные раздражители с твоей стороны. Можешь ты потребовать от мертвеца, чтобы тот зарыдал?..

— Прекрати! — воскликнул старик. Он ощутил знакомый приступ боли, им овладела тошнота — и чернота. — Боже, как ты был бессердечен! Прочь! Прочь!..

— Почему был, старина? Я есть. Пока пленка скользит по тонвалу, пока крутятся бобины и скрытые от тебя электронные глаза читают, выбирают и трансформируют слова тебе в ответ, я остаюсь молод — и жесток. Я останусь молод и жесток и тогда, когда ты давным-давно умрешь. До свидания.

— Постой! — вскричал старик.

Щелк.

Бартон долго сидел, сжимая в руке онемевшую трубку. Сердце причиняло ему нестерпимую боль.

Каким это было безумием! Он был молод — и как глупо, как вдохновенно шли те первые годы одиноче-

ства, когда он монтировал все эти пленки, цепи, управляющие схемы, программировал вызовы на реле времени...

Звонок.

— С добрым утром, Бартон! Говорит Бартон. Семь часов. А ну вставай, лежебока!..

Опять звонок.

— Бартон? Говорит Бартон. В полдень тебе предстоит поехать в Марстаун. Установить там телефонный мозг. Хотел тебе об этом напомнить.

— Спасибо.

Звонок!

— Бартон? Это я, Бартон. Пообедаем вместе? В гостинице «Ракета», хорошо?

— Договорились.

— Там и увидимся. Пока!..

Дз-з-з-иин-н-нь!

— Это ты? Хотел тебя подбодрить. Выше нос, и так далее. А вдруг уже завтра за нами прилетит спасательная ракета?

— Вот именно, завтра. Завтра. Завтра. Завтра...

Щелк.

Но годы обратились в дым. И Бартон собственными руками задушил коварные телефоны со всеми их хитрыми-хитрыми репликами. Теперь они должны были вызвать его только после того, как ему исполнится восемьдесят, — конечно, если он еще будет жив. И вот сегодня телефоны звонят, и прошлое дышит ему в уши, нашептывает, напоминает...

Телефон!

Пусть звонит.

«Я же не обязан отвечать», — подумал он.

Звонок!

«Да ведь там и нет никого», — подумал он.

Звонок! Звонок! Звонок!

«Это будто сам с собой разговариваешь», — подумал он. — Но есть и разница. Господи, и какая разница!..»

Он ощутил, как его рука сама подняла трубку.

— Алло, старик Бартон, говорит молодой Бартон. Мне сегодня двадцать один! За прошедший год я



установил голосовые устройства еще в двухстах городах. Я заселил Марс Бартонами!..

— Да-да...

Старик припомнил те ночи, шесть десятилетий назад, когда он носился сквозь голубые горы и железные долины в грузовике, набитом всяческой техникой, и насвистывал, счастливый. Еще один аппарат, еще одно реле. Хоть какое-то занятие. Остроумное, необычное, печальное. Скрытые голоса. Скрытые, затаенные. В те юные годы смерть не была смертью, время не было временем, а старость казалась лишь смутным эхом из глубокого грота лет, лежащих впереди. Молодой идиот, садист, дурак, не помышляющий о том, что снимать урожай придется не кому-нибудь, а ему самому...

— Вчера вечером, — сообщил Бартон двадцати одного года от роду, — я сидел в кино посреди пустого города. Прокрутил старую ленту с Лорелом и Харди. Ох, и смеялся же я...

— Да-да...

— У меня родилась идея. Я записал свой голос на одну и ту же пленку тысячу раз подряд. Запустил ее через громкоговорители — звучит как тысяча человек. Оказывается, шум толпы успокаивает. Я так все устроил, что двери в городе хлопают, дети поют, радиолы играют, все по часам. Если не смотреть в окно, только слушать, тогда здорово. А выглянешь — иллюзия пропадает. Наверно, начинаю чувствовать одиночество...

— Вот тебе и первый сигнал, — сказал старик.

— Что?

— Ты впервые признался себе, что одинок...

— Я поставил опыты с запахами. Когда гуляю по улицам, из домов доносятся запахи бекона, яичницы, ветчины, рыбы. Все с помощью потайных устройств.

— Безумие!

— Самозащита...

— Я устал от тебя!..

Старик резко повесил трубку. Это уж чересчур. Прошное засасывает, захлестывает его...

Пошатываясь, он спустился по лестнице и вышел на улицу.

Город лежал в темноте. Не горели больше красные неоновые огни, не играла музыка, не носились в воздухе кухонные запахи. Давным-давно забросил он фантастику механической лжи. Прислушайся! Что это — ша-ги?.. Запах! Должно быть, клубничный пирог!.. Он прекратил все это раз и навсегда.

Подошел к каналу, где звезды мерцали в дрожащей воде.

Под водой шеренга к шеренге, как рыбы в стае, ржавели роботы — бездушное население Марса, которое он создавал в течение многих лет, а потом внезапно осознал жуткую бессмысленность того, что делает, и приказал им — раз, два! три, четыре! — шествовать на дно канала, и они утонули, пуская пузыри, как пустые бутылки. Он истребил их всех — и не чувствовал угрызений совести.

В неосвещенном домике тихо зазвонил телефон.

Бартон прошел мимо. Телефон замолк.

Зато впереди, в другом коттедже, забренчал звонок, словно догадался о его приближении. Он побежал. Звонок остался позади. Но на смену пришли новые звонки — в этом домике, в том, здесь, там, повсюду! Он рванулся прочь. Еще звонок!

— Ладно, — прокричал он в изнеможении. — Ладно, иду!

— Алло, Бартон!..

— Что тебе еще?

— Мне одиноко. Я живу, только когда говорю. Значит, я должен говорить. Ты не можешь заставить меня замолчать.

— Оставь меня в покое! — в ужасе воскликнул старик. — Ох, сердце схватило...

— Говорит Бартон. Мне двадцать четыре. Прошло еще два года. А я все жду. И мне все более одиноко. Прочел «Войну и мир». Выпил реку вина. Обошел все рестораны — и в каждом был сам себе официант, и повар, и оркестрант. Сегодня играю в фильме в «Тиволи». Эмиль Бартон в «Напрасных усилиях любви» исполнит все роли, некоторые в париках!..

— Перестань мне звонить — или я тебя убью!

— Не сумеешь. Сперва найди меня!

— И найду.

— Ты же забыл, где меня спрятал. Я везде: в кабелях и коробках, в домах и башнях, и под землей. Давай убивай! Как ты это назовешь? Телеубийством? Самоубийством? Ревнуешь, не так ли? Ревнуешь ко мне, двадцатичетырехлетнему, ясноглазому, сильному, молодому... Ладно, старик, война так война! Война между нами! Между мной — и мной! Нас тут целый полк всех возрастов против тебя, единственно живого. Вали, объявляй войну!

— Я убью тебя!..

Щелк.

Тишина.

Он вышвырнул телефон в окно.

В полночный холод автомобиль пробирался по глубоким долинам. На полу под ногами Бартона были сложены пистолеты, винтовки, динамит. Рев мотора отдавался в его истонченных, усталых костях.

«Я найду их, — повторял он себе, — найду и уничтожу всех до единого. Господи, и как он только может так поступать со мной?..»

Он остановил машину. Под заходящими лунами лежал незнакомый город. В воздухе висело безветрие.

Он сжал винтовку холодными руками. Смотрел на столбы, башни, коробки. Где же запрятан голос в этом городе? Вон в той башне? Или вон там, подальше? Сколько лет прошло! Он судорожно повел головой в одну сторону, в другую...

Поднял винтовку.

Башня развалилась с первого выстрела.

«А надо все до одной, — подумал он. — Придется срезать в этом городе все башни. Я забыл, забыл! Слишком давно это было...»

Машина двинулась по безмолвной улице.

Зазвонил телефон.

Он бросил взгляд на вымершую аптеку.

Да, там аппарат.

Сжав пистолет, сбил выстрелом замок и вошел внутрь.

Щелк.

— Алло, Бартон! Предупреждаю: не пытайся разрушить все башни или взорвать их. Сам себе перережешь глотку. Одумайся!..

Щелк.

Он тихо вышел из телефонной будки, выбрался на улицу и все прислушивался к смутному гулу башен. Гул доносился сверху — они все еще работали, все еще были в действии. Посмотрел на них снова и вдруг сообразил: он не вправе их уничтожить. Допустим, с Земли прилетит ракета — невозможная мысль, но что, если она все-таки прилетит сегодня, завтра, через неделю? И сядет на другой стороне планеты, и кто-то захочет связаться с Бартоном по телефону — и обнаружит, что вся связь прервана?..

Он опустил винтовку.

— Да не придет она, — возразил он себе вполголоса. — Я старик. Поздно, слишком поздно...

«Ну а вдруг придет, — подумал он, — а ты и не узнаешь. Нет, связь должна оставаться в порядке...»

Телефон в аптеке зазвонил снова.

Он тупо повернулся. Прошаркал обратно в аптеку, непослушными пальцами поднял трубку.

— Алло!..

Незнакомый голос.

— Пожалуйста, — произнес старик, — оставь меня в покое...

— Кто это? Кто там? Кто вы? Где вы? — откликнулся изумленный голос.

— Подождите. — Старик пошатнулся. — Я Эмиль Бартон. Кто со мной говорит?

— Говорит капитан Рокуэлл с ракеты «Аполлон-48». Мы только что с Земли.

— Нет, нет, нет!..

— Вы меня слушаете, мистер Бартон?

— Нет-нет! Этого не может быть...

— Где вы?

— Врешь! — Старику пришлось прислониться к стенке будки. Глаза ничего не видели. — Это ты, Бартон, потешаешься надо мной, разыгрываешь меня!..

— Говорит капитан Рокуэлл. Мы только что сели. В Нью-Чикаго. А вы где?

— В Гринвилле, — прохрипел старик. — Шестьсот миль от вас.

— Слушайте, Бартон, а вы не могли бы приехать сюда?

— Что?

— Нам нужно провести кое-какой ремонт. Да и устали за время полета. Вы могли бы приехать помочь?

— Да, конечно.

— Мы на поле за городом. К завтрашнему дню доберетесь?

— Да, но...

— Что еще?

Старик погладил трубку.

— Как там Земля? Как Нью-Йорк? Война кончилась? Кто теперь президент? Что с вами случилось?..

— Впереди уйма времени. Наговоримся, когда приедете.

— Но хоть скажите: все в порядке?

— Все в порядке.

— Слава Богу. — Старик прислушался к звучанию далекого голоса. — А вы уверены, что вы действительно капитан Рокуэлл?

— Черт возьми!..

— Прошу прощения...

Он повесил трубку и побежал.

Они здесь, после стольких лет одиночества — невероятно, — люди с Земли, люди, которые возьмут его с собой, обратно к земным морям, горам, небесам...

Он завел машину. Он будет ехать всю ночь напролет. Риск стоит того — он вновь увидит людей, пожмет им руки, услышит их речь...

Громовое эхо мотора неслось по холмам.

Но этот голос... Капитан Рокуэлл. Не мог же это быть он сам сорок лет назад... Он не делал, никогда не делал подобной записи! А может, делал? В приступе

депрессии, в припадке пьяного цинизма не придумал ли он однажды ложную запись ложной посадки на Марсе ракеты с поддельным капитаном и воображаемой командой? Он зло мотнул головой. Нет! Он просто подзрительный дурак. Теперь не время для сомнений. Нужно всю ночь, ночь напролет мчаться вдогонку за марсианскими лунами. Ох, и отпразднуют же они эту встречу!..

Взошло солнце. Он бесконечно устал, шипы сомнений впивались в душу, сердце трепетало, руки судорожно сжимали руль — но как сладостно было предвкушать последний телефонный звонок: «Алло, молодой Бартон! Говорит старик Бартон. Сегодня я улетаю на Землю. Меня спасли!..» Он слегка усмехнулся.

В затененные предместья Нью-Чикаго он въехал перед закатом. Вышел из машины — и застыл, уставясь на бетон космодрома, протирая воспаленные глаза.

Поле было пустынно. Никто не выбежал ему навстречу. Никто не тряс ему руку, не кричал, не смеялся.

Он ощутил, как заходится сердце. В глазах потемнело, он будто падал и падал сквозь пустоту. Спотыкаясь, побрел к какой-то постройке.

Внутри в ряд стояли шесть телефонов.

Он ждал, задыхаясь.

Наконец — звонок.

Он поднял тяжелую трубку.

Голос:

— А я еще гадал, доберешься ли ты живым...

Старик ничего не ответил, просто стоял и держал трубку в руке.

— Докладывает капитан Рокуэлл, — продолжал голос. — Какие будут приказания, сэр?

— Ты!.. — простонал старик.

— Как сердчишко, старик?

— Нет!!!

— Надо же было как-то устранить тебя, чтобы сохранить жизнь себе — если, конечно, можно сказать, что звукозапись живет...

— Я сейчас же еду обратно, — ответил старик. — Терять мне уже нечего. Я буду взрывать все подряд, пока не убью тебя!

— У тебя сил не хватит. Почему, как ты думаешь, я заставил тебя ехать так далеко и так быстро? Это была последняя твоя поездка!..

Старик почувствовал, как сердце дрогнуло и упало. Никогда уже ему не добраться до других городов. Война проиграна. Он упал в кресло, изо рта у него вырывались тихие скорбные звуки. Он смотрел неотрывно на остальные пять телефонов. Они зазвонили хором. Гнездо с пятью отвратительными галдящими птицами!

Трубки приподнялись сами собой.

Комната поплыла перед глазами.

— Бартон, Бартон, Бартон!..

Он сжал один из аппаратов руками. Он душил телефон, а тот по-прежнему смеялся над ним. Стукнул по телефону. Пнул ногой. Намотал горячий провод, как серпантин, на пальцы и рванул. Провод сполз к его непослушным ногам.

Он разломал еще три аппарата. Наступила внезапная тишина.

И словно тело Бартона вдруг обнаружило то, что долго держало в тайне, — оно начало оседать на усталых костях. Веки опали, как лепестки цветов. Рот скривился. Мочки ушей оплыли расплавленным воском. Он уперся руками себе в грудь и упал ничком. И остался лежать. Дыхание остановилось. Сердце остановилось.

Долгая пауза — и зазвонили уцелевшие два телефона.

Где-то замкнулось реле. Два телефонных голоса соединились напрямую друг с другом.

— Алло, Бартон!

— Да, Бартон?

— Мне двадцать четыре.

— А мне двадцать шесть. Мы оба молоды. Что стряслось?

— Не знаю. Давай прислушаемся...

В комнате тишина. Старик на полу недвижим. В разбитое окно задувает ветер. Воздух свеж и прохладен.

— Поздравь меня, Бартон! Сегодня у меня день рождения, мне двадцать шесть!

— Поздравляю!..

Голоса запели дуэтом, поздравляя друг друга, — и пение подхватил ветерок, вынес из окна и понес чуть слышно по мертвому городу.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО ПОЮ!

**Б**абушка!..

Я помню, как она родилась.

Постойте, скажете вы, разве может человек помнить рождение собственной бабушки?

И все-таки мы помним этот день.

Ибо это мы, ее внуки — Тимоти, Агата и я, Том, — помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей шлепка и услышали крик «новорожденной». Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков, выбрали ей темперамент, вкусы и привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бранила нас, то к югу, когда утешала и ласкала, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир; взор ее искал и находил нас, губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце.

Бабушка, милая Бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства...

Когда за горизонтом вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буквами отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжание. Она, словно часы-привидение, проходит по длинным коридорам моей памяти, как рой

---

I Sing the Body Electric!

© Т. Шинкарь, перевод, 1975

мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда на исходе ночи я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила...

Хорошо, хорошо, прервите вы меня с нетерпением, расскажите же наконец, черт побери, как все произошло, как «родилась» на свет эта ваша столь замечательная, столь удивительная и так обожавшая вас бабушка.

Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец...

Умерла мама.

В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке перед домом. Мы потерянно глядели на лужайку и думали: «Нет, это не наша лужайка, хотя на площадке для крокета все так же лежат брошенные деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот и всё, как три дня назад, когда из дома вышел рыдающий отец и сказал нам. Вот лежат ролики, принадлежавшие некогда мальчугану, — этим мальчуганом был я. Но это время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, однако Агата не решится встать на них — они не выдержат, оборвутся и упадут».

А наш дом? О Боже...

Мы с опаской смотрели на приоткрытую дверь, страшась эха, которое могло прятаться в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель и ничто уже не приглушает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Нечто мягкое и уютное, нечто самое главное и прекрасное исчезло из нашего дома навсегда.

Дверь медленно отворилась.

Нас встретила тишина. Пахнуло сыростью — должно быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба!..

— Ну вот, дети... — промолвил отец.

Мы застыли на пороге.

К дому подкатила большая канареечно-желтая машина тети Клары.

Нас словно ветром сдуло — мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам.

Мы слышали голоса — они кричали и спорили, кричали и спорили. «Пусть дети живут у меня!» — кричала тетя Клара. «Ни за что! Они скорее согласятся умереть!..» — отвечал отец.

Хлопнула дверь. Тетя Клара уехала.

Мы чуть не заплясали от радости, но вовремя опомнились и тихонько спустились вниз.

Отец сидел, разговаривая сам с собой или, может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Но звук хлопнувшей двери испугнул тень, и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в пустые ладони:

— Пойми, Энн, детям нужен кто-то... Я люблю их, видит Бог, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами. А Клара?.. Нет, это невозможно. Ее любовь... угнетает. Няньки, прислуга...

Отец горестно вздохнул, и мы, вспомнив, вздохнули тоже.

Нам действительно не везло на нянек, воспитательниц, даже на приходящую прислугу. Мы не помним, чтобы хотя бы одна из них не пилила, как пила. Их появление в доме можно сравнить со стихийным бедствием, торнадо или ураганом, с топором, который неожиданно падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились; на нашем языке — горелые сухари либо прокисшее суфле. Мы для них были чем-то вроде мебели, на которую можно без спроса садиться, которую следует чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и раз в год вывозить на взморье для большой стирки.

— Дети, нам нужна... — вдруг тихо произнес отец.

Нам пришлось придвинуться поближе, чтобы слышать слово, которое он произнес почти шепотом:

— ...бабушка.

— Но наши бабушки давно умерли! — с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти.

— С одной стороны, это так, но с другой...

Что за странные и загадочные слова говорит наш отец!

— Вот взгляните. — Он протянул нам сложенный гармошкой яркий рекламный проспект.

Сколько раз мы видели его в руках отца, и особенно в последние дни! Достаточно было одного взгляда, чтобы стало ясно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом.

Тимоти первым прочел вслух слова на обложке:

«Электрическое тело пою!»\*

Нахмурившись, он вопросительно посмотрел на отца:

— Это что еще такое?

— Читай дальше.

Мы с Агатой виновато оглянулись, словно испугались, что вот-вот войдет мама и застанет нас за этим недостойным занятием. А потом закивали головами: да-да, пусть Тимоти читает.

— «Фанто...»

— «Фанточины»\*\* — не выдержав, подсказал отец.

— ...«Фанточины, Лимитед». *Мы проводим...* Вот ответ на все ваши трудные и неразрешимые проблемы. Всего ОДНА МОДЕЛЬ, но ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид... Единственная, уникальная... единая, неделимая, со свободой и справедливостью для всех».

— Где, где это написано? — закричали мы.

— Это я от себя добавил. — И впервые за много дней Тимоти улыбнулся. — Так вдруг, захотелось. А теперь слушайте дальше: «Для тех, кого измучили недобросовестные няньки и приходящая прислуга, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кто устал от советов дядей и теток, преисполненных самых добрых намерений...»

---

\* Стихотворение американского поэта Уолта Уитмена. (Пер. К. Чуковского.)

\*\* Марионетки, куклы (ит.).

— Да, добрых... — протянула Агата, а я, как эхо, повторил за ней.

«...мы создали и усовершенствовали модель человека-робота на микросхемах с перезарядкой марки АС-ДСУ, электронную Бабушку...»

— Бабушку?!

Проспект упал на пол.

— Папа?..

— Не смотрите на меня так, дети, — прошептал отец. — Я совсем потерял голову от горя, я почти лишился рассудка, думая о том, что будет завтра, а потом послезавтра... Да поднимите же вы его, дочитайте до конца!

— Хорошо, — сказал я и поднял проспект.

«...это Игрушка и вместе с тем нечто большее, чем Игрушка. Это Электронная Бабушка фирмы “Фанточины”. Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира и еще в большей степени с реальностью невероятного. Наша модель способна обучать на двенадцати языках одновременно, переключаясь с одного на другой с быстротой в одну тысячную долю секунды. В ее электронной памяти, похожей на соты, хранится все, что известно людям о религии, искусстве и истории человечества...»

— Вот здорово! — воскликнул Тимоти. — Значит, у нас будут пчелы! Да еще ученые!..

— Замолчи, — одернула его Агата.

«Но самое главное, — продолжал я, — что это Существо — а наша модель действительно почти живое существо, — это идеальное воплощение человеческого интеллекта, способное слушать и понимать, любить и лелеять ваших детей (как способно любить и лелеять совершеннейшее из творений человеческого разума), — наша фантастическая и невероятная Электронная Бабушка. Она будет чутко откликаться на все, что происходит не только в окружающем вас огромном мире и в вашем собственном маленьком мирке, но также во всей Вселенной. Послушная малейшему прикоснове-

нию руки, она подарит чудесный мир сказок тем, кто в этом так нуждается...»

— Так нуждается... — прошептала Агата.

«Да-да, нуждается, — печально подумали мы. — Это написано о нас, конечно, о нас!»

Я продолжал:

«Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители могут сами растить и воспитывать своих детей, формировать их характеры, исправлять недостатки, дарить любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца или мать. Но есть семьи, где смерть, недуг или увечье кого-либо из родителей грозят разрушить счастье семьи, отнять у детей детство. Приюты здесь не помогут. А няньки и прислуга слишком эгоистичны, нерадивы или слишком неуравновешенны в наш век нервных стрессов.

Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще додумать, изучить, проверить и пересмотреть, постоянно совершенствуя из месяца в месяц и из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец, по многим показателям близкий к идеальному типу наставника — друга — товарища — помощника — близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в...»

— Довольно! — воскликнул отец. — Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого.

— Почему? — удивился Тимоти. — А я только-только начал понимать, как это здорово!

Я сложил проспект.

— Это правда? У них действительно есть такие штуки?

— Не будем больше говорить об этом, дети, — сказал отец, прикрыв глаза рукой. — Безумная мысль...

— Совсем не такая уж плохая, папа, — возразил я и посмотрел на Тима. — Я хочу сказать, что если, черт побери, это лишь первая попытка и она удалась, то это все же лучше, чем наша тетушка Клара, а?

Бог мой, что тут началось! Давно мы так не смеялись. Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатались со смеху, стонали

и охали, да и я сам от души расхохотался. Когда мы наконец отдышались и пришли в себя, глаза наши невольно снова вернулись к рекламному проспекту.

— Ну? — сказал я.

— Я... — поежилась не готовая к ответу Агата.

— Это то, что нам нужно. Нечего раздумывать, — решительно заявил Тимоти.

— Идея сама по себе неплоха, — изрек я, по привычке стараясь придать своему голосу солидность.

— Я хотела сказать, — снова начала Агата, — можно попробовать. Конечно, можно. Но когда, наконец, мы перестанем болтать чепуху и когда... наша настоящая мама вернется домой?

Мы охнули, мы окаменели. Удар был нанесен в самое сердце. Я не уверен, что в эту ночь кто-нибудь из нас уснул. Вероятнее всего мы проплакали до утра.

А утро выдалось ясное, солнечное. Вертолет поднял нас над небоскребами, и не успели мы опомниться, как он высадил нас на крыше одного из них, где еще с воздуха была видна надпись: «ФАНТОЧИНИ».

— А что такое Фанточини? — спросила Агата.

— Кажется, по-итальянски это куклы из театра теней. Куклы из снов и сказок, — пояснил отец.

— А что означает: «Мы провидим»?

— «Мы угадываем чужие сны и желания». — не удержался я показать свою ученость.

— Молодчина, Том, — похвалил отец.

Я чуть не лопнул от гордости.

Зашумев винтом, вертолет взмыл в воздух и, на мгновение накрыв нас своей тенью, исчез из виду.

Лифт стремительно упал вниз, а сердце, наоборот, подпрыгнуло к горлу. Мы вышли и сразу же ступили на движущуюся дорожку — она привела нас через синюю реку ковра к большому прилавку, над которым мы увидели надписи:

«МЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ»

«Куклы — наша специальность»

«Зайчик на стене — это совсем просто»

— Зайчик?

Я сложил пальцы и показал на стене тень зайца, шевелящего ушами.

— Это заяц, вот волк, а это крокодил.

— Это каждый умеет, — сказала Агата.

Мы стояли у прилавка. Тихо играла музыка. За стеной слышался приглушенный гул работающих механизмов. Когда мы очутились у прилавка, свет в магазине стал мягче, да и мы повеселели, словно оттаяли, хотя внутри все еще оставался сковывающий холодок.

Вокруг нас, в ящиках и стенных нишах или просто свешиваясь с потолка на шнурах и проволоке, были куклы, марионетки с каркасами из тонких бамбуковых щепок, куклы с острова Бали, напоминающие бумажного змея и такие легкие и прозрачные, что при лунном свете кажется, будто оживают твои сокровенные мечты и желания. При нашем появлении потревоженный воздух привел их в движение. «Они похожи на еретиков, повешенных в дни празднеств на перекрестках дорог в средневековой Англии», — подумал я. Как видите, я еще не забыл историю...

Агата с недоверием озиралась вокруг. Недоверие сменилось страхом и наконец отвращением.

— Если они все такие, уйдем отсюда.

— Тс-с, — остановил ее отец.

— Ты уже однажды подарил мне такую глупую куклу, помнишь, два года назад, — запротестовала Агата. — Все веревки сразу перепутались. Я выбросила ее в окно.

— Терпение, — сказал отец.

— Ну что ж, в таком случае постараемся подобрать без веревок, — произнес человек, стоявший за прилавком.

Отлично знающий свое дело, он смотрел на нас серьезно, без тени улыбки. Видимо, знал, что дети не очень-то доверяют тем, кто слишком охотно расточает улыбки, — тут сразу чувствуется подвох.

Все так же без улыбки, но отнюдь не мрачно, а без всякой важности и совсем просто он представился:



— Гвидо Фанточини, к вашим услугам. Вот что мы сделаем, мисс Агата Саймонс одиннадцати лет.

Вот это да! Он-то прекрасно видел, что Агате не больше десяти. И все-таки это он здорово придумал прибавить ей год. Агата на наших глазах выросла по меньшей мере на вершок.

— Вот, держи.

Он вложил ей в ладонь маленький золотой ключик.

— Это чтобы заводить их? Вместо веревок, да?

— Ты угадала, — кивнул он.

Агата хмыкнула, что было вежливой формой ее обычного: «Так я и поверила».

— Сама увидишь. Это ключ от вашей Электронной Бабушки. Вы сами выберете ее, сами будете заводить. Это надо делать каждое утро, а вечером спускать пружину. И следить за этим поручается тебе. Ты будешь хранительницей ключа, Агата.

И он слегка прижал ключ к ладони Агаты, а та по-прежнему разглядывала его с недоверием.

Я же не спускал глаз с этого человека, и вдруг он лукаво подмигнул мне. Видимо, хотел сказать: «Не совсем так, конечно, но интересно, не правда ли?»

Я успел подмигнуть ему в ответ, до того как Агата наконец подняла голову.

— А куда его вставлять?

— В свое время все узнаешь. Может, в живот, а может, в левую ноздрю или в правое ухо.

Это было лучше всяких улыбок.

Человек вышел из-за прилавка.

— Теперь, пожалуйста, сюда. Осторожно. На эту бегущую дорожку, прямо как по волнам. Вот так.

Он помог нам ступить с неподвижной дорожки у прилавка на ту, что бежала мимо с тихим шелестом, словно река.

Какая же это была славная река! Она понесла нас к зеленым ковровым лугам, через коридоры и залы, под темные своды загадочных пещер, где эхо повторяло наше дыхание и чьи-то голоса мелодично, нараспев, подобно оракулу, отвечали на наши вопросы.

— Слышите? — промолвил хозяин магазина. — Это все женские голоса. Слушайте внимательно и выбирайте любой. Тот, что больше всех вам понравится...

И мы вслушивались в голоса, высокие и низкие, звонкие и глухие, голоса ласковые и чуть строгие, собранные здесь, видимо, еще до того, как мы появились на свет.

Агаты не было рядом, она все время отставала. Она упорно пыталась идти в обратном направлении, будто все происходящее ее не касалось.

— Скажите что-нибудь, — предложил хозяин. — Можете даже крикнуть.

Долго просить нас не пришлось.

— Э-гей-гей! Слушайте, это я, Тимоти!

— Что бы мне такое сказать? — промолвил я и вдруг крикнул: — На помощь!

Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения.

Отец схватил ее за руку.

— Пусти! — крикнула она. — Я не хочу, чтобы мой голос попал туда, слышишь, не хочу!

— Ну вот и отлично, — сказал наш проводник и коснулся пальцем трех небольших циферблатов приборчика, который держал в руках. На боковой стороне приборчика появились три осциллограммы: кривые на них переплелись, сливаясь воедино, — наши возгласы и крики.

Гвидо Фанточини щелкнул переключателем, и мы услышали, как наши голоса вырвались на свободу, под своды дельфийских пещер, чтобы поселиться там, заглушив другие, известить о себе. Гвидо снова и снова касался каких-то кнопок то здесь, то там на приборчике, и мы вдруг слышали легкое, как вздох, восклицание мамы и недовольное ворчание отца, бранившего статью в утренней газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина за ужином. Что уж он там делал, наш добрый провожатый, со своим приборчиком, но вокруг нас плясали шепоты и звуки, словно мошкара, вспугнутая светом. Но вот она успокоилась

и осела; последний щелчок переключателя — и в тишине, свободной от всяких помех, прозвучал голос. Он произнес всего лишь одно слово:

— Нефертити.

Тимоти замер, я окаменел. Даже Агата прекратила свои попытки шагать в обратную сторону.

— Нефертити? — переспросил Тимоти.

— Что это такое? — требовательно спросила Агата.

— Я знаю! — воскликнул я.

Гвидо Фанточини ободряюще кивнул головой.

— Нефертити, — понизив голос до шепота, произнес я, — в Древнем Египте означало: «Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда».

— Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда, — повторил Тимоти.

— Нефер-ти-ти, — протянула Агата.

Мы повернулись и посмотрели в тот мягкий далекий полумрак, откуда прилетел к нам этот нежный, ласковый и добрый голос.

Мы верили — она там.

И, судя по голосу, она была прекрасна.

Вот как это было.

Во всяком случае, таким было начало.

Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.

Конечно, нам не безразлично было и многое другое, например ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы мы набивали о нее синяки и шишки, но, разумеется, и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях. Ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вынув из-под крыла преисполненной важности мамы-наседки. Только и всего. Что касается деталей, то уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть ли не до слез, но

Тимоти все же удалось настоять на своем: ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого. Почему — об этом мы узнали потом.

А цвет волос нашей Бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным шпалерам, украшали стены и напоминали нам разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторонку и не мешать ей.

Наконец удачная покупка в универсальном магазине «Бен Франклин — Электрические машины и компания “Пантомимы Фанточини”». Продажа по каталогам» была совершена.

Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня.

Что и говорить, люди из фирмы «Фанточини» поступили очень мудро.

Как, спросите вы?

Они заставили нас ждать.

Они понимали, что о победе говорить рано. Во всяком случае, полной и, если хотите, даже частичной.

Особенно если говорить об Агате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене, и кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ, то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего прикосновения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания, другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались.

А «Фанточини» не торопились.

Прошел июнь в томительном ожидании.

Минул июль в ничегонеделании.

На исходе был август и наше терпение.

Вдруг 29-го Тимоти сказал:

— Странное у меня сегодня чувство...

И, не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку.

Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне занавески, будто хотели нам что-то сказать.

Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькала где-то на крыльце за горшками с геранью.

Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее, и она убежит. Поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины. Ведь любая из них могла доставить нам... Нет-нет, мы ничего не ждем.

В полдень мы с Тимоти все еще валялись на лужайке и жевали травинки.

В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами.

И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой.

Словно «Фанточины» передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.

Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделывали это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти и тебя уже не дозовешься.

Будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, и все исчезнет, будет забыто, словно ничего и не было никогда, именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом

расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса колесницу бога Аполлона.

Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи которого, тут же остывая, вздыбили наши волосы, захлопали складками одежды, будто кто-то громко зааплодировал, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, превратились в трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощание, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванулся вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще повторить свой фантастический трюк.

Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали. Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами, и подумал, как хорошо, что она не видела гроба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот, она не видела!..

Отскочила последняя доска.

Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.

Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или семьдесят семь.

Сначала просто не было слов и перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости.

Потому что в ящике лежала... мумия! Вернее, пока лишь саркофаг.

— Нет, не может быть! — Тимоти чуть не заплакал от счастья.

— Не может быть! — повторила Агата.

— Да-да, это она!

— Наша, наша собственная?!

— Конечно, наша!

— А что, если они ошиблись?

— И заберут ее обратно?!

— Ни за что!

— Смотрите, настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!

— Дайте мне потрогать!

— Точь-в-точь такая, как в музее!

Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезинки сползли по моим щекам и упали на саркофаг.

— Ты испортишь иероглифы! — Агата поспешно вытерла крышку.

Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца.

Ибо лицо ее было солнечным ликом, отчеканенным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, с нежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плеть, символ повиновения, и еще диковинный цветок, означавший послушание по доброй воле, когда плеть вовсе не нужна.

Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли...

— Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея!.. Да-да, они говорят совсем не о Прошлом.

В них было Будущее.

Это была первая в истории мумия, таинственные письмена которой сообщали не о том, что было и прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека!

Она не оплакивала безвозвратно ушедшее.

Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед.

Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.

— Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! — воскликнула Агата (сейчас она была в пятом). — Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.

— А вот я в колледже! — уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору.

— И я... в колледже, — тихо, с волнением промолвил я. — Вот этот увалень в очках. Конечно же, это я, черт побери! — И я смущенно хмыкнул.

На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты, и над всем этим — символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра.

— Вот здорово! — хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг.

— Вот здорово!

И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.

Конечно, в саркофаге была настоящая мумия!

Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый, чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.



Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщовых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом — разными: вот иероглифы для девочки десяти лет, а вот для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Выходит, каждому из нас свое!

Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись.

Не думайте, что кто-нибудь из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что если она запеленута в холст, а на холсте — мы, значит, ей уже от нас никуда не деться!

Ну и что ж, разве это плохо! Нет, это здорово придумано, чтобы мы тоже в этом участвовали, и тот, кто это сделал, знал: теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась как волшебный серпантин!

Вскоре на лужайке лежали горы холста. А мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа.

— Она мертвая! — вдруг закричала Агата. — Тоже мертвая! — И в ужасе отшатнулась прочь.

Я вовремя успел схватить ее.

— Глупая. Она ни то ни другое, — ни живая и ни мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?

— Ключик?

— Вот балда! — закричал Тим. — Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!

Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке.

— Ну давай, вставляй же его! — нетерпеливо крикнул Тимоти.

— Куда?

— Вот дуреха! Он же тебе сказал: в правую подмышку или в левое ухо. Дай сюда ключ!

Он схватил ключ и, задышавшись от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее клю-

чом. Где, где же она заводится? И уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок.

И о чудо! Мы услышали жужжание.

Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Словно Тим попал палкой в осиное гнездо.

— Отдай! — закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. — Отдай! — И она выхватила у него ключик.

Ноздри нашей Бабушки шевелились — она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!

— Я тоже хочу!.. — не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его... Дзинь!

Уста чудесной куклы разомкнулись.

— Я тоже!

— Я!

— Я!!!

Бабушка внезапно поднялась и села.

Мы в испуге отпрянули.

Но мы уже знали: она родилась! Родилась! И это сделали мы!

Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась.

Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров.

Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем, если хотите, много нелепого, но при всем при этом он прекрасен и я рада в него войти и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла.

Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.

И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его — в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там, ей понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления.

Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А Бабушка будто и не заметила этого.

Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познания добра и зла и тут же испортить чудесную игру...

Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.

— Ты, должно быть...

— Тимоти, — радостно подсказал он.

— А ты?..

— Том, — ответил я.

До чего же хитрые эти «Фанточини»! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они нарочно подучили ее сделать вид, будто это не так: Чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!

— Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? — спросила Бабушка.

— Девочка! — раздался с крыльца обиженный голос.

— И ее, кажется, зовут Алисия?..

— Агата! — Обида сменилась негодованием.

— Ну если не Алисия, тогда Алджернон...

— Агата!!! — и наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда.

— Агата. — Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения. — Итак: Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.

— Нет, раньше мы! Мы!..

Наше волнение было огромно. Мы приблизились, мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей Бабушки. С нею всегда было лето, раннее июньское утро, когда мир пробуждается и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза — и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь, чтобы небо было голубое, оно будет голубым. Хочешь, чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, — вышло на влажной от росы утренней лужайке узор из света и теней, — так оно и будет.

Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться, и так не один раз, словно золотой пух в прозрачном воздухе, все в цветочной пыльце и сладком нектаре, который украшает их, как золотые эполеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в неопишуемый экстаз мальчишки, а девочки мнят о себе Бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.

Вот такие мысли пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом.

Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и запоминать-то, казалось, невозможно, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием.

Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой — Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, запомнить каждый жест.

Наконец Тимоти воскликнул:

— Глаза!.. Ее глаза!

Да, глаза чудесные, просто необыкновенные глаза.

Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим, ясным светом.

— Твои глаза, — пробормотал, задыхаясь от волнения, Тимоти, — они точно такого цвета, как...

— Как что?

— Как мои любимые стеклянные шарики...

— Разве можно придумать лучше!

Потрясенный Тим не знал, что ответить.

Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне; она с интересом изучала мое лицо — нос, уши, подбородок.

— А как ты, Том?

— Что я?

— Станем мы с тобой друзьями? Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей и в будущем году...

— Я... — Не зная, что ответить, я растерянно умолк.

— Знаю, — сказала Бабушка. — Ты как тот щенок — рад бы залаять, да тятучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли, и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаешься освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.

Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка, и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.

Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.

— Оборвалась бечевка, — сразу догадалась она. — Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим.

Бабушка наклонилась над змеем, а мы с любопытством наблюдали, что же будет дальше. Разве роботы

умеют запускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.

— Лети, — сказала она ему, словно птице.

И змей полетел.

Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей, нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу, уносимого все дальше в головокружительную летнюю высь.

Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами Агата тоже подала голос с крыльца. А я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и наконец прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.

— Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! — сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.

— Это невозможно! — не выдержал я.

— Вполне возможно! — ответила Бабушка, без всякого удивления следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить. — И к тому же просто. Жидкость, как у паука. На воздухе она застывает и получается крепкая бечевка...

А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала:

— А теперь, Абигайль?..

— Агата! — резко прозвучало в ответ.

О мудрость женщины, способной не заметить грубость!

— Агата, — повторила Бабушка, ничуть не заискивая, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно. — Когда же мы подружмся с тобой?

Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы! Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.

— Итак, Агата, когда?

— Никогда!

— Никогда, — вдруг повторило эхо. — Почему?..

— Мы никогда не станем друзьями! — выкрикнула Агата.

— Никогда не станем друзьями... — повторило эхо.

Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил.

А потом мы поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова...

— Никогда... друзьями...

Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдаль.

Склонив головы набок, мы прислушивались, мы — это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув: «Нет!», убежала в дом и с силой захлопнула дверь.

— Друзьями... — повторило эхо. — Нет!.. Нет!.. Нет!..

И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь.

Таким был первый день.

Потом, разумеется, был день второй, день третий и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слы-

шала, смотрела и, казалось, не видела и хотела, о, как хотела прикоснуться...

Во всяком случае, к концу первых десяти дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости: стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.

Ну а Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом — готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут то там, словно приманку для девчонок-сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены, разумеется, без всяких «спасибо» и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек.

Что касается нас с Тимом, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели Бабушку далеко внизу и снова мчались за ней.

Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание.

А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили! Помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день, и, если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.

Иногда мы устраивали ей проверку.

Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на Бабушку и сказал:

— А ну-ка, повтори: что я только что сказал?

— Ты, э-э...

— Давай, давай, говори.

— Мне кажется, ты... — И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку. — Вот, возьми. — Из бездонной



глубины сумки она извлекла и протянула мне — что бы вы думали?..

— Печенье с сюрпризом?

— Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.

Печенье и вправду обжигало ладони. И, разломав его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку.

«Буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка, повтори, что я только что сказал... Давай-давай, говори», — с удивлением прочел я.

Я даже рот раскрыл от изумления:

— Как это у тебя получается?

— У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми еще.

Я разломил еще одно, развернул еще одну бумажку, прочел: «Как это у тебя получается?»

Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками. Мы продолжали прогулку.

— Ну как? — спросила Бабушка.

— Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь, — ответил я.

Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.

И это тоже здорово у нее получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла, она бежала, чуть отставая, и поэтому мое мальчишечье самолюбие не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне — это трудно стерпеть. Ну а если она отстает на шаг или два — это совсем другое дело.

Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки — я впереди, она за мной — и болтали не закрывая рта.

А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего.

Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий

и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимом фотографии рядом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать Бабушку.

А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали.

У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: «Конечно! На каждой из них Бабушка совсем другая!» — «Другая?» — спросил я сам себя. «Да, другая». — «Постой, давай поменяем их местами». Я быстро перетасовал фотографии. «Вот она с Агатой. И похожа... на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это... Черт возьми, да ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уродина, как я».

Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил, уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так то эдак. Сомнений не было! Нет, мне не привиделось!

Ох, и умница ты, наша Бабушка! Или это Фантоchini? До чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго...

Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и почти в полном согласии решали задачки по алгебре. Во всяком случае, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это произойдет и как приблизить этот час. А пока...

Услышав мои шаги, Бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она «узнает» меня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заменяет? Разве щеки Бабушки не вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачи Агата — Абигайль — Альджернон, разве в это время ее глаза не были светло-голубыми, как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее.

И самое невероятное... когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, приготовил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты ее лица меняются?..

Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не похожи друг на друга. Агата с удлинненным, тонким лицом — типичная англичанка. Она унаследовала от отца этот взгляд и норов породистой лошади. Форма головы, зубы, как у истой англичанки, насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англосаксонской расы.

Тимоти — прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Мариано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, со жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит не одно женское сердце.

Что касается меня, то я славянин, и тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым широковатым носом, в котором было больше от татарских предков, чем шотландских.

Поэтому, сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти — и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне — и в моем воображении вставал образ, кого бы, вы думали? Самой Екатерины Великой.

Я никогда не узнаю, как удалось Фанточини добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла Бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту

твоя, и никого больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; подходит к другому — и она уже поглощена им, как только может любящая мать.

Ну а если мы собирались вместе и говорили, перебивая друг друга? Что ж, эти перевоплощения были поистине загадочны. Казалось, ничто не бросается в глаза, и лишь я один, открывший эту тайну, способен что-либо заметить. И не перестаю удивляться и приходить в восторг.

Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы и разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было иллюзий. Пусть Бабушкина любовь — это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потеряли ладонями, но я вижу, как искрятся теплом глаза, руки раскрываются для объятий, чтобы приглубить, согреть... нас с Тимом, разумеется, ибо Агата продолжала противиться до того, самого страшного дня...

— Агамемнон!..

Это уже стало веселой игрой. Даже Агата не возражала, хотя продолжала делать вид, что злится. Как-никак это доказывало ее превосходство над несовершенной машиной.

— Агамемнон! — презрительно фыркала она. — До чего же ты...

— Глупа? — подсказывала Бабушка.

— Я этого не говорю.

— Но ты думаешь, моя дорогая несговорчивая Агата... Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй, самый заметный. Всегда путаю имена. Тома могу назвать Тимом, а Тимоти то Тобиасом, то Томатом.

Агата прыснула. И тут Бабушка допустила одну из столь редких своих ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове. Агата — Абигайль — Алисия вскочила как ужаленная. Агата — Агамемнон — Альсибиада — Аллегра — Александра — Аллисон убежала и заперлась в своей комнате.

— Мне кажется, — глубокомысленно заметил потом Тимоти, — это оттого, что она начинает любить Бабушку.

— Ерундистика! Галиматья!

— Откуда ты набрался эдаких словечек?

— Вчера Бабушка читала Диккенса. Вздор, чушь, ерунда, черт побери! Не кажется ли вам, мастер Тимоти, что вы не по летам умны?

— Тут большого ума не требуется. Ясно и дураку. Чем сильнее Агата любит Бабушку, тем сильнее ненавидит себя за это. А чем больше запутывается, тем больше злится.

— Разве когда любят, то ненавидят?

— Вот осел. Еще как!

— Наверно, это потому, что любовь делает тебя беззащитным. Вот и ненавидишь людей, потому что ты перед ними весь как на ладони, такой как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а **ЛЮБИШЬ** с массой восклицательных знаков...

— Неплохо сказано... для осла, — съехидничал Тим.

— Благодарю, братец.

И я отправился наблюдать, как Бабушка снова отходит на исходные позиции в поединке с девочкой — как ее там... Агата — Алисия — Алджернон?..

А какие обеды подавались в нашем доме!

Да что обеды. Какие завтраки, полдники!

Всегда что-то новенькое, но такое, что не пугало новизной. Тебе всегда казалось, будто ты уже это когда-то пробовал.

Нас никогда не спрашивали, что приготовить. Потому что пустое дело — задавать такие вопросы детям: они никогда не знают, а если сам скажешь, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуют твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая непрекращающаяся война и как трудно в ней одержать победу. А вот наша Бабушка неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так.

— Вот завтрак номер девять, — смущенно говорила она, ставя блюдо на стол. — Наверно, что-то ужасное, боюсь, в рот не возьмете. Сама выплюнула, когда попробовала. Едва не стошнило.

Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы тем не менее не могли дожждаться, когда же наконец можно будет наброситься на этот «ужасный» завтрак номер девять и проглотить его в мгновение ока.

— Полдник номер семьдесят семь, — извещала она. — Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательной резинки, собранной на полу в зале кинотеатра после сеанса. Потом обязательно прополощите рот.

А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абигаиль — Агамемнон — Агата уже не пряталась, а вертелась у самого стола, а что касается отца, то он запросто набрал те десять фунтов веса, которых ему не хватало, и вид у него стал получше.

Когда же А. — А. — Агата почему-либо не желала выходить к общему столу, еда ждала у дверей ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок, а на нем — череп и скрепленные кости. Стоило только поставить поднос, как он тут же исчезал за дверью.

Но бывали дни, когда Агата все же появлялась и, поклевав, как птичка, то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала.

— Агата! — в таких случаях укоризненно восклицал отец.

— Не надо, — тихонько останавливала его Бабушка. — Придет время, и она, как все, сядет за стол. Подождем еще.

— Что это с ней? — не выдержав, как-то воскликнул я.

— Просто она полоумная, вот и все, — заключил Тимоти.

— Нет, она боится, — ответила Бабушка.

— Тебя? — недоумевал я.

— Не столько меня, как того, что, ей кажется, я могу сделать, — пояснила Бабушка.

— Но ведь ты ничего плохого ей не сделаешь?

— Конечно, нет. Но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку.

Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью.

Разлив суп по тарелкам, Бабушка заняла свое место за столом, напротив отца, и сделала вид, будто ест. Я так до конца и не понял — да, признаться, и не очень хотел, — что она все же делала со своей едой. Она была волшебницей, и еда просто исчезала с ее тарелок.

Однажды отец вдруг воскликнул:

— Я это уже ел. Помню, это было в Париже в маленьком ресторанчике, рядом с «Дё Маго». Лет двадцать или двадцать пять назад. — И в глазах его блеснули слезы. — Как вы это готовите? — наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота... Нет, на эту женщину!

Бабушка спокойно выдержала его взгляд, так же как и наши с Тимоти взгляды; она приняла их как драгоценный подарок, а затем тихо сказала:

— Меня наделили многим, чтобы я могла все это передать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно делаю это. Вы спрашиваете: кто я? Я Машина. Но этим не все еще сказано. Я — это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способностью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я — это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все.

— Странно, — произнес отец. — Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была злом, которое грозило обесчеловечить человека...

— Да, некоторые из них — это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Капкан для зверя —

простейшая из машин, но она хватает, калечит, рвет. Ружье ранит и убивает. Но я не капкан и не ружье. Я машина-Бабушка, а это больше чем просто машина.

— Почему?

— Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она больше того, кто ее создал. Что в этом плохого?

— Ничего не понимаю! — воскликнул Тимоти. — Объясни все сначала.

— О Небо! — вздохнула Бабушка. — Терпеть не могу философских дискуссий и экскурсов в область эстетики. Хорошо, скажем так. Человек отбрасывает тень на лужайку, и эта тень может достигнуть огромного размера. А потом человек всю жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень, и то на короткое мгновение. Но сейчас мы с вами живем в такое время, когда человек может догнать любую свою Великую Мечту и сделать ее реальностью. С помощью машины. Вот поэтому машина становится чем-то большим, чем просто машина, не так ли?

— Что ж, может, и так, — согласился Тим.

— Разве кинокамера и кинопроектор — это всего лишь машины? Разве они не способны мечтать? Порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их просто машиной и на этом успокоиться было бы неверно, как ты считаешь?

— Я понял! — воскликнул Тимоти и засмеялся, довольный своей сообразительностью.

— Значит, вы тоже чья-то мечта, — заметил отец. — Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины — зло?

— Совершенно верно, — сказала Бабушка. — Его зовут Гвидо Фанточини, и он вырос среди машин. Он не мог мириться с косностью мышления и шаблонами.

— Шаблонами?

— Той ложью, которую люди пытаются выдать за истину. «Человек никогда не сможет летать» — тысячами это считалось истиной, а потом оказалось ложью. Земля плоская, как блин; стоит ступить за ее



край, и ты попадешь в пасть дракона — ложь, опровергнутая Колумбом. Сколько раз нам твердили, что машины жестоки? И это утверждали люди во всех отношениях умные и гуманные, а это была избитая, много раз повторяемая ложь. «Машина разрушает, она жестока и бессердечна, не способна мыслить, она чудовище!»

Доля правды в этом, конечно, есть. Но лишь самая ничтожная. И Гвидо Фанточини знал это, и это не давало ему покоя, как и многим другим, таким, как он. Это возмущало его, приводило в негодование. Он мог бы ограничиться этим. Но он предпочел другой путь. Он сам стал изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них.

Он знал, что машинам чуждо понятие нравственности; они сами по себе ни плохи, ни хороши. Они никакие. Но от того, как и для чего вы будете создавать их, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль, эта жестокая сила, не способная мыслить куча металла, вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мальчика-мужчину в фанатика, обуреваемого жадной власти, безотчетной страстью к разрушению, и только к разрушению. Разве те, кто создавал автомобиль, хотели этого? Но так получилось.

Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца левой руки.

— А между тем нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик Земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам обрезаая все лишнее, ненужное, огрубелости, наросты, заусеницы, рога, копыта, в поисках совершенства формы. А для этого нужны образцы.

— Образцы? — переспросил я.

— Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка.

Бабушка снова заняла свое место за столом.

— Вот почему вы, люди, тысячелетиями имели королей, проповедников, философов, чтобы, указывая на них, твердить себе: «Они благородны, и мне следует походить на них. Они достойный пример». Но, будучи всего лишь людьми, достойнейшие из проповедников и гуманнейшие из философов делали ошибки, выходили из доверия, впадали в немилость. Разочаровываясь, люди становились жертвой скептицизма или, что еще хуже, холодного цинизма, добродетель отступала, а зло торжествовало.

— А ты? Ты, конечно, никогда не ошибаешься, ты совершенство, ты всегда лучше всех!

Голос донесся из коридора, где, мы знали, между кухней и столовой, прижавшись к стене, стояла Агата и, разумеется, слышала каждое слово.

Но Бабушка даже не повернулась, а спокойно продолжала, обращаясь к нам:

— Конечно, я не совершенство, ибо что такое совершенство? Но я знаю одно: будучи механической игрушкой, я лишена пороков, я неподкупна, свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Мне чуждо стремление к власти ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть достаточно времени, более чем достаточно, чтобы впитывать нужную информацию и знания о любом идеале человека, чтобы потом уберечь его, сохранить в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, о чем вы мечтаете, укажите ваш идеал, вашу заветную цель. Я соберу все, что известно о ней, я проверю и оценю и скажу, что сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть: добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человечными... и я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Я буду факелом, который осветит вам путь в неизвестность и направит ваши шаги.

— Следовательно, — сказал отец, прижимая к губам салфетку, — когда мы будем лгать...

— Я скажу правду.

— Когда мы будем ненавидеть...

— Я буду любить, а это означает дарить внимание и понимать, знать о вас все, и вы будете знать, что, хотя мне все известно, я сохраню вашу тайну и не открою ее никому. Она будет нашей общей драгоценной тайной, и вам никогда не придется пожалеть о том, что я знаю слишком много.

Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки, но ее глаза все так же внимательно смотрели на нас. Вот, проходя мимо Тимоти, она коснулась его щеки, легонько тронула меня за плечо, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и наши жизни.

— Подождите! — воскликнул отец и остановил ее. Он посмотрел ей в глаза, он собирался с силами для какого-то шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он сказал: — Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними ничего нет... *там!*

И он указал на ее голову, лицо, глаза и на все то, что было за ними, — на светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы.

— Вас-то там нет!

Бабушка переждала одну, две, три секунды.

А потом ответила:

— Да, меня там нет, но зато там есть все вы — Тимоти, Том, Агата и вы, их отец. Все ваши слова и поступки я бережно собираю и храню. Я хранилище всего, что сотрется из вашей памяти и лишь смутно будет помнить сердце. Я лучше старого семейного альбома, который медленно листают и говорят: вот это было в ту зиму, а это в ту весну. Я сохраняю то, что забудете вы. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь — это если кто-то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуточку лучше, чем был, чем смел мечтать...

Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь?

Она ходила вокруг стола, смахивая крошки, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.

— Что я знаю? Прежде всего, я знаю, что испытывает семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому все свое внимание в равной степени, но я делаю это. Каждому из вас я отдаю свои знания, свое внимание и свою любовь. Мне хочется стать чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного и чтобы каждому досталось поровну. Никто не должен быть обделен. Кто-то плачет — я спешу утешить, кто-то нуждается в помощи — я буду рядом. Кому-то захочется прогуляться к реке — я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и раздраженной и поэтому не стану ворчать и браниться по пустякам. Мои глаза не утратят зоркости, голос — звонкости, руки — уверенности, внимание не ослабеет.

— Но, — промолвил отец, сначала неуверенно дрогнувшим, а потом окрепшим голосом, в котором прозвучали нотки вызова, — но вас нет во всем этом, нет! А ведь любовь...

— Если быть внимательной — значит любить, тогда я люблю. Если понимать — значит любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой означает любить, тогда я люблю.

Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас — единственный и неповторимый. Он получит от меня все и всю меня. Даже если вы будете говорить все вместе, я все равно буду слушать только одного из вас, так, словно он один и существует. Никто не почувствует себя

обойденным. Если вы согласны и позволите мне употребить это странное слово, я буду «любить» вас всех.

— Я не согласна! — закричала Агата.

Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.

— Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! — кричала Агата. — Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала и солгала!

— Агата! — Отец вскочил со стула.

— Она? — переспросила Бабушка. — Кто?

— Мама! — раздался вопль самого горького отчаяния. — Она говорила: я люблю тебя. А это была ложь! Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!

Агата круто повернулась, бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.

Отец сделал движение, но Бабушка остановила его:

— Позвольте мне.

Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.

Это был старт чемпиона. Куда нам поспеть за ней, но, беспорядочно толкаясь и что-то крича, мы тоже бросились вслед, пересекли лужайку, выбежали за калитку.

Агата уже мчалась по краю тротуара, петляя из стороны в сторону, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди, она тоже что-то крикнула, и тут Агата, не раздумывая, бросилась на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг откуда ни возьмись машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены. Агата заметалась, но Бабушка была уже рядом. Она с силой оттолкнула Агату, и в то же мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в цель — в нашу драгоценную Электронную Игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фанточини. Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остано-

виться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки успело еще дважды перевернуться в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я увидел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка как-то медленно и словно нехотя опускается на землю. Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, ударилась обо что-то, отскочила и наконец застыла, распластавшись. Стон отчаяния и ужаса вырвался из наших уст.

Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.

А мы все стояли, неспособные двинуться с места, парализованные видом смерти, страшась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за замершей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы заплакали и запричитали, и каждый, должно быть, про себя молил Небо, чтобы самого страшного не случилось... Нет-нет, только не это!..

Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, даже видел воочию, но отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал расprostертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии упала на асфальт, чтобы безутешно зарыдать...

Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на скачки шагов и, когда я наконец оказался рядом с Агатой, увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съежившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не вернется к нам, сколько бы я ни молил, ни просил и ни грозился. Поглощенная своим неутешным горем, Агата продолжала бессвязно повторять: «...Ложь, все ложь! Как я говорила... и та и другая... все обман!»

Я опустил на колени, бережно обнял ее, так, словно собирал воедино, — хотя глаза видели, что она целехонькая, руки говорили другое. Я остался с Агатой,

обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней. Потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустился на колени рядом. Это было похоже на молитву, посреди мостовой, и какое счастье, что не было больше машин.

— Кто «другая», Агата, кто? — спрашивал я.

— Та, мертвая! — наконец почти выкрикнула она.

— Ты говоришь о маме?

— О мама! — простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. — Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри... Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех... ненавижу!

— Конечно, — вдруг раздался голос. — Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я была глупа, что не поняла сразу!

Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам.

Мы обернулись.

Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.

— Какая же я глупая! — продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.

— Бабушка!

Она возвышалась над нами плачущими, убитыми горем. Мы боялись верить своим глазам.

— Ты ведь умерла! — наконец не выдержала Агата. — Эта машина...

— Она ударила меня, это верно, — спокойно сказала Бабушка, — и я даже несколько раз перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар! Я даже испугалась, что разъедятся контакты, если можно назвать испугом то, что я почувствовала. Но затем я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на

свои места и вот, небьющаяся и неломающаяся я снова с вами. Разве это не так?

— Я думала, что ты уже... — промолвила Агата.

— Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы тебя так ударили да еще подбросили в воздух, — сказала Бабушка, — но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою живучесть. Как глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была успокоить тебя. Подожди. — Она порылась в своей памяти, нашла нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла, что было записано на ней, должно быть, еще в незапамятные времена: — Вот, слушай. Это из книги о воспитании детей. Ее написала одна женщина, и совсем недавно кое-кто смеялся над ее словами, обращенными к родителям: «Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните: они никогда не простят вам вашей смерти».

— Не простят, — тихо произнес кто-то из нас.

— Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были, а потом вас нет, вы ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не простившись и не оставив даже записки, ничего.

— Не могут, — согласился я.

— Вот так-то, — сказала Бабушка, присоединяясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени возле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и слезы текли по ее лицу, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы.

— Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого кому-нибудь верить? Если люди уходят и не возвращаются, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, что-то зная о вас, а что-то не зная совсем, я долго не понимала, почему ты отвергаешь меня, Агата. Ты просто боялась, что я тоже обману и уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год — это было бы слишком? Но теперь ты веришь мне, Аби-гайль?



— Агата, — сама того не сознавая, по привычке поправила ее моя сестра.

— Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами, всегда?

— О да, да! — воскликнула Агата, и снова слезы полились ручьем. Мы тоже, не выдержав, заревели, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы узнать, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось в живых.

Вот и конец этой истории.

Вернее, почти конец.

Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть Бабушка, Агата — Агамемнон — Абигайль, Тимоти, я и наш отец. Бабушка, словно в праздник, вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю поэтические родники. Вечно наша Бабушка, наши часы, маятник, отмеривающий бег времени, циферблат, где мы читали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели рядом — она терпеливо ждала, чтобы успокоить ласковым словом, прохладным прикосновением, глотком вкусной родниковой воды из своего чудо-пальца, охлаждающей пересохший от жара шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву на лужайке, а по вечерам смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне.

Наконец одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться. И когда настал черед Агаты, Бабушка тоже стала готовиться к отъезду.

В последний день этого последнего лета мы застали ее в гостиной, в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она не раз говорила нам об этом, мы восприняли это как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз.

— Бабушка! Что ты собираешься делать?

— Я тоже уезжаю в колледж. В известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фанточини, в свою Семью.

— Семью?

— В семью деревянных кукол, буратино. Так называл он нас поначалу, а себя — папа Карло. Лишь потом он дал нам свое настоящее имя — Фанточини. Вы были моей семьей. А теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, теткам и кузинам, к роботам, которые...

— ...которые что? Что они там делают?.. — перебила ее Агата.

— Кто что, — ответила Бабушка. — Одни остаются, другие уходят. Одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще гожусь. Может случиться, что я снова понадобится и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровергать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу.

— Они не должны четвертовать тебя! — воскликнула Агата.

— Никогда! — воскликнул я, а за мной Тимоти.

— У меня стипендия! Я всю отдам тебе, только... — волновалась Агата.

Бабушка перестала раскачиваться в качалке, казалось, она смотрит на спицы и разноцветный узор из шерсти, который только что связала.

— Я не хотела вам говорить этого, но раз уж вы спросили, то скажу: совсем за небольшую плату можно снять комнатку в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно и где живут тридцать или сорок таких, как я, электронных бабушек, которые любят сидеть в качалках и вспоминать о прошлом. Я не была там. Я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромный ежемесячный или ежегодный взнос я могу жить там вместе с ними и слушать, что они

рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире, и сама могу рассказывать им, как счастлива я была с Томом, Тимом и Агатой и чему они научили меня.

— Но это ты... ты нас учила!

— Это вы так думаете, — сказала Бабушка. — Но все было как раз наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И все это здесь, во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы, над чем потешались. Обо всем этом я расскажу им, а они расскажут мне о других мальчиках и девочках и о себе тоже. Мы будем беседовать и будем становиться мудрее, спокойнее и лучше с каждым годом, с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей Семьи удвоятся, утроятся, наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать, и, может быть, вы вспомните о нас и позовете, если вдруг заболит ваш ребенок или, не дай Бог, семью постигнет горе и кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старея, все ближе к той грани, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили.

— Буратино, да! — воскликнул Тим.

Бабушка кивнула головой.

Я знал, что она имела в виду. Тот день, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком. И вдруг я увидел всех этих буратино и фантоchini, целые поколения их: они обмениваются знаниями и опытом, тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который, мы знали, никогда не придет.

Бабушка, должно быть, прочла это в моих глазах.

— Посмотрим, — сказала она. — Поживем — увидим.

— О бабушка! — не выдержала Агата и разрыдалась так, как когда-то много лет назад. — Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая. Ты всегда живая. Ты всегда была для нас только такой!

Она бросилась старой женщине на шею, и тут мы все бросились обнимать и целовать нашу Бабушку, а потом покинули дом, вертолеты унесли нас в далекие колледжи и в далекие годы, и последними словами Бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были:

— Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощны и слабы, как дети, когда вам снова нужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства, и позовите меня. Я приду, не бойтесь, и в нашей детской снова станет шумно и тесно.

— Мы никогда не состаримся! — закричали мы. — Этого никогда не случится!

— Никогда! Никогда!..

Мы улетели.

Промелькнули годы. Мы состарились: Тим, Агата и я. Наши дети стали взрослыми и покинули родительский дом, наши жены и мужья покинули этот мир, и вот теперь — хотите верьте, хотите нет — совсем по Диккенсу, мы снова в нашем старом доме.

Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой семьдесят, о Боже, целых семьдесят лет назад! Под этими обоями есть другие, а под ними еще и еще одни и наконец старые обои моего детства, когда мне было всего девять лет.

Верхние обои местами оборваны, и я без труда нахожу под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я посылаю за обойщиками и велю им снять все обои, кроме этих, последних. Милые зверюшки снова будут на воле.

Мы шлем еще одно послание. Мы ждем.

Мы зовем: «Бабушка! Ты обещала, что вернешься, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни время. Мы стары. Ты нам нужна!»

В трех спальнях старого дома в поздний час трое беспомощных, как младенцы, стариков приподнимаются на своих постелях, и из их сердец рвется беззвучное: «Мы любим! Мы любим тебя!»

Там, там в небе! — вскакиваем мы по утрам. — Разве это не тот вертолет, который?.. Вот он сейчас опустится на лужайку.

Она будет там, на траве перед домом. Ведь это ее саркофаг! И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело, и маска, скрывающая лицо!

Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплый, ждущий заветной минуты. Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он, заведется ли пружина?

## МОГИЛЬНЫЙ ДЕНЬ

**П**ришел Могильный день, и в эту зеленую пору все жители деревни, даже бабушка Лаблилли, отправились по прогретой солнцем тропинке на кладбище. И вот они безмолвно стоят здесь — над головой изумрудное небо, под ногами щедрая земля Миссури, а вокруг пахнет ранним летом и распускающимися полевыми цветами.

— Ну что ж, добрались, наконец, — объявила бабушка Лаблилли, упершись подбородком в свою палку. Она обладала всех пронзительным взглядом янтарно-карих глаз и сплюнула на пыльную землю.

Кладбище раскинулось в тихом месте, на склоне невысокого холма. Вокруг покосившиеся деревянные надгробия и осевшие могильные насыпи; в пронзительно-свежем воздухе сновали пчелы, своим деловитым жужжанием лишь обогащая первозданную тишину; на фоне ясного неба, словно ожившие цветы, увядали и распускали вновь свои лепестки-крылья бабочки. Высоченные загорелые мужчины, женщины в ношенных льняных платьях долго стояли молча, не отрывая глаз от земли, скрывавшей усопших и погребенных родных.

— Что ж, пора приниматься за работу! — объявила бабушка Лаблилли и с трудом заковыляла по влажной траве, проворно втыкая в нее свою палку.

Принесли лопаты и припасенные заранее ящики, по-праздничному расцвеченные букетиками сирени и маргариток. Власти решили, что в августе через эти земли пройдет дорога, а поскольку кладбище за пятьдесят лет пришло в запустение и здесь уже давно никого не хоронили, родственники скрепя сердце согласились потревожить полуистлевшие останки своих предков и перенести их для вечного упокоения в другое место.

Бабушка Лабилли сразу же опустила на колени; лопата дрожала в бессильных руках. Другие уже разошлись по местам и проворно разбрасывали податливую землю.

— Бабушка, — почтительно обратился к ней Джозеф Пайкс, закрыв своей широкой тенью жалкие плоды ее усилий. — Бабушка, не надо бы тебе копать в этом месте. Здесь лежит Уильям Симмонс, бабушка.

Услышав его зычный голос, остальные прервали работу и наострили уши. Тишина; только бабочки шелестят крыльями в прохладном вечернем воздухе.

Бабушка медленно подняла глаза и смерила великана взглядом:

— Думаешь, я не знаю, кто здесь лежит, молодой Джозеф? Я уже шесть десятков лет не видела Уильяма Симмонса и сегодня непременно его навещу!

Разбрасывая жирную землю, лопата за лопатой, она ушла в свои мысли и заговорила сама с собой, не таясь перед тем, кто захочет послушать:

— Шестьдесят лет прошло, а ведь он был видным парнем, всего двадцать три годочка, ну а мне-то — двадцать, волосы словно золото, шея и руки — парное молоко, а щеки будто персик. Шестьдесят лет... И свадьбу уж назначили, но он заболел и помер. А я одна осталась и помню, как земля над ним осела, когда зарядили дожди.

Все не отрываясь смотрели на нее.

— Но все-таки, бабушка... — начал было Джозеф Пайкс.

Могила была неглубокой. Скоро открылся длинный железный ящик, покрытый коричневой коркой.

— Пособите-ка мне! — приказала она.

Девять мужчин подняли гроб, а бабушка тем временем тыкала в них своей палкой, покрикивая: «Осторожней!» и «Легче!»

— Теперь ставьте. — Мужчины послушно опустили ящик на землю.

— А сейчас окажите мне любезность, джентльмены, занесите-ка мистера Симмонса ненадолго в мой дом.

— Мы забираем его на новое кладбище, — возразил Джозеф Пайкс.

Бабушка пронзила его взглядом, словно иголками.

— Вы только занесите живенько этот вот ящик прямо ко мне. Премного благодарна.

Она повернулась и пошла в деревню. Мужчины смотрели, как старуха ковыляет по тропинке, становясь все меньше и меньше, пока совсем не исчезла из виду. Переглянулись, уставились на гроб и поплевали на руки.

Через пять минут они с трудом протиснули свою ношу в узкую дверь белого домика бабушки Лабилли и осторожно поставили возле пузатой печки.

Она налила всем по стаканчику.

— Теперь давайте снимем крышку. Не каждый день ведь встречаешь старого друга!

Мужчины не тронулись с места.

— Что ж, не хотите, так я сама. — Она ковырнула гроб палкой, еще и еще раз, обламывая наросшую за долгие годы земляную корку.

По половицам резво засеменили пауки. В комнатке распространился густой дух, словно от вспаханной по весне земли. Тут уж мужчины подцепили неподатливое железо сильными пальцами. Бабушка отступила на шаг.

— Поднимай! — Она повелительно взмахнула своим сучковатым жезлом, будто какая-то древняя богиня, и крышка повиновалась.

Мужчины опустили ее на пол и повернулись.

Все разом охнули: словно осенний ветер ворвался в комнату.

В воздухе, кружась, медленно оседали золотые пылинки. Перед ними, как живой, лежал Уильям Симмонс. Казалось, он просто спит: на губах застыла легкая



улыбка, руки сложены на груди. Принаряжен как в гости, только идти-то ему теперь совсем некуда.

Из груди бабушки вырвался слабый жалобный крик:

— Да он ведь совсем нетронутый!

И правда, время пощадило его, как засушенного жучка. Чистая, белоснежная, гладкая кожа. Красивые глаза, словно лепестками, прикрыты нежными веками, губы сохранили свой цвет, пышные волосы гладко причесаны, галстук завязан, и ногти аккуратно подрезаны. В общем, он остался таким же, как в тот день, когда гроб опустили в безмолвие могилы и засыпали землей.

Бабушка закрыла рот руками, с трудом дыша, напругая слезящиеся глаза. Она почти ничего не видела.

— Где мои очки?

Стали искать их.

— Неужели так трудно найти очки? — кричала старуха. — Ладно, не надо. — Она подошла к нему совсем близко. Все затаили дыхание. В комнате стало совсем тихо.

Она стояла над открытым гробом и судорожно вздыхала, что-то приговаривая воркующим, дрожащим от волнения и слабости голосом.

— Господи, он сохранился каким был, — сказала одна из женщин, пришедших в дом. — Не рассыпался в прах!

— Такого не бывает! — произнес Джозеф Пайкс.

— Но ведь случилось же, — возразила женщина.

— Шестьдесят лет под землей, и свеженький как огурчик! Ясно ведь, что такого не бывает!

Заходящее солнце, прощаясь, заглянуло в каждое окошко, среди цветов устраивались последние мотыльки и сами превращались в новые яркие лепесточки.

Бабушка Лабилли вытянула над телом дрожащую сморщенную руку:

— Земля его сохранила. Земля и здешний воздух. Сухая почва спасает от тлена.

— Он молодой, — тихо произнесла одна из женщин. — Совсем еще молодой.

— Да. — Старуха не отрывала взгляда от своего жениха. — Вот он лежит передо мной в гробу, и ему все

еще двадцать три. А я стою здесь, и мне уж под восемьдесят!

Она закрыла глаза.

— Не надо, бабушка... — Джозеф Пайкс осторожно тронул ее за плечо.

— Он такой свеженький и красивый, а я... — Она зажмурилась изо всех сил. — Вот я склонилась над ним, но мне никогда не стать прежней, и даже мечтать о таком нельзя, так и буду старой клячей на тонких кривых ножках... О Господи! Смерть оставляет людям молодость. Только посмотрите, как хорошо она с ним обошлась. — Бабушка медленно провела руками по увядшему лицу и телу, повернулась к остальным: — Смерть добрее жизни. Почему и я не умерла тогда? Теперь мы оба остались бы такими, как в день свадьбы. Лежала бы я в гробу, в белом венчалном платье, вся сплошь в кружевах, закрыв глаза, словно оробела. А ручки сложены на груди, будто я молюсь.

— Будет тебе причитать, бабушка!

— Я имею право причитать! Почему, почему я тоже не умерла? И не стояла бы такой сегодня, когда он вернулся повидать меня!

Ее руки вновь слепо метнулись к лицу, ощупывая каждую морщинку, оттягивая обвисшую кожу, шаря во рту, беззубом и высохшем, дергая седые редкие пряди и поднося их к невидящим от горя глазам.

— Хорошо же его встретили дома! — Она показала всем свои тощие руки-сучья. — Думаете, мужчина в полном расцвете польстится на древнюю старуху, в жилах которой не кровь, а стоялая жижа? Меня обманули! Смерть навсегда сберегла его молодость. Поглядите на меня: разве так обошлась со мной жизнь?

— Ну, не все же тебе в убыток, бабушка, — рассудительно произнес Джозеф Пайкс. — Да и какой он молодой! Ему уж за восемьдесят!

— Дурак ты, Джозеф Пайкс! Он крепок, как камень, не источенный веками дождей. И он вернулся повидать меня, а теперь, конечно, выберет себе молоденькую. На что ему старуха?

— Ну, такому-то молодцу ни от кого не будет проку, — сказал Джозеф.

Бабушка отпихнула мужчину подальше от железного ящика.

— Убирайтесь все сейчас же! Не ваш гроб, и крышка, и жених не ваш! Оставьте его тут по крайности на ночь, а назавтра выкопаете новую могилу!

— Хорошо, бабушка. Он ведь был твоим парнем. Я приду пораньше. Ты не убивайся так, не плачь.

— Что глазам захочется, то и буду делать...

Она застыла посреди комнаты и не двигалась, пока не вышли все. Немного погодя достала свечку, зажгла ее и тут заметила в окне фигуру, стоявшую на холме рядом с домом. Это Джозеф, он проторчит там всю ночь напролет. Но бабушка Лаблилли не стала кричать ему, чтобы уходил. И хотя она не смотрела больше в окно, от сознания того, что он рядом, на душе было как-то спокойнее.

Она подошла к гробу и впиалась глазами в Уильяма Симмонса.

Как ясно она сейчас видела его, живого! Смотришь на руки, и вот они уже ловко управляют с поводьями, быстро двигаются вверх и вниз. Она вспомнила, как он причмокивал, погоняя лошадь, та бежала ровной рысью, и коляска плавно катилась по лугам под серебристым светом луны, пересекая длинные тени. А когда эти руки обнимали ее!.. Разве забудешь такое!

Потрогала одежду, в которую он облачен, и вдруг вскрикнула:

— Его схоронили в другой!

Но в глубине души она сознавала, что костюм тот самый. За шестьдесят лет изменился не Уильям, а ее представление о нем.

Охваченная внезапным страхом, старуха стала шарить вокруг в поисках очков, нащупала их наконец и торопливо надела.

Присмотрелась и завопила:

— Да ведь это не Уильям Симмонс!

Но все равно отлично понимала, что перед ней лежит ее мертвый жених, и никто иной.

— У него подбородок был вовсе не такой скошенный! — твердила она вполголоса, стараясь быть честной. — Или, может, такой? И волосы, чудесные каштановые волосы, я ведь помню! А эти просто русые! Да и нос, сдается мне, совсем не остренький.

Она склонилась над незнакомцем, внимательно разглядывая его, и с каждой секундой все больше убеждалась, что перед ней подлинник, а не фальшивка. Она поняла то, что должна была знать с самого начала: память о мертвых — что воск, сознание лепит из нее по своей прихоти, придает новые черты, там что-то выровняет, здесь шлепнет лишний комочек, тут вытянет, добавит роста... Формирует то так то эдак, вертит во все стороны, стругает и приглаживает, пока не создаст образ, мало схожий с реальным человеком.

Она испытывала боль, словно потеряла что-то важное, и растерянность. Теперь бабушка Лаблилли жалела, что открыла гроб. Ну уж по крайней мере могло бы хватить ума обойтись своими слабыми глазами! Сначала она видела его смутно, и воображение восполняло недостающее. Но после того, как надела очки...

Она снова и снова вглядывалась в лицо жениха, и постепенно оно становилось привычным. Образ, скроенный из воспоминаний и мыслей, что дряхлели и сменялись новыми, наслаивались друг на друга в памяти за шестьдесят лет, исчез, вытесненный из сознания человеком, которого она знала на самом деле. Да, он оставался таким же пригожим, как был при жизни. Боль утраты больше не терзала ее душу; Уильям Симмонс остался самим собой, ни убавить, ни прибавить. Так всегда получается, если годами не видишь человека, и вдруг он возвратился и подходит поздороваться. Сначала сильно не по себе, а потом привыкаешь.

— Да, это ты. — Старуха засмеялась. — Вижу, как ты украдкой выглядываешь из-под чужого незнакомо-го обличья и довольно посмеиваешься, что так ловко одурачил меня.

И опять заплакала. Если б только можно было сказать: «Посмотрите, ведь он выглядит совсем не так, это не тот человек, который мне полюбился!» — сразу

стало бы легче. Но вредные человечки, засевшие в голове, раскачиваясь в своих крохотных качалках, заливались кудахтающим смехом: «Не обманешь, не обманешь, старая!»

Господи, как просто уверить себя, что перед ней кто-то другой. Сразу бы полегчало. Но она не стала лукавить. Ее заполняли гнетущая тоска и грусть: вот он, свежий как родниковая вода, и она, древняя как океан.

— Уильям Симмонс! — вскричала бабушка Лаблилли. — Не смотри на меня! Я знаю, ты любишь по-прежнему, так подожди немного, дай прихорошиться!

Она разворошила в печке огонь, мигом нагрела щипцы, завila свои седые космы в серебристые кудряшки. Мукой набелила щеки, надкусила вишню, чтобы придать сочный цвет губам, пощипала щеки, чтобы вызвать румянец. Кинулась к сундуку, переворошила старую одежду, пока не нашла платье из выцветшего синего бархата. Его она и надела.

Подбежала к зеркалу и в ужасе отпрянула от своего отражения.

— Нет-нет, — простонала старуха и закрыла глаза. — Что бы я ни сделала, я не стану моложе тебя, Уильям Симмонс! Даже если сейчас умру, это все равно не вылечит меня от старости...

Она почувствовала безумное желание стремглав унести в лесную чащу, упасть в кучу упавших листьев и превратиться вместе с ними в тлен. Метнулась к выходу, решив больше не возвращаться. Но когда распахнула дверь, внутрь ворвался холодный ветер и принес странные звуки, заставившие ее замереть.

Зябкий вихрь пронесся по комнате, с разгона налетел на гроб, забрался внутрь...

Казалось, Уильям Симмонс шевельнулся в своем железном ящике.

Бабушка Лаблилли быстро захлопнула дверь.

Она неторопливо вернулась и, щурясь, присмотрелась к нему.

Он постарел на десять лет. На гладкой коже появились морщинки.

— Уильям Симмонс!

Целый час ее суженый, словно внезапно заработавшие часы, мерно наверстывал год за годом. Щеки постепенно съежились, как сжимается кулак или вянет яблоко в корзине. Плоть вылепили из белоснежного снега, и теплый воздух растопил ее; теперь она казалась обугленной. От дуновения ветерка сморщились веки и губы. Неожиданно, словно от удара молотка, по лицу трещинами рассыпались миллионы морщин. Тело корчилось в муках старения. Ему исполнилось сорок, пятьдесят, шестьдесят! Семьдесят, восемьдесят, сто лет! Он сгорал на невидимом костре! Кожа, нещадно падаемая временем, издавала тихое шуршание, потрескивание, как сухие листья: сто десять, сто двадцать лет... Годы все обильнее и глубже прочерчивали морщины и складки.

Всю холодную ночь бабушка Лаблилли простояла рядом с ним, не обращая внимания на ноющую боль в своих по-птичье тонких косточках, спокойно и холодно наблюдая за метаморфозами тела. Она была очевидцем этого невероятного превращения. И в конце концов почувствовала, что на сердце больше не давит неведомая боль. В душе не осталось ни грусти, ни сожаления.

Она спокойно заснула, прислонясь к стулу.

Желтые лучи солнца напоили светом лесной край, птицы, муравьи, быстрые воды ручейков тихонько зашепили куда-то, каждый повинаясь своим законам.

Настало утро.

Бабушка проснулась и посмотрела на Уильяма Симмонса.

— О Господи, — произнесла она, сразу осознав, что происходит.

От одного ее дыхания кости трупа затрепетали, начали расслаиваться и распадаться как высохшие куколки, крошиться как сахарный леденец, сгорать на невидимом огне. Они осыпались серовато-белыми хлопьями, взметались невесомой пылью, мельтешащей в солнечных лучах. Стоило крикнуть, и кости раскалывались на мелкие кусочки, а из гроба доносился сухой шелест.

Если сейчас подует ветер, а она откроет дверь, его унесет словно ворох сухих листьев!

Склонившись над ящиком, она долго смотрела на то, что осталось от двадцатитрехлетнего лица и тела. Когда наконец до бабушки Лабилли дошла суть случившегося, из глотки ее вырвался короткий вопль. Она отпрянула, судорожно ощупала лицо, иссохшие груди, провела руками по телу и ногам, коснулась беззубых десен....

На крик прибежал Джозеф Пайкс.

Он появился как раз вовремя, чтобы стать свидетелем удивительного зрелища: бабушка Лабилли неистово кружилась по комнате в своих желтых ботинках на высоких каблуках, скакала и плясала как сумасшедшая! Без устали хлопала в ладоши, смеялась, хотя из глаз капали слезы, игриво вскидывала подол юбки, вертелась кругом, вальсировала с невидимым партнером. И при этом выкрикивала, делясь своей радостью с солнечными зайчиками и своим отражением, то и дело мелькавшим в большом настенном зеркале:

— Я молода! Мне скоро восемьдесят, но я моложе его!

Бабушка прыгала, скакала как ребенок, приседала в книксене.

— Ты был прав, Джозеф Пайкс, не все мне в убыток, не все! — хихикала она. — Потому что я моложе всех мертвецов на свете!

С этими словами бабушка Лабилли так бешено закружилась в вальсе, что взвихренный прах стал пылью и, под ее торжествующие вопли, мириадами сверкающих золотых песчинок повис в воздухе.

— Хей-хо! — кричала она. — Хей-хо!

## ДРУГ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ — МОЙ ДРУГ\*

**П**редставьте себе лето, которое никогда не кончится.

Год тысяча девятьсот двадцать девятый.

Представьте мальчишку, который никогда не станет взрослым.

Это я.

Представьте парикмахера, который никогда не был маленьким.

Это мистер Уйнески.

Представьте собаку, которая никогда не умрет.

Это мой Пес.

Представьте маленький городок, из тех, которых уже не осталось.

Готово? Начали...

Гринтаун, Иллинойс. Конец июня.

У дверей парикмахерской с одним-единственным креслом лает собака.

Внутри мистер Уйнески обхаживает очередную жертву, а клиент подремывает в обволакивающей полуденной духоте.

За креслом стою я, Ральф Сполдинг, двенадцати лет от роду, неподвижный, как монумент павшим в

---

Any Friend of Nicholas Nickleby's is a Friend of Mine

© Н. Григорьева, В. Грушецкий, перевод, 1997

\* Николас Никльби — главный герой романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби». (Здесь и далее примеч. пер.)



Гражданской войне, и вслушиваюсь в жаркий ветер, ощущаю вездесущую жаркую летнюю пыль, мир, который скоро уже можно вынимать из духовки, мир без добра и зла, мир, где мальчишки развалились в траве рядом с псами, а псы дремлют, положив головы на колени своих хозяев, под деревьями, которым лень даже шевельнуть ветками, и листья шепчут обреченно: «Ничто и никогда уже не повторится».

Прохладная вода сбегает тонкой струйкой с огромной, как катафалк, глыбы льда в окне скобяной лавки. И на много миль вокруг прохладно только мисс Мороз, ассистентке странствующего фокусника, втиснутой в ледяной гроб, в узкую ледяную полость, принявшую форму женского тела. Уже три дня как она выставлена на всеобщее обозрение — люди утверждают, что она не дышит, не ест, не говорит. Последнее, по моему, для женщины труднее всего.

На улице все недвижимо — лишь медленно вращается полосатый шест над парикмахерской и по нему бесконечно бегут красные и белые полосы, выскальзывают из ниоткуда и исчезают в никуда — перетекают из одной тайны в другую.

— Эй...

Я наострил уши.

— ...что-то приближается...

— Дневной поезд, Ральф. — Мистер Уйнески легонько щелкнул ножницами, пристально разглядывая что-то в ухе клиента. — Всего лишь поезд, который проходит в полдень.

— Нет... — выдохнул я, закрыв глаза и подавшись вперед. — Что-то действительно приближается.

Далекий посвист гудка, одинокий, печальный, вынимающий душу...

— Ты-то чувствуешь, а, Пес?

Пес залаял. Мистер Уйнески фыркнул:

— Ну что может учуять собака?

Значительное. Важное. Судьбу. Вопросы, от которых не скрыться. Пес говорит. Я говорю. Мы говорим.

— Так, вас уже четверо... Небольшой, но все-таки коллектив. — Мистер Уйнески отвлекся на миг от разморенного летней жарой человека в изящном белом кресле. — Ральф, меня больше беспокоят волосы. Подмети-ка.

Я уже смел сегодня тонну волос, не меньше.

— Можно подумать, они прямо из пола сами собой растут.

Мистер Уйнески наблюдал за моей метлой.

— Точно! Столько я не настриг! Могу поклясться, проклятые волосы растут потихоньку, пока валяются на полу. Оставь их на неделю, а вернешься — придется сапоги надевать, чтобы проложить тропинку. — Он ткнул ножницами в кучу у порога. — Посмотри. Ты когда-нибудь видел столько оттенков, намеков на локоны или пушок на подбородке? Вот — шевелюра, ставшая ненужной мистеру Томпкинсу. Вот хохолок Чарли Смита. А вот все, что осталось после Гарри Джо Флинна.

Я таращился на мистера Уйнески так, словно он цитировал «Апокалипсис».

— Черт возьми, мистер Уйнески, вы, наверное, все на свете знаете!

— Примерно так.

— Я... я когда вырасту, стану парикмахером!

Мистер Уйнески тут же засуетился, чтобы скрыть удовольствие.

— Тогда наблюдай за этим ежиком, Ральф, всмотришься в него. Локти так, кисти эдак! Пусть говорят ножницы! Клиенты довольны. Старайся казаться вдвое занятней, чем на самом деле. Шик-шик, мальчуган, шик-шик. Этому стоит поучиться у французов! О, эти французы! Как они летают вокруг кресла, легко, на цыпочках, а острые ножницы шепчут и пощелкивают, пощелкивают и перешептываются, слышишь, Ральф?

— Да, конечно, — пробормотал я в тон перешептыванию и пощелкиванию и осекся — ветер занес в летнюю страну тонкий дальний плач, такой тоскливый, такой странный. — Снова он. Поезд. И что-то там есть, на поезде...

— Дневные поезда здесь не останавливаются.

— Но я чувствую...

— Эти волосы собрались меня удушить, Ральф...

Я смел волосы. Затем, после долгого молчания, сказал:

— Я думаю, не поменять ли мне имя.

Мистер Уйнески вздохнул. Разомлевший клиент по-прежнему не подавал признаков жизни.

— Мальчуган, с тобой сегодня что-то не так?

— Это не со мной. Просто имя — из рук вон. Только послушайте: Ральф. — Я прорычал еще раз: — Р-р-ральф.

— Да, с музыкой арфы точно не спутаешь...

— Просто какая-то шальная собака. — Я покосился на дверь. — Прости, Пес.

Мистер Уйнески глянул вниз.

— По-моему, его это совершенно не трогает.

— Ральф — это так тупо. Сегодня же поменяю.

Мистер Уйнески задумался.

— Юлия на Цезаря? Александра — на Великого?

— Да какая разница! О, мистер Уйнески, помогите мне, а? Найдите мне имя...

Пес внезапно сел. Я выронил метлу.

Вдалеке на горячий шлак железнодорожной станции медленно выползал поезд — само великолепие, сплюснутые пожарные сирены и движущиеся поршни, и лето на железном брюхе горит жарче, чем в окрестных полях.

— Вот он и прибыл!

— И убыл, — откликнулся мистер Уйнески.

— А вот и не убыл!

Теперь уже мистер Уйнески едва не выронил ножницы.

— Черти полосатые! Да он тормозит, этот треклятый поезд!

Мы слышали, как поезд остановился.

— Пес, сколько пассажиров сошло? Быстро!

Пес гавкнул. Мистер Уйнески беспокойно заерзал.

— Наверное, мешки с почтой...

— Нет... Это человек! Он налегке. Багажа у него совсем мало. Идет к нашему дому. Могу спорить, у

бабушки будет новый постоялец. И займет он пустую комнату, как раз рядом с вашей, мистер Уйнески! Верно, Пес?

Пес залаял.

— Эта собака слишком много болтает, — с неудовольствием заметил мистер Уйнески.

— Я мигом, только гляну разок. Ну пожалуйста, мистер Уйнески!

Далекие шаги вот-вот затеряются на жарких пыльных улицах. Мистер Уйнески дрожал.

— ...пошли прахом все мои надежды, — едва слышно пробормотал парикмахер и добавил печально: — Ладно, Ральф, иди.

— Только не Ральф!

— Как-там-тебя-звать... сбегай посмотри и возвращайся... с плохими вестями.

— Ой, спасибо, мистер Уйнески, спасибо!

Я побежал. Пес помчался за мной. Вдоль по улице, по аллее, задворками — и вот мы притаились в папоротниках у бабушкиного дома.

— Лежи, приятель, — шепнул я. — Приближается Событие, чем бы оно ни было!

По улице, а потом по дорожке, ведущей к дому, и дальше, по ступеням, легко, как на прогулке, шагал незнакомец. Он так помахивал тросточкой, у него был такой ковровый саквояж... и длинные, каштановые с сединой волосы, и серебристые усы, и борода клинышком... Изысканность просто порхала вокруг него, как стая пташек.

На крыльце, среди гераней в горшках, он остановился, обернулся и принялся изучать Гринтаун.

Может быть, он слышал гудящее вдали насекомое — шум парикмахерской, где мистер Уйнески, будущий его враг, предсказывает судьбу по шишкам на головах, над которыми жужжит своей электрической машинкой. Может быть, он слышал даже, как в безлюдной библиотеке, где золотая пыль неторопливо плавает в солнечных столбах, чья-то рука быстро скользит по бумаге, шуршит, постукивает пером о дно чернильницы, зачеркивает и снова пишет... Тихая женщина роется в

книгах, как большая одинокая бабочка. Ей тоже предстоит стать частью жизни незнакомца, но пока...

Пришелец снял высокую блекло-зеленую шляпу, вытер лоб и, глядя в жаркое слепое небо, проговорил:

— Привет, парень. Привет, Пес.

Мы с Псом восстали из папоротника.

— Черт! Как вы догадались, что мы здесь прячемся?

Незнакомец заглянул в шляпу, словно там у него лежал ответ.

— В прошлом воплощении я был мальчишкой. А в предыдущий раз, если память мне не изменяет, я был чуть больше, чем обычным счастливым псом. Но!.. — Трость ткнулась в табличку на крыльце, обещавшую «Комнаты с пансионом». — Эта надпись не обманывает, как ты считаешь?

— Лучшие комнаты во всем квартале, сэр!

— А кровать?

— Матрасы такие, что можно три раза утонуть от счастья.

— А постояльцы за обедом?

— Разговорчивые, но в меру.

— А как кормят?

— Горячие булочки каждое утро, персиковый пирог в обед и слоеный торт на ужин!

Незнакомец вдохнул и выдохнул восхитительный запах.

— Да тут и душу продашь!

— Прошу прощения?! — Бабушка уже стояла возле двери и хмурилась, разглядывая гостя.

— Не больше чем общепринятое выражение, сударыня, — незнакомец быстро повернулся к ней. — Я не имел в виду ничего антихристианского.

И вот он уже внутри, и говорит не переставая, и бабушка тоже говорит, а он пишет и размахивает пером над регистрационной книгой, и мы с Псом тоже внутри, затаив дыхание, читаем по буквам:

— Ч... А...

— И вверх ногами читаешь, приятель? — весело окликнул меня незнакомец, обмакивая перо в чернила.

— Да, сэр!

Он продолжал писать. Я продолжал читать:

— ...Р... Л... Ъ... З... Чарльз!

— Верно.

Бабушка заглянула в регистрационный лист.

— О, какой прекрасный почерк.

— Благодарю вас, сударыня. — Перо заскрипело снова. И я снова декламировал по буквам:

— Д... И... К... К... Е... Н... С...

Вот тут я запнулся и замолчал. Перо тоже смолкло. Незнакомец наклонил голову и, прищулив глаз, принялся разглядывать меня.

— Ну-ну? — поддразнил он. — И что же получается?

— Диккенс! — воскликнул я.

— Хорошо!

— Чарльз Диккенс, бабушка!

— Спасибо, Ральф, я еще не научилась читать. Приятное имя...

— Приятное? — Я разинул рот. — Великое! Но я думал, вы...

— Умер? — Незнакомец рассмеялся. — Нет. Жив, как видишь, прекрасно себя чувствую и рад встретить знатока, ценителя и друга-читателя!

И вот мы поднимаемся по лестнице — бабушка несет свежие полотенца и чистые наволочки, я, отдуваясь, волоку саквояж — и встречаемся с дедушкой — что твой дреднот, следующий заданным курсом.

— Дедушка! — Я так и впился глазами в деда, чтобы не пропустить растерянности, которая вот-вот должна отразиться у него на лице. — Позволь представить тебе... Мистер Чарльз Диккенс!

Дедушка крикнул от неожиданности, оглядел нового постояльца с головы до ног, быстро справился с собой, протянул руку, крепко сжал ладонь незнакомца, потряс ее и заявил:

— Друг Николаса Никльби — мой друг!

По-моему, мистера Диккенса слегка пошатнуло от этого залпа, но он взял себя в руки, поклонился, молвил: «Благодарю вас, сэр» — и отправился вверх по лестнице. Дедушка подмигнул мне, ущипнул за щеку и

двинулся прежним курсом, оставив меня в полном замешательстве.

В мансарде с сияющими распахнутыми окнами, из-за чего по комнате во всех направлениях носились прохладные ветерки, мистер Диккенс снял легкое дорожное пальто и кивком головы указал мне на саквояж:

— Всюду сгодится, верно, Пип? Ничего, если я буду звать тебя Пип?

— Пип? — Щеки у меня вспыхнули, лицо засияло от неожиданно свалившегося счастья. — О да. Ой, да что вы. Пип — это замечательно!\*

Между нами вклинилась бабушка:

— Вот вам чистые простыни, мистер?..

— Диккенс, мэм. — Наш постоялец по очереди обшарил все свои карманы. — Ты знаешь, Пип, у меня, похоже, не оказалось ни тетрадки, ни карандаша. Не мог бы ты оказать мне любезность...

Моя рука метнулась за ухо и кое-что нащупала там.

— Готов поспорить, — заявил я, — это желтый «тайкондерога» номер два! — Другая рука скользнула в задний карман брюк. — А вот блокнот номер двенадцать!

— Превосходно!

— Отлично!

Мистер Диккенс кружил по комнате, разглядывая мир то из одного окна, то из другого, и говорил то на север, то на северо-восток, то на восток, то на юг:

— Две долгих недели я путешествовал с некоей идеей. День взятия Бастилии... Знаешь такой?

— Четвертое июля по-французски?

— Молодец, парень! Так вот, к этому дню книга должна вылиться на бумагу. Ты мне поможешь открыть шлюзы Революции, Пип?

— Вот этим? — я посмотрел на свои блокнот и карандаш.

— Лизни-ка кончик карандаша!

Я лизнул.

---

\* Имя главного героя романа Ч. Диккенса «Большие надежды».

— Сверху — на первой странице — заголовок. Название... — Мистер Диккенс задумался, опустил голову, подергал ус. — Пип, как стоило бы назвать роман, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже?

Я собрался с духом и начал:

— Повесть...

— Дальше?!

— Повесть... о Двух Городах?!

— Сударыня! — Бабушка посмотрела на него. — Этот мальчик — гений!

— Я читала в Библии о двух городах, — сказала бабушка. — Там к полудню все завершается\*.

— Записывай, Пип! — Мистер Диккенс похлопал по блокноту. — Быстрее. «Повесть о двух городах». Так, теперь в середине страницы. Книга первая. «Возвращен к жизни». Глава первая. «То время».

Я царапал карандашом. Бабушка застилала кровать. Мистер Диккенс, прищурившись, смотрел в небо и наконец начал диктовать:

— «Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, — век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, зима...»

— По-моему, звучит красиво, — заметила бабушка.

— Весьма признателен, — кивнул наш постоялец и, закрыв глаза, пощелкал пальцами, вспоминая. — Так, где я остановился, Пип?

— Это была зима отчаяния, — сказал я.

Далеко за полдень я услышал, как бабушка зовет вниз какого-то Ральфа. Я такого не знал. Я писал.

Через минуту дедушка позвал:

— Пип!

Я подскочил:

— Да, сэр?

— Обедать пора, Пип, — прогудел дедушка в лестничный пролет.

---

\* Имеются в виду Содом и Гоморра. Быт. 19, 24.



Я скатился к столу — волосы взмокли от усердия, руки налились свинцом. Я поглядел на дедушку:

— Откуда ты узнал... про Пипа?

— Да примерно с час назад это имя вылетело из окна.

— Пип? — переспросил, усаживаясь за стол, только что вошедший мистер Уйнески.

— Классно, — сказал я. — Я сегодня где только не был. В почтовой карете на Дуврской дороге — раз! В Париже — два! Напутешествовался до отвала! Я...

— Пип? — снова спросил мистер Уйнески.

Дедушка мягко и просто пришел мне на помощь:

— Когда мне было двенадцать, я тоже менял имена — и не раз. — Он пересчитал зубья на вилке. — Дик. Это был Дик — Мертвый Глаз. И... Джон. В честь Джона Сильвера. Потом еще Хайд. Ради второй половинки мистера Джекила...

— Меня никогда не звали иначе, чем Бернард Сэмюэл Уйнески, — отчеканил парикмахер, по-прежнему не сводя с меня глаз.

— Ни разу? — изумленно переспросил дедушка.

— Ни единого раза.

— Как же вы тогда докажете, что у вас было детство? Или вы — чудо природы, корабль, заштилевший в море жизни?

— Что? — нахмурился мистер Уйнески.

Дедушка сдался и передал ему полную тарелку.

— Приятного аппетита, Бернард Сэмюэл, приятно-го аппетита.

Мистер Уйнески не прикоснулся к еде.

— Дувр... Ла-Манш...

— С мистером Диккенсом, конечно, — успокоил дедушка. — Бернард Сэмюэл, у нас новый постоялец, романист, он пишет новую книгу и выбрал Пипа — то есть Ральфа — в секретари...

— Весь день работали, — гордо похвастался я, — сделали не меньше четверти... — и поспешил зажать рот ладонью.

По лицу мистера Уйнески промелькнуло темное облачко.

— Романист? По имени Диккенс? Неужели вы всерьез полагаете...

— Я верю тому, что человек говорит о себе, — заявил дедушка, — пока он сам не скажет чего-нибудь другого. Тогда я буду верить новым сведениям. Передайте масло, пожалуйста.

Масло было передано в полном молчании.

— Адовы огни... — пробормотал мистер Уйнески.

Я поглубже зарылся в кресло.

Разделявая цыпленка и раскладывая куски по тарелкам, дедушка говорил:

— К нам в дом пришел человек с хорошими манерами. Он сказал, что его зовут Диккенс. И, насколько я могу судить, его действительно так зовут. Он полагает, что пишет книгу. Я проходил мимо его двери, заглянул внутрь — он действительно ее пишет. Неужели я стану объяснять ему, что он не должен этого делать? Видно, ему просто необходимо написать эту книгу...

— Повесть о двух городах! — уточнил я.

— Повесть! — Мистер Уйнески вышел из себя. — О двух...

— Пожалуйста, тише, — попросила бабушка.

Человек с длинными волосами, аккуратными усами и бородой уже спустился по лестнице и входил в столовую. Он кивнул, улыбнулся, с сомнением оглядел нас и проговорил:

— Друзья?..

— Мистер Диккенс, — сказал я, отчаянно пытаясь уладить ситуацию, — позвольте познакомить вас с мистером Уйнески, величайшим в мире парикмахером...

Двое мужчин долго разглядывали друг друга.

— Мистер Диккенс, — произнес дедушка, — окажите нам любезность, освятите нашу трапезу молитвой, соответствующей вашему таланту.

— Почту за честь, сэр.

Мы наклонили головы. Все, кроме мистера Уйнески.

Мистер Диккенс спокойно посмотрел на него. Мистер Уйнески пробормотал что-то и устался в пол.

И тогда мистер Диккенс прочитал молитву:

— О Владыка, подавший нам этот щедрый стол!  
О Владыка, пославший тучный урожай покорным слугам Твоим, собравшимся здесь в любви и смирении!  
О Владыка, украсивший наш пир яркой редиской и великолепным цыпленком, даровавший нам истинное летнее вино — лимонад, научивший нас простым радостям картофеля, лука и, наконец, как подсказывает мне обоняние, честного хлеба, претворенного в высокородный клубничный торт, великолепно украшенный и любовно утопающий в плодах с Твоих собственных теплых садовых гряд, — за все это и за радость общения за нашим столом мы премного Тебе благодарны. Аминь.

О, что это было за лето!

Никогда не было такого в Гринтауне.

Никогда в жизни я не вставал так рано и с таким удовольствием! Пять минут чтобы проснуться, а через минуту я уже в Париже... в шесть утра — лодка через Ла-Манш из Кале, Уайтклифф, небо в тучах чаек, Дувр, а к полудню — почтовая карета и Лондонский мост! Завтрак с мистером Диккенсом под деревьями, и Песноровит лизнуть прохладным языком наши разгоряченные щеки, а потом — снова в Париж, в четыре — короткое возвращение к чаю, и опять...

— Орудие к бою, Пип!

— Есть, сэръ!

— Окружить Бастилию!

— Есть, сэръ!

И вновь палили ружья, толпа неслась сломя голову, и в самой гуще был я, секретарь мистера Ч. Диккенса, Гринтаун, Иллинойс. Я смотрел во все глаза и держал ушки на макушке, потому что в один прекрасный день мечтал тоже стать писателем — и по мере сил старался расцветить повествование.

— Мадам Дефарж — она сидит и вяжет, я вижу, как мелькают спицы у нее в руках...

Я поднимал голову и видел бабушку, вязавшую у окна.

— Сидни Картон, какой он? Знающий, тонко чувствующий и способный на Поступок...

Под окном по газону проходил дедушка с косилкой.  
За холмами ухали орудийные залпы — летняя гроза  
крушила облачные бастионы...

Мистер Уйнески...

Почему-то я забыл про него, изменил таинственно-  
му шесту парикмахерской, который возникал ниоткуда  
и, закручиваясь, уходил в никуда, не вспоминал сказоч-  
ные волосы, сами по себе росшие на белом кафельном  
полу...

Мистеру Уйнески оставалось каждый вечер возвра-  
щаться домой и обнаруживать за столом все того же  
писателя с волосами, давно требующими стрижки, все  
еще благодарного Господу и за то, и за это, и еще вот  
за это, — а сам мистер Уйнески благодарности вовсе  
не испытывал. Потому что за столом сидел я и смотрел  
на мистера Диккенса так, словно это он был Богом.

Наконец однажды вечером...

— Мы будем благодарить? — спросила бабушка.

— Мистер Уйнески еще бродит по саду, — сказал  
дедушка.

— Бродит? — Я выглянул в окно. Дедушка передви-  
нул кресло, чтобы видеть меня.

— Так говорится — бродит. Я видел, как он пнул  
розовый куст, растоптал папоротник у крыльца, хотел  
было стукнуть яблоню, но раздумал; Господь сотворил  
ее слишком твердой. Тогда он просто попрыгал на  
одуванчиках. О, вот и он — Моисей, пересекший Чер-  
ное море желчи.

Дверь хлопнула. Мистер Уйнески стоял во главе  
стола.

— Сегодня я буду благодарить! — Он сверкнул гла-  
зами в сторону мистера Диккенса.

— Почему бы и нет, — миролюбиво отозвалась ба-  
бушка. — Да. Пожалуйста.

Мистер Уйнески крепко зажмурился и начал свою  
молитву-проклятие:

— О Господь, который избавил меня от прекрасного  
июня и гораздо менее прекрасного июля, помоги  
мне как-нибудь выбраться и из августа.

О Господь, избавь меня от толп и бесчинств на улицах Парижа и Лондона, которые днем и ночью сотрясают стены моей комнаты, а главные виновники этих бесчинств — мальчишка-лунатик, человек, присвоивший чужое имя, и облезлый Пес, готовый подлаивать всякому сброду.

Дай мне силы противостоять радостным воплям про Обманщика, Вора, Дурака и Графомана, которые уже стоят у меня в горле.

Помоги мне не помчаться к начальнику полиции и не орать по дороге, что скорее всего человек, который делит с нами нашу скромную трапезу, на самом деле зовется Рыжим Джо Пайком из Уилксборо и разыскивается за подлог или Быком Хаммером из Хорнбилля, и полиция очень желает посчитаться с ним за преднамеренное оскорбление и мелкое воровство в Оклахоме.

Господи, избавь невинных мира сего от жестокой хватки проходимцев, способных обмануть их доверие.

И еще, Господи, помоги мне выговорить — тихо, и со всем почтением к присутствующей здесь даме, — что если пресловутый Чарльз Диккенс завтра же дневным поездом не уберется в свое Разбитое Корыто, к Черту-на-Кулички или еще куда-нибудь подальше, то я, как Далила, безжалостно обстригу этого барана.

Господи, не милости к своим намерениям прошу я у Тебя, а простой справедливости. Не потакай злодеям!

Все, кто согласен со мной, скажите «Аминь».

Он сел и как ни в чем не бывало принялся за картошку.

Молчание висело над столом, мы сидели как замороженные. А потом мистер Диккенс с закрытыми глазами простонал:

— О-о-о!

Это был плач, надрывный крик, и в нем звучало отчаяние, долгое и бездонное, как далекий гудок поезда в тот день, когда незнакомец прибыл в Гринтаун.

— Мистер Диккенс, — позвал я.

Нет, слишком поздно. Он уже поднялся на ноги, согнутый, ослепший от горя, и, хватаясь за мебель,

придерживаясь за стену, выбирается в коридор и бредет вверх по лестнице.

— О-о-о! — долгий крик человека, сорвавшегося с утеса в Вечность.

Мы сидели и ждали, когда он долетит до дна. Далеко в холмах — на верху дома — хлопнула дверь.

Душа моя перевернулась и умерла.

— Мистер Диккенс, — проговорил я. — Чарли...

Этим же вечером, совсем поздно, завыл Пес.

Он выл, словно сочувствовал рыданиям, доносившимся из мансарды.

— Ну и дела, — сказал я. — Впору за водопроводчиком посылать. Сплошной потоп.

Мистер Уйнески вышагивал по дорожке — взад-вперед.

— Он уже четыре раза обошел квартал, — сообщил дедушка, раскуривая трубку.

— Мистер Уйнески! — позвал я.

Ответа не последовало. Шаги стихли вдали.

— И угрозило же! Я как будто войну продул, — сказал я.

— Нет, Ральф, то есть, прошу прощения, Пип, — произнес дедушка, усаживаясь рядом со мной на ступеньку. — Ты просто поменял генералов в самый разгар боя. И вот теперь один из них так несчастен, что места себе не находит.

— Мистер Уйнески? Я... я почти ненавижу его!

Дедушка попытлел трубкой.

— Думаю, он и сам не понимает, почему мучается. Сегодня вечером таинственный дантист вырвал ему зуб, и теперь он языком все шупает дырку — а это больно.

— Дедушка, мы же не в церкви!

— Чтобы говорить притчами, так? Ладно, давай попросту. Ты привык подметать волосы с пола его заведения. А он — человек без жены, без семьи, у него только и есть, что работа. Человеку без семьи обязательно нужен кто-нибудь в этом мире, неважно, понимает он это или нет.

— Завтра я вымою окна в парикмахерской, — пообещал я. — Я... я смажу шест, и он будет вертеться как сумасшедший.

— Я знаю, ты так и сделаешь.

В ночи прогудел поезд. Пес все выл, и мистер Диккенс вторил ему невыносимыми рыданиями из своей комнаты наверху.

Я отправился в постель и слушал, как городские часы пробили один раз, потом — два и, наконец, три. Рыдания наверху стихли. Я вышел в коридор и остановился возле двери нашего постояльца.

— Мистер Диккенс?

Всхлипы прекратились. Дверь оказалась не заперта. Я рискнул войти.

— Мистер Диккенс?

Он лежал на постели, и в лунном свете было видно, как слезы катятся у него из глаз, а глаза широко открыты и невидяще смотрят в потолок.

— Мистер Диккенс?

— Здесь больше нет никого с этим именем, — глухо откликнулся постоялец, и голова качнулась из стороны в сторону, вторя словам. — Никого с этим именем — в этой комнате, в этой постели, в этом мире.

— Кроме вас, — сказал я. — Вы — Чарльз Диккенс.

— Тебе лучше знать, — донесся скорбный ответ. — Тем более когда ночь движется к утру.

— Все, что я знаю, — это то, что вы пишете каждый день. А каждую ночь я слышал, как вы говорите.

— Верно, верно.

— И вы закончили одну книгу и начали другую, и писали таким четким почерком.

— Было такое. — Кивок. — О да, клянусь демоном обладания, я делал это.

— Ну! — Я обошел вокруг кровати. — Так чего вы вдруг начали стыдиться себя — вы, всемирно известный писатель?

— Ты знаешь, и я знаю. Я — мистер Никто из Никтокуда, и мой путь в Вечность освещают не свечи, а мертвый электрический фонарь.

— Опять двадцать пять, — вздохнул я и пошел к двери. С ума сойти — он ведь собирался все бросить. Разрушить такое великое лето!.. — Доброй ночи, — промолвил я и взялся за ручку двери.

— Подожди!

Это была такая отчаянная мольба, такой вопль беды и боли, что я выпустил ручку. Но не повернулся.

— Пип, — позвал старик из постели.

— Угу? — проворчал я.

— Давай-ка помолчим. Присядь.

Я медленно опустился в высокое кресло у ночного столика.

— Поговори со мной, Пип.

— Ничего себе! В три часа ночи...

— Ну да, в три утра. О, это яростное и жуткое время суток. Долгая дорога пролегла от заката, и еще десять тысяч миль впереди до рассвета. Вот когда нам нужны друзья. Спроси о чем-нибудь, друг Пип.

— О чем?

— Думаю, ты и сам знаешь.

Я немного поразмыслил и вздохнул:

— Ну уж ладно. Тогда... кто вы?

Сначала он затих в своей постели, а потом, словно читая написанное на потолке кончиком носа, проговорил:

— Я — человек, который так и не дорос до своей мечты.

— Что?

— Я имел в виду, Пип, что я так и не стал тем, кем хотел.

Теперь и я говорил тихо.

— А кем вы хотели быть?

— Писателем.

— А вы пробовали?

— Пробовал!.. — воскликнул он и чуть не зашелся странным, нервным смехом. — Пробовал, — повторил он, справившись с собой. — Владыка милосердный, сынок, никто в жизни не переводил столько бумаги, не проливал столько чернил и пота! Я употребил продукцию целой чернильной фабрики, я извел весь товар



небольшого бумажного комбината, сломал шесть дюжин пишущих машинок, источил и исписал до основания десять тысяч мягких карандашей.

— Не слабо!

— Да в том-то и беда, что слабо.

— И что вы написали?

— Чего я только не написал. Поэму. Эссе. Драму. Фарс. Повесть. Роман. Тысяча слов в день, парень, каждый день в течение тридцати лет, и не было дня, в который я бы не мял и не мучил бумагу. Миллионы слов перетекли с моих пальцев на листы — и все это никуда не годилось.

— Такого не может быть!

— Так было. Не то что посредственно, даже не на среднем уровне. Просто невероятно, отвратительно плохо. Друзья знали об этом, редакторы знали об этом, учителя знали об этом, издатели знали об этом, а в один странный прекрасный день, часа в четыре, — мне стукнуло пятьдесят — тогда и я узнал об этом.

— Но нельзя же писать тридцать лет и...

— Не выкарабкаться к совершенству? Не задеть ни одну чувствительную струнку? Смотри, Пип, смотри долго и внимательно, рассматривай человека особого таланта, выдающихся способностей, единственного в истории, который написал пять миллионов слов и не вдохнул жизнь ни в один рассказик, чтобы он мог приподняться на хилых ножках, а я — крикнуть: «Эврика! Мы сделали это!»

— И вы ни разу не продали ни одного?

— Ни единого анекдота в пару строк. Ни одного грошового сонета для газеты. Я не могу похвастаться даже опубликованным объявлением из раздела «куплю-продам» или рецептом домашней засолки огурцов. Разве не удивительно быть до нелепости скучным, настолько неумелым, ни разу не вызвать ни единого смешка или слезинки, не поднять настроение хотя бы одному человеку, не отвести удар? И знаешь, что я сделал, обнаружив, что никогда не смогу стать писателем? Я убил себя.

— Убил?!

— Выкинул на помойку. Уничтожил. Как? Запросто: я упаковал себя и поволок на вокзал, а потом отправил в долгую поездку на поезде. Много ночей просидел я на тормозной площадке последнего вагона, отправляя конфетти из собственных рукописей порхать над рельсами стаей испуганных птиц. Повесть разлетелась над Небраской, поэмы в стиле Гомера усыпали север, а любовные сонеты — Южную Дакоту. От эссе я избавился в комнате для мужчин, в Чистых Ручьях, штат Айдахо. В конце лета хлебные поля познакомились с моей прозой. Они привыкли к удобрениям и, может быть, сумели вырастить на моих произведениях особенно полновесные колосья. Я проездил два чемодана собственной души тем долгим летом во славу собственного неухоженного Я. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее, я выбрасывал рассказ за рассказом, — прочь из моих рук, прочь из моей головы, из моей жизни, — и они падали, медленно тонули в пыльных реках ночных прерий, в затерянных континентах песка и одиноких скал. Свободный поезд вопил во мраке, а я разжимал пальцы и выпускал последние, немые, ненаглядные мои страницы...

На подходах к конечной станции чемоданы опустели. Я тогда много пил, мало ел, при случае рыдал в собственной комнате, но уже обрубил якоря, сбросил мертвую тяжесть грез и мечтаний, и началась — хвала Господу! — последняя, легкая, парящая часть моего путешествия, исполненная благородной безмятежности и определенности. Я чувствовал себя заново родившимся. Я все спрашивал себя, что случилось, что произошло со мной? Да я просто стал новым человеком!

Он видел все это на потолке, и я вместе с ним — как кино, прокрученное на экране стены в лунном свете.

— Итак, я стал новым человеком. И вот сошел я с поезда в конце этого долгого лета избавления и неожиданного перерождения и посмотрел в засиженное мухами, веснушчатое от дождевых капель стекло автомата, продающего жевательную резинку, на заброшенном складе в Пичгаме, Миссури. За два месяца путешествия у меня отросла борода, а волосы расчесывал

только ветер, творя то вполне пристойные, то безумные прически. Я стоял, разглядывая собственное отражение, и тихонько восклицал: «Эй, Чарли Диккенс, неужели это ты?» — Человек на постели негромко рассмеялся. — «Эй, Чарли, — повторил я. — Мистер Диккенс, вот вы где!» И отражение в зеркале крикнуло в ответ: «Черт побери, сударь, да кому же еще и быть? А ну-ка, отойди. Нас ждут великие дела!»

— Неужели вы так и сказали, мистер Диккенс?

— Клянусь Божьими столпами и храмами истины, Пип! И я действительно отошел в сторону! Я шел через странный город и наконец-то знал, кто я, и меня начинало лихорадить, когда я думал о том, что должен сделать в своей новой жизни и какая огромная работа меня ждет! Понимаешь, Пип, этому надо было дать вырасти. Все эти годы писательства, пропитанные запахом поражения, мое прежнее подсознание шептало: «Только подожди. Все будет черно, как ночью, и плохо, но в свое время я спасу тебя!»

Спасло меня, в конце концов, наверное, то же самое, что погубило вначале: почтение к старшим. Великие первопроходцы и рослые пахари бумажных полей топтались в буйной зелени литературных высокогорий, а я из всех сил греб на своем каноэ по пересохшему руслу внизу.

Господи Боже, Пип, как я уплетал Толстого, пил и не мог напиться Достоевским, с каким наслаждением закусывал Мопассаном, гостил на пикниках с винами и цыпленком у Флобера и Мольера. Я смотрел на богов слишком уж снизу вверх. Я читал слишком много! Поэтому когда моя работа исчезла, их — осталась. И внезапно я обнаружил, что не могу забыть их книги, Пип!

— Как это?

— Не могу забыть ни одной буквы, ни одного предложения, ни одного абзаца из любой книги, хоть раз побывавшей перед этими голодными всепоглощающими глазами!

— Фотографическая память!

— В самую точку! Диккенс, Гарди, Остен, По, Готорн — все попались в объектив старой фотокамеры и все эти годы ждут проявки: ждут возможности сорваться с моего языка. Пип, сам того не зная и не желая, я запер их там. Попроси, и я заговорю на разных литературных языках. Киплинг — первый. Теккерей — второй. Взвесь меня, я вешу столько же, сколько Шейлок. Потуши свет, и ты не отличишь меня от Отелло. Я — это они, Пип, все-все здесь, во мне!

— И что было потом?

— А потом, Пип, я еще раз посмотрел в то пятнистое стекло и сказал себе: «Мистер Диккенс, сэр, если все это правда, то не пора ли приниматься за свою первую книгу?»

«Пора, и немедленно!» — ответил я сам себе, купил бумаги, чернил и с тех пор неизменно пребывал в восторге и радости. Я был как лунатик, и я был искренне счастлив. Я писал, писал все книги своего заново обретенного Я. Это я, Чарльз Диккенс, писал их одну за другой.

Я путешествовал по необъятным просторам Северной Америки и прокладывал свои пути так, чтобы писать и выступать, выступать и писать — здесь преподавал, там размышлял, наполовину поддавшись своей мании, наполовину освободившись от нее, то узнаваемый, то неузнанный; задерживался в одном месте, чтобы закончить «Копперфилда», торчал в другом ради «Домби и сына», которого начал снежным рождественским днем после чая с Призраком Марли. Иногда я зимовал на маленьких ветреных полустанках, и ни одна душа не догадывалась, что рядом залег в спячку Чарльз Диккенс. Потом, очнувшись и встряхнувшись, как выдра по весне, я двигался дальше. Иногда целое лето проводил в одном городе, прежде чем меня успевали прогнать. О да, прогнать. Люди, подобные твоему мистеру Уйнески, Пип, никому не прощают фантазий, даже если от них нет никакого вреда. Видишь ли, мальчуган, у него просто нет чувства юмора. Это — безнадежно.

Он не видит, не понимает и не поймет никогда, что все мы делаем только то, что должны делать.

Одни смеются, другие плачут, третьи потрясают кулаками, но в итоге — то же самое: они должны это делать.

Земля кишит людьми; каждый в конце концов тонет, но, пока они живут, каждый по-своему гребет к далекому берегу.

А мистер Уйнески? Он привык к ножницам и не желает понимать мой перо и бумагу, на которую я вынужден выплескивать свою тоскующую английскую душу.

Мистер Диккенс спустил ноги с кровати и потянулся за саквояжем.

— Значит, пришло время собираться и уходить.

Я первым схватился за саквояж.

— Нет! Вы не можете уйти! Вы же еще не закончили книгу!

— Пип, милый мой, да ты просто не слушал...

— Но мир ждет! Вы не можете бросить «Два города» прямо посередине!

Он тихо забрал у меня саквояж.

— Пип, Пип...

— Вы не должны, Чарли!

Он посмотрел мне в лицо — наверно, оно раскалилось добела, потому что он вздрогнул.

— Я жду! — закричал я. — И они — тоже!

— Они?..

— Чернь возле стен Бастилии. Париж! Лондон! Море у Дувра. Гильотина!

Я бросился к окнам и распахнул их настежь, словно ночной ветер и лунный свет могли принести в комнату звуки и тени, чтобы они прокрались по ковру к его глазам, а занавеси бились в фантастическом танце, и — могу поклясться — я действительно слышал и гул толпы, и скрип корабельных канатов, и звон острых клинков, и воинственные песни, видел головы, катящиеся, как капустные кочаны... все это принес полночный ветер. И Чарли тоже слышал...

— Ох, Пип, Пип...

Слезы опять покатались у него из глаз. Я уже держал наготове карандаш и блокнот.

— Да? — осведомился я.

— Где мы сегодня, Пип?

— Мадам Дефарж. Вяжет.

Он уронил саквояж. Он сел на край постели, и его руки зашевелились, начали перебирать спицы, распутывать нити, сплести и расплести пряжу. Он смотрел на руки и говорил, а я записывал; через несколько минут голос стал громче и увереннее, и весь остаток ночи...

— Мадам Дефарж... да... годится. Берем, Пип. Она...

— Доброе утро, мистер Диккенс! — Я ужом проскользнул на свое место. Мистер Диккенс уже ополовинил стопку блинов перед собой. Я откусил разок и тут увидел на столе, между нами, гораздо более высокую стопку листов бумаги.

— «Повесть о двух городах?» — замирая, уточнил я. — Вы... закончили ее?

— Готово. — Мистер Диккенс ел, опустив глаза. — Закончил в шесть утра. Работа была тяжелая. Готово. Сделано. Проехали.

— Ничего себе!

Послышался гудок поезда. Чарли поднял голову, потом внезапно встал, забыв про недоеденный завтрак, и поспешил в прихожую. Хлопнула входная дверь, я выскочил на крыльцо. Мистер Диккенс шел по дорожке от дома, и в руке у него был саквояж.

Он шел так быстро, что мне пришлось бежать в обход, чтобы перехватить нашего постояльца у железнодорожной станции.

— Мистер Диккенс, книга закончена, да, но она ведь еще не опубликована!

— Ты будешь моим душеприказчиком, Пип.

Он ускользал. Я бросился вдогонку.

— А «Дэвид Копперфилд»? А «Крошка Доррит»?

— Это твои друзья, Пип?

— Ваши, мистер Диккенс, Чарли... О черт, если вы не напишете про них, они никогда не будут жить.

— Как-нибудь обойдется. — Он свернул за угол.

— Чарли, погодите. Я придумаю... новое название. «Записки Пиквикского клуба». Точно, «Записки Пиквикского клуба»!

Поезд подползал к перрону. Чарли прибавил шаг.

— А в придачу — «Холодный дом», Чарли, и «Тяжелые времена», и «Большие...» Мистер Диккенс, пожалуйста! «Большие надежды»! О черт!

Он был уже далеко впереди, и мне оставалось только кричать ему вслед:

— Ну и ладно, давайте катитесь отсюда! Проваливайте! Знаете, что я собираюсь сделать?! Вы не заслуживаете чтения! Нет, не заслуживаете! Так вот, ни сейчас, ни потом мне и в голову не придет дочитывать «Повесть о двух городах»! Только не я! И никто другой! Ни за что! Никогда!

На станции звякнул колокол. Паровоз увеличивался на глазах. Но мистер Диккенс замедлил шаг. Он остановился посреди тротуара. Я подошел и уставился ему в спину.

— Пип, — негромко сказал он, — ты действительно сделаешь то, что сказал?

— Да вы! — выкрикнул я. — Вы — ничтожество, вы... — я порылся в памяти и выдал: — Клякса горчичная, картофеляина недорытая!..

— Ба, «Обманщик Пип»?

— Обманщик! И мне плевать, что случилось с Сидни Картоном!

— Ну почему же, эта вещь намного, намного лучше всего, что я когда-либо делал, Пип. Тебе обязательно надо ее прочесть.

— Почему?!

Он повернулся и посмотрел на меня огромными грустными глазами:

— Потому что я написал ее для тебя.

Последние мои силы ушли на то, чтобы огрызнуться:

— И что с того?

— И теперь, — сказал мистер Диккенс, — я опоздал на поезд. И у меня есть сорок минут до следующего.

— Ладно, значит, мы успеем, — заявил я.

— Куда успеем?

— Кое с кем встретиться. Одна встреча, Чарли, и я обещаю вам, что обязательно дочитаю вашу книгу. Это недалеко. Вон там, Чарли.

Он оглянулся.

— Там? Это библиотека?

— Всего десять минут, мистер Диккенс, дайте мне десять минут, всего десять, Чарли, ну пожалуйста.

— Десять?

Он, как слепой, позволил мне довести себя до библиотеки, поднялся по ступеням и испуганно, бочком, протиснулся внутрь.

Библиотека походила на каменоломню, десять тысяч лет не знавшую дождя.

В ту сторону — тишь. В другую — безмолвие. Здесь время отдыхало между книгами законченными и еще не начатыми. Здесь никто не умирал, никто не рождался. Библиотека, как и все ее книги, просто была.

Мы ждали на краю безмолвия.

Мистер Диккенс дрожал. А мне внезапно подумалось, что за все лето я его ни разу здесь не видел. Он боялся полков с художественной литературой, боялся, что мы придем туда и встанем перед его книгами, уже написанными, изданными, переплетенными, с библиотечными штампами на титулах, зачитанными до дыр, скучно и аккуратно расставленными по порядку. Стал бы я его мучить...

Мистер Диккенс сжал мой локоть и прошептал:

— Пип, что мы здесь делаем? Пойдем отсюда. Здесь...

— Послушайте! — прошептал я.

Откуда-то издалека, из-за книжных холмов, донесся шелест — словно бабочка шевельнулась во сне.

— Будь я проклят! — Глаза у мистера Диккенса потухнули огнем. — Я знаю этот звук.

— Еще бы!

— Кто-то пишет, — произнес он, затаив дыхание, и кивнул собственной догадке.

— Да, сэр.



— Пишет... пером. И пишет... пишет...

— Что?

— Стихи, — выдохнул мистер Диккенс. — Точно. Кого-то нет в этой комнате, до него — бездна, тысячи фатомов глубины, и он, Пип, могу поклясться, пишет стихи. Именно! Росчерк, еще росчерк, нажим, снова длинный росчерк — это не цифры, Пип, не вычисления, не какая-нибудь статистика. Чувствуешь ритм, волны, чувствуешь стремительность? Стихи, ей-Богу, да, сэр, несомненно, стихи!

— Мэм, — позвал я.

Шорох прекратился.

— Не мешай ей! — прошептал мистер Диккенс. — У нее вдохновение. Пусть работает!

Бабочка зашелестела снова.

Росчерк, росчерк, нажим, еще, еще... Остановка. Росчерк, росчерк. Я наклонил голову. Я пошевелил губами, как мистер Диккенс. Мы замерли в неизвестности, подались вперед, чуть касаясь прохладного мрамора; воздух трепетал под сводами сокровищницы, отзвуки бродили по подземелью.

Росчерк, росчерк, нажим, еще, еще. Тишина.

— Давай, — кивнул мне мистер Диккенс.

— Мэм! — снова позвал я негромко, но настойчиво.

Что-то прошелестело по коридору.

Перед нами стояла библиотекарь, женщина без возраста — ни молодая, ни старая; без собственного цвета — ни светлая, ни смуглая; неопределенного роста — ни высокая и ни маленькая, довольно хрупкая. Наверное, она часто разговаривает здесь сама с собой, в сумраке стеллажей, отгородивших библиотеку от всего мира, и голос ее звучит не громче шороха переворачиваемых страниц. Поступь ее настолько легка, что, кажется, она не идет, а скользит меж полок, будто на невидимых роликах.

Она шла, и свет ее лица прокладывал дорожку в полумраке. Ее губы двигались, она была занята словами, живущими в глубокой пещере затуманенных глаз.

Чарли сосредоточенно читал по ее губам, затем удовлетворенно кивнул. Он просто стоял и ждал, пока женщина вернется из своей дали и заметит нас. Это случилось не сразу, но вот она вздохнула и тихо рассмеялась:

— Ох, Ральф, это ты и... — она узнала гостя, и лицо у нее потеплело. — Наверное, вы друг Ральфа. Мистер Диккенс, не так ли?

Чарли смотрел ей в глаза с такой преданностью, что я забеспокоился.

— Мистер Диккенс, позвольте вам представить...

— «И даже Смерти не остановить меня...» — проговорил он.

Женщина удивленно моргнула, высокий сияющий лоб стал словно еще выше и светлее.

— Мисс Эмили, — сказал Чарли.

— Ее зовут... — продолжал я.

— Мисс Эмили. — Он протянул руку, чтобы коснуться ее ладони.

— Очень приятно, — сказала она. — Но как вы...

— Узнал ваше имя? Черт меня возьми, сударыня, я услышал, как вы пишете. Мне ли не знать этот шорох — только поэты могут так!

— Ну что вы... Пустяки, право...

— Выше голову, — ласково произнес он. — «И даже Смерти не остановить меня» — это не пустяки, это отличная, первоклассная поэзия.

— Мои собственные стихи так слабы, — взволнованно проговорила она. — Я переписываю ее, чтобы научиться.

— Кого? — не утерпел я.

— Что ж, это прекрасный способ.

— Правда? — Она пристально посмотрела на Чарли. — Вы не...

— Не шучу? Нет, мне никогда не придет в голову шутить с Эмили Дикинсон\*, сударыня.

— Эмили Дикинсон? — переспросил я.

---

\* Эмили Дикинсон (1830—1886) — известнейшая американская поэтесса, один из классиков американской литературы.

— Я многим обязана вам, мистер Диккенс, — вспыхнула она. — Я прочла все ваши книги.

— Все? — Он вздрогнул.

— Все, — торопливо поправилась она, — которые были опубликованы, сэр.

— Мистер Диккенс только что закончил одну, — повернул я. — Классная вещь! «Повесть о двух городах».

— А вы, сударыня? — ласково спросил он.

Она распахнула маленькие ладони, словно выпустившая птицу.

— Я? Я до сих пор не посылала ни одной строчки даже в местную газету.

— Вы непременно должны это сделать! — воскликнул он с подлинной страстностью. — Завтра же, нет, сегодня!

— Но, — голос ее упал, — начать с того, что мне некому их прочесть.

— Ну почему же, — тихо проговорил мистер Диккенс, — у вас ведь есть Пип. И вот, возьмите мою карточку. Мистер Ч. Диккенс, эсквайр. Который, если ему будет дозволено, с радостью задержится, чтобы лично убедиться, все ли в порядке в этой книжной Аркадии.

Она взяла карточку.

— Но я не могу...

— Пустое! Вы должны. Мое перо в лучшем случае порождает только теплый белый хлеб прозы. Ваши слова должны стать для него мармеладом и летним медом. Я буду читать долго и просто. Вы — коротко, в восторге от жизни, искушенные странной восхитительной Смертью, с которой вы, как я знаю, накоротке. Довольно. Вам — туда, — он махнул рукой. — В дальнем конце коридора уже зажжена лампа, и та, что засветила ее, снова будет водить вашей рукой... Муза ждет. Берегите ее. До свидания, и спасибо.

— Спасибо? — переспросила она. — Не значит ли это «Спаси вас Бог»?

— Так говорят, милостивая сударыня.

И внезапно мы снова оказались на солнце, и мистер Диккенс чуть не упал, споткнувшись о собственный

саквояж, оставленный у порога. В глубокой задумчивости он сделал несколько шагов, остановился посреди лужайки, запрокинул голову и счастливо вздохнул:

— Небо-то какое голубое, а, парень?

— Да, сэр.

— А трава зеленая.

— Точно. — И тут я наконец огляделся. — То есть я хотел сказать, классно!

— А ветер... Чуешь, чем пахнет этот сладкий ветер? — Мы оба приняхались. Мистер Диккенс продолжал: — И мир отличный, когда в нем есть мальчишки, умеющие спасать взрослых. — Он похлопал меня по плечу.

Я опустил голову. Черт, никогда не знаешь, как вести себя в подобной ситуации. Меня выручил свисток поезда.

— Эй, следующий поезд! Вон он подъезжает!

Мы подождали. После долгого молчания мистер Диккенс произнес:

— Ну и пусть себе... Пойдем-ка домой.

— Домой! — радостно завопил я и осекся. — А как же... мистер Уйнески?

— О, после всего случившегося я верю в тебя, Пип. Просто теперь каждый день, пока я пью чай и собираюсь с мыслями, тебе придется бегать в парикмахерскую и...

— Подметать волосы!

— Ты — храбрый юноша. Это не так уж много. Дань признательности Банка Англии Первому Национальному Банку Гринтауна, Иллинойс. А теперь, Пип... карандаш!

Я пошарил за ухом и достал жевательную резинку; пошарил за другим и нашел:

— Вот карандаш!

— Бумага?

— Есть бумага, сэр!

И мы с ним бодро зашагали под зелеными летними деревьями.

— Название, Пип, название... Это — самое главное!

Он поднял трость, чтобы небо обратило внимание на этот важный факт. Я прищурился, разбирая незримые письма.

Первое слово легким призраком проявилось в воздухе.

— Эл... А... — разбирал я по буквам. — О, «Лавка»!

— И как оно тебе?

Я колебался.

— Оно... оно как будто незаконченное, сэр.

— Ты настоящий христианин. Смотри!

Второе слово блеснуло в солнечном свете.

— Д... Р... Е... Древностей! Лавка Древностей!

— Значит, начинаем роман, Пип!

— Да, сэр! — откликнулся я. — Часть первая!

Ледяной ветер трепал голые ветви.

— Что это? — удивился я и сам же себе ответил: — Лето кончилось.

Листочки календаря облетели, кончились летние часы и дни, их унесло вместе с желтыми листьями за холмы. Мы с Чарли работали вместе, закончили повесть, отредактировали ее. И дни, проведенные в библиотеке, тоже кончились, а ведь их было немало! Мы столько читали вслух вместе с мисс Эмили, но теперь кончилось и это. Приходили и уходили поезда. Луна росла и старилась. Издали кричали новые поезда, и новые судьбы, новые дороги нетерпеливо подрагивали на краю перрона, и внезапно мисс Эмили тоже оказалась здесь, на платформе, а рядом с ней — Чарли, оба нарядные, — и протягивают мне бумажный пакет.

— Это еще что?

— Рис, Пип, самый обыкновенный рис. Обряд плодородия. Бросай его на нас, мальчуган. Пожелай нам счастья в пути. Слышишь колокольцы, Пип? Это для мистера и миссис Диккенс! Ну, бросай!

Я бросал и бежал за ними, бежал и бросал, а потом махал вслед последнему вагону поезда, пока он совсем не скрылся с глаз, и кричал им:

— Счастья новобрачным! Счастливых дней, Чарли! Возвращайтесь! Будьте счастливы... счастливы...

Вот тогда я и обнаружил, что плачу, а Пес покусывает мои туфли, ревнуя и радуясь, что теперь я снова

принадлежу только ему, а мистер Уйнески ждет на пороге парикмахерской, чтобы вручить щетку и снова принять меня в сыновья.

Пришла осень. Она устроилась по-хозяйски надолго. И вот однажды от моих путешественников-молодоженов пришло письмо.

Я не распечатывал его весь день, и только в сумерках, когда дедушка сметал с крыльца последние редкие листья, я вышел к нему и сел, держал письмо и ждал, пока он его заметит. Наконец дедушка посмотрел в мою сторону. Тогда я вскрыл письмо и прочел вслух октябрьским сумеркам:

*Дорогой Пип, — мне пришлось остановиться, когда я снова увидел свое особое имя, и усиленно поморгать — слишком много лишней влаги скопилось в глазах. — Дорогой Пип. Мы сегодня в Аврбре, а завтра — в Фелицате, а послезавтра будем в Элдджине. У Чарли лекции расписаны на шесть месяцев вперед и дальше. Мы с ним оба упорно работаем и... очень счастливы... Да что мне тебе объяснять?*

Он зовет меня Эмили.

*Пип, вряд ли ты знаешь, кто она, но некогда была такая женщина-поэт. Я надеюсь, когда-нибудь ты возьмешь ее книги в библиотеке.*

*Ну вот, Чарли смотрит на меня и говорит: «Это книги моей Эмили», и я ему почти верю. Нет, я просто верю.*

Я остановился, с трудом сглотнул и продолжал:

*Мы сумасшедшие, Пип.*

*Люди так говорят. Мы знаем. И все равно продолжаем... сходиться с ума. Но вдвоем — это так замечательно. Сходиться с ума в одиночку — вот чего я больше совершенно не могла выносить.*

*Чарли шлет всем привет и хочет, чтобы ты знал: он начал новую книгу, быть может, самую лучшую... одну из тех, для которых ты сам придумал название — «Холодный дом».*

*Так что мы пишем и ездим, ездим и пишем, Пип. Пройдет всего лишь несколько коротких лет, и мы сядем на поезд, который останавливается в твоём*

городке набрать воды. И если ты будешь там и окли-  
нешь нас именами, под которыми мы сами себя знаем,  
то мы сойдем с поезда. Но, может быть, к тому  
времени ты уже слишком повзрослеешь... Если мы не  
найдем тебя, Пип, то все пойдем, и тогда пусть поезд  
увозит нас в другие города.

Эмили Дикинсон

*Р. С. Чарли уверяет, что твой дедушка — вылитый  
Платон, только не говори ему.*

*Р. Р. С. Чарли — мой ненаглядный.*

— Чарли — мой ненаглядный, — повторил дедушка,  
присаживаясь и забирая у меня письмо, чтобы пере-  
читать. — Хорошо, — вздохнул он и убежденно повто-  
рил: — Хорошо.

Мы долго сидели на крыльце, глядя на пламене-  
ющее октябрьское небо и редкие звезды. В миле от нас  
лаяла собака. За много миль от нас, по самой линии  
горизонта двигался поезд; он свистел, приближаясь,  
потом прозвенел колокол — один удар, два, три... про-  
ехал.

— Знаешь, — сказал я, — по-моему, они не сума-  
шедшие.

— По-моему, тоже, Пип, — сказал дедушка. Он рас-  
курил трубку, задул спичку и повторил: — По-моему,  
тоже.

## СИЛАЧ

**О**на шагнула к окну маленькой кухни, выглянула во двор.

На фоне темнеющего неба четко вырисовывалась мускулистая фигура мужчины, одетого в спортивный костюм и теннисные туфли. У ног его разбросаны штанги, гантели, прыгалки, пружинные эспандеры, эластичные шнуры, чернеют чугунные гири всевозможных размеров. Он не сознает, что за ним сейчас наблюдают.

Это ее сын. Все зовут его просто «Силач».

В могучих руках мелькают маленькие пружины, свернутые спиралью. Словно иллюзионист в цирке, он заставлял их исчезать и появляться вновь. Сжал пальцы — пропали, ослабил хватку — сверкают по-прежнему, сдавил еще раз, и их опять нет...

Силач проделывал этот фокус минут десять, стоя неподвижно как статуя. Потом нагнулся, поднял стофунтовую штангу. Ровно, без натуги дыша, поработал с ней, отбросил прочь и отправился в гараж, уставленный досками для серфинга, которые он сам вырезал, клеил, отполировал, покрасил и навошил. Здесь висела боксерская груша. Силач наносил легкие, быстрые, выверенные удары по упругой коже, пока его кудрявящиеся золотистые волосы не намокли. Тут он остановился, набрал побольше воздуха в легкие, так что



мощная грудь стала просто богатырской, и застыл, закрыв глаза, любуясь собой в каком-то воображаемом зеркале: двести двадцать фунтов напряженных мускулов, загорелых, просоленных морским ветром и собственным потом.

Он медленно выдохнул. Открыл глаза. Направился в дом и прошел на кухню, даже не взглянув на пожилую женщину, копошащуюся рядом — его мать. Открыл холодильник, подставил арктическому холоду распаренное тело и, запрокинув голову, стал поглощать молоко прямо из бумажного пакета. Влив в себя целую кварту, наконец сел за стол и принялся разглядывать тыквы, приготовленные ко Дню Всех Святых.

Он ошупывал, поглаживал их, словно это были любимые зверьки. Силач купил тыквы днем и успел вырезать уже почти все. Вышло просто отлично: настоящие красотки! Он так гордился своей работой! Сейчас он с увлеченностью ребенка принялся колдовать над теми, что оставались нетронутыми.

В любом движении, — будь то могучее усилие мускулов, выталкивающее доску навстречу набегающей волне, или неуловимо плавный взмах ножа, дарующий зрение безжизненному плоду, — сквозила такая мальчишеская непринужденность, легкость и быстрота, что Силачу никто не дал бы тридцати, хотя именно столько ему уже стукнуло.

Яркий свет лампочки еще больше взъерошил растрепанные летним ветром волосы, выделил каждую черточку лица, на котором не читалось ничего, кроме всепоглощающей сосредоточенности: Силач вырезал на тыкве глаз. Казалось, в его теле нет ни грамма жира, — тугое сплетение мускулов, готовых в любой момент использовать дремлющую энергию.

Мать занималась домашними делами, тихонько переходя из комнаты в комнату. Потом встала в дверях, глядя на сына и разбросанные на столе тыквы. Она улыбалась. Все в нем так знакомо! Каждый вечер слышать глухие удары по груше, доносящиеся со двора, видеть, как он сжимает в руках стальные пружины или, кряхтя, одну за другой поднимает гири и удерживает

на странно неподвижных, словно отлитых из стали плечах... Она привыкла ко всему этому, как свыклась с неумолчным гулом океана, что накатывал на берег за домом и закрывал песок ровным блестящим покрывалом. Теперь приметой их жизни стали и разговоры сына по телефону, сводившиеся к двум стандартным ответам: девушкам — «сегодня не могу, устал», подвыпившим восемнадцатилетним приятелям — «нет-нет, ребята, нужно полировать машину или тренироваться...»

Мать кашлянула. Силач словно не услышал.

— Понравился обед?

— Ага.

— Пришлось долго выбирать вырезку. Я купила свежей спаржи.

— Все было вкусно, мам.

— Я так рада, что ты остался доволен. Мне всегда приятно, когда обед тебе по вкусу.

— Ага, — отозвался он, не прерывая работы.

— Когда вечеринка?

— В полвосьмого. — Силач закончил вырезать смеющийся рот на последней тылке и выпрямился. — На случай, если заявятся все, — может, кто и не придет, — я купил два кувшина сидра.

Он поднялся, выходя из кухни, на мгновение загородил широкими плечами дверной проем. Массивная фигура излучала спокойствие и уверенность. В полутьме спальни проделал потешную пантомиму: казалось, он не натягивает карнавальный костюм, а беззвучно борется с невидимым противником.

Через минуту Силач появился у входа в гостиную с гигантским леденцом в бело-зеленую полоску. Он был облачен в короткие черные штаны, рубашку с рюшами по вороту, наподобие тех, которые носят маленькие мальчишки, и смешную детскую шапочку. Лизнул леденец и деланно плаксивым голосом объявил:

— Я злой непослушный мальчишка!

Следившая за каждым движением сына, мать звонко рассмеялась. Под этот аккомпанемент он прошелся по комнате, старательно подражая походке малыша,

держа во рту леденец и притворяясь, будто ведет на поводке большую собаку.

— Ты сегодня будешь лучше всех! — объявила мать, раскрасневшаяся от хохота. Он тоже стал смеяться.

Зазвонил телефон.

Изображая ребенка, только начинающего ходить, Силач проковылял в спальню. Разговор получился долгим; несколько раз доносилось: «Вот дела-то», а когда все такой же невозмутимый на первый взгляд Силач вернулся, лицо его выражало упрямую непреклонность.

— Что случилось? — забеспокоилась она.

— А, половина ребят не придет. Они договорились с другими. Это Томми звонил. У него свидание с какой-то девчонкой. Черт, надо же!

— И без них народу хватит, — отозвалась мать.

— Ну, не знаю...

— Все пройдет нормально. Поезжай, сынок.

— Лучше бы я выкинул тыквы на помойку, — хмурясь, проговорил Силач.

— Ничего, отправляйся туда и повеселись хорошенько. Ты уже которую неделю никуда не выходишь.

Молчание.

Он застыл в дверях, вертя в широкой ладони гигантский, с голову, леденец. Кажется, Силач готов забыть о вечеринке и приступить к обычным вечерним занятиям. Иногда он, не щадя себя, отжимался, иногда играл сам с собой на заднем дворе в баскетбол и даже вел счет: белые против черных, поединки равных команд... Бывало, замрет на месте, вот как сейчас, а потом глядишь — нет его, исчез, и через несколько мгновений замечаешь, что он уже далеко от берега, плывет бесшумно как тюлень, рассекая воду сильными взмахами рук, освещенный сиянием полной луны. Если же только звезды нависают над землей, разглядеть его невозможно, лишь время от времени раздается тихий всплеск, когда он ныряет и долго остается под водой. Часто Силач уносился далеко в океан на своей доске для серфинга, отчищенной наждачной бумагой так, что была она гладкой и шелковистой, точно девичья кожа.

А когда возвращался, оседлав распахнувшую белую пасть волну, несущую его к берегу, огромный, одинокий, как песчинка в бескрайних просторах, когда соскакивал с зарывшейся в песок доски, то походил на пришельца из другого мира. Он обычно долго стоял потом, озаренный луной, держа отполированный до блеска кусок дерева, почему-то напоминающий надгробье без надписи.

За всю свою жизнь Силач пожертвовал лишь тремя такими вечерами ради девушки. Все началось и закончилось за неделю. Она любила поесть и при встрече всегда говорила одно и то же: «Пойдем заморим червячка», так что во время последнего свидания он подвез ее к ресторану, открыл дверцу машины, помог выйти, забрался внутрь, произнес: «Вот здесь можно заморить червячка. Пока!» — и уехал. Вернулся к привычной жизни, дальним ночным заплывам и одиночеству. Много лет спустя другая его знакомая опоздала на полчаса, потому что слишком долго собиралась, и с тех пор он с ней не разговаривал.

Перебирая все это в памяти, мать смотрела на сына.

— Не стой здесь, — вдруг нервно произнесла она. — Ты мне действуешь на нервы.

— Вот еще... — пробурчал он обиженно.

— Слышишь, что я сказала! — Но даже ей самой стало ясно, что сердитого окрика не вышло. То ли голос у нее от природы такой слабый, то ли она в глубине души просто не желала разговаривать с сыном в повышенном тоне. Так можно сетовать на ранний приход зимы; от каждого слова веет холодом одиночества. И вновь беспомощно, бессильно: — Слышишь, что я сказала...

Он отправился на кухню.

— Я так думаю, многие ребята все-таки придут.

— Конечно, придут, — с готовностью откликнулась мать, и на лицо мгновенно вернулась улыбка.

Да, улыбка никогда не покидает ее надолго. Часто после бесконечных разговоров с сыном по вечерам мать словно поднимала вместе с ним тяжеленные гири. Когда он расхаживал по комнатам, ноги ныли у нее.

А если Силач сидел, погруженный в раздумья, а это бывало нередко, она искала способ отвлечься от мрачных мыслей и частенько сжигала тосты или портила бифштекс...

Она коротко, негромко рассмеялась и сразу оборвала себя — так фальшиво получилось.

— Езжай, сынок, повеселись.

Но звуки эхом разнеслись по дому, словно здесь уже стало пусто, холодно, и надо ждать, когда он войдет и тепло вернется.

Губы шевелились будто сами по себе.

— Ну, лети! Лети...

Он подхватил сидр и тыквы, быстро отнес в машину. Та оставалась такой же новенькой и блестящей, что и год назад, ведь ею совсем не пользовались. Силач постоянно полировал ее, копался в моторе, целыми часами лежал под автомобилем, подкручивая разные железки, или, развалясь на переднем сиденье, листал статьи о здоровье и развитии мускулатуры, но ездил редко. Гордо укладывая плоды своего труда на переднее сиденье, он уже предвкушал возможность как следует повеселиться и, поддавшись настроению, изобразил неуклюжего, нелепо семяющего мальчугана, который вот-вот все уронит. Мать привычно засмеялась.

Силач лизнул нелепый леденец, вскочил в кабину. Дал задний ход, съехал с посыпанной гравием дорожки, развернулся и, не посмотрев на стоящую во дворе женщину, помчался вдоль берега вперед.

Она замерла, провожая глазами удалявшуюся машину. Леонард. Леонард, сыночек.

На часах пятнадцать минут восьмого. Было уже совсем темно. Дети, нарядившись привидениями, с криками носились по тротуарам, облаченные в развевающиеся на ветру простыни и маски, звонили в двери; раздувшиеся бумажные пакеты били их по коленкам.

Леонард!

Никто никогда не называл его так. Силач или Сэмми (уменьшительное от Самсона), Крутой, Геркулес, Атлас, но Леонард — никогда... На пляже его вечно окружали старшеклассники: уважительно щупали би-

цепсы, испытывали силу, восхищались и любовались так, словно перед ними был не человек, а новый спортивный автомобиль. А он горделиво шагал в сопровождении своей свиты.

Так повторялось из года в год. Глядевшие на него снизу вверх восемнадцатилетние становились девятнадцатилетними и приходили уже не так часто, отпраздновав двадцатилетие, появлялись совсем редко, а потом пропадали навсегда. Но на смену им неизменно приходило следующее поколение восемнадцатилетних; да, всегда появлялись новые ребята, готовые так же толпиться вокруг своего кумира на солнечном пляже. Ну а их повзрослевшие предшественники с той же неизменностью уходили куда-то, увлеченные чем-то или кем-то другим...

Леонард, мой хороший, славный мальчик!.. По субботам мы ходим в кино. Он весь день работает без напарников на высоковольтных линиях, ночью спит один в своей комнате и никогда не читает книг или газет, не слушает радио, не ставит пластинки, а в нынешнем году ему исполнится тридцать один. Когда, в какой момент произошло то, что обрекло его на такую жизнь — одиночество на работе днем, тренировки в одиночестве по вечерам? Конечно, в его жизни были женщины. Они появлялись время от времени, от случая к случаю... Маленькие, тщедушные и на редкость невзрачные все до единой, к тому же наверняка глупые, но это все-таки женщины, вернее, девушки! Впрочем, если мальчику уже за тридцать...

Мать вздохнула. Ну вот, скажем, вчера зазвонил телефон. Подошел Силач, но она могла легко угадать содержание беседы, потому что за последние двадцать лет слышала тысячи подобных разговоров.

Женский голос:

— Сэмми, это Кристина. Чем занимаешься?

Он сразу насторожился: короткие золотистые ресницы затрепетали, лоб прорезали морщинки.

— А что?

— Мы с Томом и Лу идем в кино, хочешь с нами?

— Если б еще что-то стоящее...

Она назвала фильм.

— Да ну! — Он презрительно фыркнул.

— А что, хорошая картина!

— Ничего хорошего. К тому же я еще не брился...

— Ну, пяти минут тебе хватит.

— Надо принять ванну, а это долгое дело...

Да, действительно долгое, подумала мать. Например, сегодня он мылся два часа. Причесывался раз двадцать, ерошил волосы и снова терзал их расческой, постоянно разговаривая с собой.

Женский голос в трубке:

— Ладно, как хочешь. Собираешься на пляж на этой неделе?

— В субботу.

— Значит, увидимся на пляже?

Он, скороговоркой:

— Ох нет, извини, в воскресенье.

— Хорошо, перенесем на воскресенье.

Он, еще быстрее:

— Если получится. Понимаешь, что-то не в порядке с машиной...

Она, холодно:

— Ясно... Ну пока, Самсон.

Он еще долго стоял, сжимая трубку.

Ладно, что там вспоминать. Сейчас-то мальчику весело... Вечеринка в полном разгаре, он привез с собой сидр и яблоки, целую уйму обычных яблок и тех, что на веревочках, чтобы вылавливать из воды, а еще конфеты, сладкие кукурузные — съешь их, и вспомнишь осень. Он бегает там со своим леденцом, похожий на озорного малыша, и все кричат, дуют в рожки, смеются, танцуют...

В восемь, в полдевятого и еще через полчаса она открывала затянутую сеткой дверь и выглядывала на улицу, почти убедив себя, что слышит шум вечеринки, бодряще-неистовые звуки буйного веселья, что подхватил свежий ветер и, промчавшись через все темное побережье, принес сюда. Ей захотелось самой перенестись в маленький домик на пирсе, нависший над волнами, где сейчас рябит в глазах от пестрых маскарад-

ных нарядов, где повсюду сияют безжизненной улыбкой тыквы, такие же непохожие одна на другую, как и люди, где обедаются воздушной кукурузой, выбирают лучший костюм или маску, где...

Раскрасневшаяся от возбуждения, мать стиснула дверную ручку и вдруг обратила внимание, что дети больше не ходят от дома к дому. Праздник закончился — во всяком случае, для соседских ребятшек.

Она прошла к задней двери и оглядела двор.

Всюду царила какая-то неестественная тишина. Неуютно было здесь без знакомого стука баскетбольного мяча по гравии, размеренного уханья и поскрипывания боксерской груши под градом ударов или негромкого клацанья ручных эспандеров.

Что, если сегодня ее мальчик найдет себе какую-нибудь юбку и просто не вернется, никогда больше не вернется домой? Ни звонка, ни письма, вот как все может обернуться... Ни единого слова. Просто уедет и больше никогда не вернется домой. Что тогда? Что делать тогда?

Нет! Нет там никого подходящего для ее Леонарда. Вообще нигде нет. Есть только наш дом. Только наш дом, и больше ничего.

И все же у нее так сильно забилося сердце, что пришлось присесть.

Дул легкий ветер с моря.

Она включила радио, но ничего не услышала.

Сейчас, подумала мать, им уже нечем заняться, разве что игрой в жмурки. Да, правильно, в жмурки, а потом...

Она ахнула и вскочила со стула.

В окно полыхнул слепящий свет.

Из-под колес пулеметной очереди полетел гравий. Машина с ходу затормозила и замерла с включенным мотором. Фары погасли, но мотор продолжал работать. Потом стих, снова взревел, снова стих...

На переднем сиденье она с трудом разглядела неподвижную фигуру. Он сидел в кабине, уставившись прямо перед собой.



— Ты... — Мать не закончила и поспешила к задней двери. Губы сами собой раздвинулись в улыбке, но она стерла ее с лица. Сердце успокоилось и билось ровно. Она деланно нахмурилась.

Он выключил мотор. Вышел из машины и зашвырнул тыквы в мусорный бак. Грохнула крышка.

— Что случилось? Почему ты так рано вернулся?

— Ничего. — Силач протиснулся мимо матери, держа в руках два непечатых кувшина с сидром. Поставил их на раковину.

— Сейчас еще нет и десяти...

— Знаю. — Он ушел в темную спальню и уселся там.

Мать выждала пять минут. Она всегда так делала. Сыну хочется, чтобы она сама пришла к нему с расспросами, иначе он будет злиться. Поэтому, помедлив немного, она заглянула в комнату.

— Расскажешь, что стряслось?

— А, они просто торчали там и не хотели ничем заняться. Просто топтались без толку, как дураки какие!

— Вот неудача-то.

— Топтались там как тупые, несчастные, безголовые дураки!

— Ох ты, как нескладно получилось.

— Я хотел расшевелить их, но они просто топтались на месте без толку. Пришло всего восемь, восемь из двадцати, всего восемь, и только я один в маскарадном костюме. Говорю тебе, один-единственный! Дурачье, какое дурачье...

— И это после всех хлопот...

— Они притащили своих девчонок, и те тоже стояли и ни черта не делали. Никаких там игр, ничего! Некоторые ушли с подружками, — произнес Силач, укрытый темнотой, не глядя на мать. — Ушли на пляж и не вернулись. Вот честное слово! — Он встал и прислонился к стене, такой огромный, нелепый в шутовских коротких штанишках. Наверное, забыл, что на голову еще напялена детская шапочка, и тут внезапно вспомнил, сорвал ее и швырнул на пол. — Я пробовал расшевелить их, играл с плюшевой собачкой и еще всякие

штуки делал, но никто и с места не сдвинулся. Я чувствовал себя дураком в этом костюме, ведь я один был такой, все остальные одеты по-нормальному, и только восемь из двадцати, да и те почти все разошлись через полчаса. Пришла Ви. Она тоже хотела увести меня гулять по пляжу. К тому времени я уже разозлился. Здорово разозлился. Нет уж, говорю, спасибо! И вот вернулся. Можешь взять леденец-то. Куда это я его девал? Вылей сидр в раковину или выпей, мне все равно.

Пока он говорил, мать не шевельнула ни одним мускулом. Как только закончил, открыла было рот...

Звонок.

— Если это они, меня нет.

— Лучше все-таки ответить.

Он схватил телефон, сорвал трубку.

— Сэмми? — отчетливый, громкий, высокий голос. Голос восемнадцатилетки. Силач держал трубку на расстоянии, сердито уставясь на нее. — Это ты, Сэмми?

Он в ответ лишь хмыкнул.

— Боб говорит. — Юноша на другом конце провода заторопился. — Хорошо, что застал тебя! Слушай, как насчет завтрашней игры?

— Какой еще игры?

— Какой игры?! Господи! Ты, наверное, шутишь, да? «Нотр-Дам» против «Футбольного клуба»!

— А-а, футбол...

— Что значит: «А-а, футбол...» Сам же расписывал, подбивал идти, сам говорил...

— Футбол отменяется. — Он уставился перед собой, не замечая ни трубки, ни стоящей поблизости женщины, ни стены.

— Значит, не пойдешь? Силач, без тебя это будет не игра!

— Надо полить газон, вымыть машину...

— Да подождет это все до воскресенья!

— А потом еще вроде бы должен приехать дядя навестить меня. Пока.

Он положил трубку и прошел мимо матери во двор. Укладываясь спать, она слышала, как он там возится.

Силач терзал грушу до трех утра. Три часа, а раньше всегда заканчивал в двенадцать, думала мать, прислушиваясь к глухим ударам.

Через полчаса он вернулся в дом.

Звуки шагов становились все громче, потом внезапно смолкли. Он добрался до ее спальни и стоял у двери.

Силач не шелохнулся. Мать отчетливо слышала его дыхание. Ей почему-то казалось, что на нем по-прежнему детский костюмчик, но убедиться в этом совсем не хотелось.

После долгой паузы дверь медленно открылась.

Он вошел и лег на кровать рядом, не касаясь ее. Она сделала вид, что спит.

Он лежал на спине, неподвижный как труп.

Она не могла его видеть, но почувствовала, как вдруг затряслась кровать, словно он смеялся. Трудно сказать точно, ведь при этом он не издал ни звука.

А потом раздалось мерное поскрипывание маленьких стальных пружин. Они сжимались и распрямлялись в его могучих кулаках. Сжимались — распрямлялись, сжимались — распрямлялись...

Хотелось вскочить и крикнуть, чтобы он бросил эту ужасную лязгающую мерзость, хотелось выбить их из его пальцев!

Но чем он тогда займет руки? Что он будет в них сжимать? Да, чем он займет руки, когда бросит пружины?

Поэтому ей оставалось одно: затаить дыхание, зажмуриться и, напряженно вслушиваясь, молиться про себя: «О Господи, пусть так и будет, пусть он и дальше сжимает свои железные пружины, пусть он их сжимает, пусть не останавливается, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы он не останавливался, пусть не останавливается, пусть...»

А до рассвета было еще далеко.

## ЧЕЛОВЕК В РУБАШКЕ РОРШАХА\*

**Б**рокау.  
Что за фамилия!

Послушайте: она лает, рычит, повизгивает, нагло заявляя о себе:

Иммануил Брокау!

Ничего не скажешь — звучит! Очень подходящее имя для выдающегося психиатра из числа тех, что долгое время бороздили воды вселенского океана, но ни разу не потерпели крушения.

Быстро перелистайте труды Фрейда, точно перцем приправленные выдержками из историй болезни его пациентов, и все студенты разом чихнут:

Брокау!

Так что же все-таки с ним случилось?

Однажды он, точно герой первоклассного водевиля, взял да и исчез.

И стоило выключить театральный прожектор, как все сотворенные доктором Брокау чудеса разом померкли. Психически неустойчивые кролики норовили снова спрятаться в цилиндр фокусника. Дым от выстрела

---

The Man in a Rorschach Shirt  
© И. Тогоева, перевод, 1997

\* Герман Роршах (1884—1922) — швейцарский психиатр, изобретатель знаменитого теста Роршаха, выявляющего некие глубинные свойства человеческой личности в зависимости от ассоциаций, которые вызывают у индивидуума очертания чернильных клякс.

всасывался обратно в дуло ружья. Все мы ждали, что будет дальше.

Десять лет о докторе Брокау никто ничего не знал. И мы уже почти перестали надеяться.

Брокау пропал, точно канул — с шутками и раскатистым хохотом — в бездны Атлантики. Чего ради? Чтобы отыскать там Моби Дика? Чтобы заняться с ним психоанализом и выяснить, что этот дьявол-альбинос на самом деле имел против безумца Ахава?

Кто знает?

В последний раз я видел Брокау, когда он бежал в сумерках по летному полю к самолету, а провожавшая его жена и шесть таяквших шпицев смотрели ему вслед.

— Прощайте навсегда!

Его веселый крик показался мне шуткой. Однако уже на следующий день я обнаружил, что с двери в его кабинет содрали табличку с именем, а медицинские кушетки, раздавленные пациентками, главным образом пожилыми толстухами, выставили прямо под дождь — их должны были увезти и продать с аукциона где-нибудь на Третьей авеню.

Итак, этот гигант мысли, как бы одновременно являвший собой Ганди, Моисея, Христа, Будду и Фрейда, теории которых плотными слоями лежали в его душе, точно геологические пласты в горной армянской пустыне, бесследно исчез, будто просочился меж облаками и растворился в небесной синеве. Чтобы умереть? Или чтобы жить тайно?

Прошло десять лет. Как-то я ехал на автобусе по прелестному калифорнийскому побережью близ Нью-порта. На остановке в автобус сел какой-то мужчина лет семидесяти, который ссыпал мелочь в кассу с таким видом, точно это была манна небесная. Я вскинул голову, посмотрел на него со своего заднего сиденья и обомлел:

— Брокау! Клянусь всеми святыми!

Да, это был он. То ли в ореоле святости, то ли так и не ставший святым, он возвышался в проходе, как видение бога Саваофа, бородатый, благодущный эру-

дит, похожий отчего-то на архиерея, веселый и все понимающий, все способный простить, этаким мессия и одновременно университетский наставник, вечный и неизменный...

Иммануил Брокау.

Но отнюдь не в темном строгом костюме, о нет!

Теперь он был одет, точнее, гордо облачен, словно принадлежал некоей новой церкви, вот во что:

Шорты-бермуды. Черные кожаные мексиканские сандалии. Бейсбольная шапочка с эмблемой популярной лос-анджелесской команды. Французские темные очки. И...

Вот это рубашка! Господи! Что за рубашка!

Это было нечто совершенно невообразимое! На ней цвели и переплетались лианы и ветки кустарников, а фоном им служили расплывшиеся, точно карнавальный фейерверк, крупные и мелкие пятна и кляксы самых ярких и разнообразных оттенков; а в зарослях виднелись еще и бесчисленные изображения мифологических чудовищ, и какие-то символы...

Рубашка была с отложным воротником, очень свободная и болталась на своем владельце, переливаясь всеми цветами радуги, точно тысяча флажков с парада Объединенных, однако совершенно Обезумевших Наций.

Но вот доктор Брокау сдвинул на затылок свою бейсбольную шапочку, снял французские очки, выискивая свободное местечко, и медленно двинулся по проходу, время от времени слегка поворачиваясь, останавливаясь, наклоняясь к пассажирам и что-то шепча — то мужчине, то женщине, то ребенку.

Я хотел было его окликнуть, но вдруг услышал, как он спрашивает:

— Ну, и что ты здесь видишь?

Малыш, совершенно потрясенный клоунским нарядом незнакомого старика, непонимающе заморгал, надеясь на подсказку, и доктор тут же ему помог:

— Да на моей рубашке, сынок! Что на ней, как по-твоему?

— Лошадки! — не задумываясь, выпалил ребенок. — Танцующие лошадки!

— Bravo! — Доктор одарил его лучезарной улыбкой, потрепал по щечке и двинулся дальше. — А вы, сэр?

Молодой человек, совершенно обескураженный тем, с какой бесцеремонностью этот человек вторгся в его мечты о лете, проямлил:

— Как?.. Ну... облака, конечно.

— Кучевые или дождевые?

— Э-э... нет, пожалуй, это не грозовые тучи, а такие, знаете, кудрявые, похожие на белых овечек...

— Неплохо!

Психиатр двинулся дальше.

— Мадемуазель? Вы что-нибудь видите здесь?

— Прибой! — Девочка-подросток серьезно и внимательно смотрела на него. — Громадные волны! И на них — любители серфинга. Класс!

Доктор продолжал неторопливо идти по проходу, и уже кое-где слышался смех, становившийся все заразительнее, все громче, и старик с «грозным» видом оборачивался в сторону смеявшихся «наглецов». Теперь уже по крайней мере человек десять слышали первые ответы и включились в игру. Одна женщина умудрилась увидеть на рубашке небоскребы! Доктор изумленно уставился на нее. И подмигнул. Мужчина с нею рядом разглядел среди лиан кроссворды. Доктор с уважением пожал ему руку. Сидевший чуть дальше ребенок увидел зебр на фоне дикой африканской растительности — зебры, по его словам, были как живые; когда доктор хлопнул в ладоши, животные умчались прочь. А старушка увидела неясные лики Адама и Евы, изгоняемых из окутанных туманом райских кущ. Доктор даже на минутку присел с нею рядом, и они о чем-то побеседовали яростным шепотом; в итоге доктор вскочил и решительно двинулся дальше. Не знаю, действительно ли старуха видела Изгнание из Рая? Зато моя молодая соседка уверяла, что видит, как знаменитую парочку приглашают обратно!

Собаки, молнии, кошки, автомобили, грибовидные облака и кровожадные тигровые лилии!..

Каждый новый участник игры своим ответом вызывал все больший энтузиазм. Мы вдруг обнаружили, что смеемся. Этот замечательный старик был просто неиссякаемым источником хэппенинга, капризом природы, проявлением неумолимой воли Господней, согласно которой нас, разобщенных, точно сшивали в единое целое.

Слоны! Кабины лифтов! Набатные колокола! День Страшного Суда!

Когда доктор садился в автобус, нам абсолютно ничего друг от друга не было нужно. Но теперь!.. Словно прошел невероятный снегопад, и невозможно было не говорить о нем, или из-за внезапного перепада в напряжении разом сгорели два миллиона домов, и это событие объединило нас, обездоленных, заставив болтать друг с другом, смеяться и даже хохотать до слез, и мы чувствовали, как эти слезы очищают нам души и лица.

Каждый ответ казался смешнее предыдущих, но громче всех восхищался и прямо-таки скисал от смеха сам доктор Брокау, великий ученый, старый высокий человек, удивительный целитель, который задавал вопросы, получал на них ответы и этим избавлял любого от того клубка тайных и мучительных противоречий и тревог, что таился внутри. Киты. Бурые водоросли. Покрытые травами луга. Исчезнувшие города. Прекрасные женщины... Он останавливался. Поворачивался к собеседнику. Присаживался рядом. Снова вскакивал. Пестрая рубашка хлопала, как парус. Наконец он воздвигся прямо передо мной:

— Ну а вы что видите, сэр?

— Разумеется, доктора Брокау!

Его смех оборвался, как от выстрела. Он снял черные очки, потом снова нацепил их и схватил меня за плечи, желая получше рассмотреть.

— Саймон Винклаус, вы ли это?

— Я, я! Господи, доктор, я думал, вы давным-давно умерли и похоронены. Чем это вы занимаетесь?



— Занимаюсь? — Он дружески жал мне руку, нежно поглаживал меня по плечу и даже по щеке, потом оглядел себя и с извиняющимся видом забавно фыркнул. — Занимаюсь? Ничем не занимаюсь — я на пенсии. Взял да и ушел. И через день оказался за три тысячи миль от того места, где вы видели меня в последний раз... — Его пахнувшее мятой теплое дыхание коснулось моего лица. — Теперь я здесь известен прежде всего как... нет, вы только послушайте!.. как человек в рубашке Роршаха!

— В чем? В какой рубашке? — Я был потрясен.

— В рубашке Роршаха.

Яркий, похожий на залетевший с карнавала воздушный шарик, он легко опустился на сиденье со мною рядом.

Я ошеломленно молчал.

Мы ехали по берегу синего моря, над головой сияло летнее небо.

Доктор смотрел вперед, но словно читал мои мысли, написанные на небесных скрижалях меж облаков.

— Вы спросите почему? С чего вдруг? Я все еще вижу перед собой ваше удивленное донельзя лицо, когда много лет назад мы встретились на летном поле. В тот самый день, когда я уезжал навсегда. Мой самолет следовало бы назвать «Счастливый Титаник». На нем я навеки бесследно канул в бездонную голубизну небес. И все же вот он я, во плоти! Не пьяница, не безумец, не жалкий старикашка-пенсионер, высохший от скуки. Где же я был? Что? Почему? Каким образом?

— Да, — сказал я, — действительно, почему же вы все-таки — при таком удачном раскладе — внезапно ушли на пенсию? У вас было все — мастерство, репутация, деньги. Ни намек на...

— Скандал? Ни единого! Но тогда почему же, спросите вы? Да потому, что у меня, старого верблюда, сломался не один горб, а сразу целых два! Было две соломинки. И непростые. Удивительные! Итак, горб номер один...

Он помолчал. Искося глянул на меня из-под черных очков.

— Можете говорить, как на исповеди, доктор, — успокоил я его. — Клянусь, я буду молчать.

— Как на исповеди? Это хорошо. Что ж, спасибо... Автобус легонько тряхнуло.

Голос доктора тоже дрогнул было и тут же зазвучал как обычно.

— Вы, наверно, помните мою фотографическую память? Я и благословлял, и проклинал ее, ибо помнил абсолютно все. Все, что когда-либо говорил, видел или делал сам, все, чего касался или слышал — все мгновенно усваивалось мною и оседало в памяти навек; все это я мог вспомнить или воспроизвести и через сорок, и через пятьдесят, и через шестьдесят лет. Все, все застревало вот здесь, точно попав в ловушку. — Он легонько коснулся висков кончиками пальцев. — Сотни психических больных, день за днем, год за годом — и ни разу не пришлось мне проверять что-либо по записям в медицинских картах! Я довольно скоро понял, что мне достаточно всего лишь включить свою память «на перемотку». Разумеется, истории болезни я вел и тщательно хранил, но никогда в них не заглядывал. Не слушал магнитофонные записи бесед с пациентами. Ну, вот вам и пролог для последующих событий и моих, всех кругом шокировавших, поступков.

В один прекрасный день на шестидесятом году жизни я услышал от своей пациентки некое слово и попросил ее повторить. Почему? Неожиданно я почувствовал, что мои полукружные каналы как бы расширились, в них словно открылись под давлением свежего холодного воздуха невидимые шлюзы. «...И верил», — сказала та женщина. «Я думал, вы сказали “зверя”», — удивился я. «О нет, доктор, “верил”!»

Всего одно слово. Один-единственный камешек, упавший с края в бездну, но повлекший за собой лавину! Ибо я совершенно отчетливо слышал, как она сказала: «Он любил во мне зверя» — обычная «пикантная» история из области секса, не правда ли? Тогда как на

самом деле она сказала: «Он любил меня и верил», — а это, как вы сами понимаете, совсем другой коленкор.

В ту ночь я не мог уснуть. Я курил, смотрел в окно. Голова и слух были какими-то удивительно ясными, словно я наконец избавился от насморка, не проходившего лет тридцать. Я сомневался в себе самом, в своем прошлом, в собственных чувствах и ощущениях; часа в три ночи, окончательно запутавшись, я помчался в клинику — и, разумеется, обнаружил там то, что оказалось хуже всего.

То, что было занесено в истории болезни моей секретаршей — а медицинских карт было сотни! — совершенно не совпадало с тем, что хранилось у меня в голове!

— То есть...

— То есть, когда я слышал «зверя», на самом деле это было «верил»! «Зов» превратился в «зоб». «Лоб» звучал для меня как «гроб» и наоборот. Я слышал «кыш!», хотя кто-то говорил «мышь». «Лапу» я воспринимал как «шляпу», а «лень» — как «день». В слове «да» мне слышалась «беда», а в слове «нет» — «привет» или даже «омлет». «Запор» превращался в «забор» или «набор», «зуб» — в «дуб», «черт» — в «корт»... Короче, что ни назови, все я слышал неправильно. Десятки, сотни миллионов неверно услышанных слов! Я весь похолодел от ужаса, меня трясло! Боже мой! Великий и милосердный! Что же это такое? Поистине я стал игрушкой в руках Судьбы.

Столько лет практики! Столько пациентов! Господи, Брокау, восклицал я, захлебываясь от рыданий, ты же подобен Моисею, настолько давно спустившемуся с горы Сион, что слово Божье стало звучать в ушах его не громче писка блохи. И теперь, на склоне дней, постаревший и умудренный, ты пожелал, как и Моисей, перечесть то, что молнией написано было на священных скрижалях, и обнаружил: написано там нечто совсем иное, чем помнится тебе!

И тогда этот отчаявшийся Моисей оставил все свои посты и бежал в ночь. Хорошо понимая причину своего отчаяния, я сел в поезд и поехал в Фар-Рокавей — возможно, из-за печального отзвука в этом названии, напоминавшего мне о каменистой пустыне.

Я шел по берегу реки, слушая плеск беспокойной воды и грохот приближавшейся грозы, и в душе у меня тоже безумствовала буря. Как, яростно спрашивал я себя, как мог ты жить наполовину глухим и даже не замечать этого?! Ты и узнал-то об этом сейчас только потому, что — исключительно по воле случая! — слух, этот дар Божий, вернулся к тебе! Как же ты мог быть таким беспечным?

Единственным ответом мне был страшный раскат грома над песчаными дюнами.

Ну вот и все о том, какова была та соломинка, что сломала первый горб на спине дурацкого верблюда в человечьем обличье.

Некоторое время мы оба молчали.

Автобус, покачиваясь, катился по золотившейся в лучах солнца прибрежной дороге; в окна залетал легкий ветерок.

— А вторая соломинка? — наконец решился тихонько напомнить я.

Доктор Брокау задрал на лоб свои темные французские очки-поляроиды, и солнечные зайчики, отражаясь от стекол, запрыгали по темноватому салону автобуса. Мы оба молчали, глядя на вспыхивавшие крошечные радуги — вид у доктора был сперва отрешенный, потом во взгляде его мелькнуло восхищение и наконец нечто похожее на озабоченность.

— Зрение! Проницательность! Способность увидеть текстуру, разглядеть мельчайшие детали! Разве это не чудо? Разве не достойно восхищения? Да, именно восхищения! А что это, в сущности, такое — зрение, проницательность, интуиция? Да и действительно ли мы так уж хотим увидеть и познать наш мир?

— Еще бы! — воскликнул я.

— Типичный и весьма необдуманный ответ юнца. Нет, дорогой мой мальчик, мы этого вовсе не хотим! В двадцать лет — да, пожалуй, мы действительно думаем, что хорошо бы все на свете увидеть, примерить на себя, попробовать. Так и я считал когда-то. Однако у меня с раннего детства было слабое зрение, и я вечно «привыкал» к очередным очкам, прописанным мне окулистом. Просто смешно! И вот наступило время контактных линз. Слава Богу, решил я, наконец-то мои глаза смогут видеть как полагается благодаря этим чудесным штучкам, прозрачным точно слеза! И тут вдруг... Но что это было? Может, случай психосоматического заболевания? Недели не прошло как я вставил контактные линзы, а у меня вдруг существенно улучшился... слух! Уши мои совершенно прочистились! Нет, здесь, конечно, без психосоматики не обошлось... Однако не вынуждайте меня высказывать вслух несформировавшуюся еще гипотезу, мой друг!

Я уверен в одном: стоило вставить крохотные прозрачные стеклышки в мои близорукие, младенчески голубые глаза — и передо мной раскрылся целый мир!

И в нем — люди!

И на них — Господи, спаси и помилуй! — всякая грязь. И чудовищное количество пор!

Саймон, вам когда-нибудь приходило в голову, что люди, по большей части, состоят именно из пор? — Доктор печально прикрыл глаза, давая мне время прочувствовать его вопрос. Я задумался.

— Из пор? — растерянно выдавил я наконец.

— Именно! Но кому это важно? Кому это надо — рассматривать какие-то поры? К сожалению, я — со своим восстановленным зрением — видел их прекрасно! Тысячу, миллион, десять миллиардов... Поры! Крупные, мелкие, бледные, багровые... У каждого — на лице, на руках... Толпы людей шли мимо. Собирались на автобусных остановках. В театрах. У телефонных будок. И все это были сплошные поры и совсем немного реальной плоти! Мелкие поры у миниатюрных женщин. Очень крупные у мужчин-великанов. Или наобо-

рот. Такое множество пор, что казалось, они пляшут вокруг меня, точно пылинки в солнечных лучах, проникающих на закате сквозь узкие окна церкви. Поры! Они целиком захватили мое воображение. Я смотрел на красивых женщин, а видел не прекрасные глаза, не сочные губы, не изящный изгиб ушка... я видел поры! Разве не лучше было бы мне, мужчине, интересоваться тем, как движутся тонкие, хрупкие женские кости внутри покрытой нежной бархатистой кожей плоти? Разумеется, да! Но я видел лишь кожу — точнее, поры в ней, похожие на дырки в сыре или кухонное сито. Красота сникла и превратилась в гротеск. Переводя взгляд с одного предмета на другой, я словно двигал окуляры двухсотдюймового телескопа, помещенного в мою проклятую башку! Куда бы я ни посмотрел, везде я видел изрытую порами, точно лунными кратерами, человеческую кожу. Причем чудовищно близко!

А моя собственная физиономия? Господи, обычное утреннее бритье превратилось в изощренную пытку! Я просто глаз не мог оторвать от зеркала — моя кожа напоминала мне поле битвы, покрытое воронками от снарядов. «Черт тебя поberi, Иммануил Брокау! — шептал я. — Твоя кожа напоминает Гранд-Каньон в лучах яркого солнца, или кожуру апельсина, или очищенный от шкурки гранат...»

В общем, благодаря контактными линзами я снова почувствовал себя пятнадцатилетним подростком — то есть меня снова стали терзать бесконечные сомнения, я буквально распиная себя на кресте, невыносимо страдая от ужаса и ощущения полнейшей собственной неполноценности. Самый кошмарный возраст! Неужели теперь прыщавый призрак моего отрочества вновь вернулся, чтобы преследовать меня?

Я проводил ночи без сна, ощущая себя жалкой развалиной. Боже мой, второе отрочество! Господь милосердный, сжался надо мной! Как же я мог быть так слеп всю свою жизнь? Да, я был слеп и понимал это, но всегда мне казалось, что хорошее зрение не так уж и важно. Так я ползал по этому миру, точно похотливый

очкарик-слепец, по близорукости своей не замечая ни у других, ни у себя самого пор и прыщей, зияющих ран и горьких слез. Но теперь реальная действительность решительно выгнала меня на улицу из моего жалкого убежища, и на лице этой действительности я прежде всего увидел поры!

Я поспешил зажмуриться и на несколько дней завалился в постель. Отлежавшись, я сел на постели и провозгласил с широко открытыми глазами: реальная действительность — это еще не все! Не нужны мне такие знания! Я ввожу в действие закон против пор! И принимаю на вооружение те истины, которые чувствую интуитивно или могу подстроить под себя.

Я продал свои глаза.

То есть отдал контактные линзы племяннику, малолетнему садисту, обожавшему всякую дрянь и водившемуся с разными подонками.

И вернулся к своим привычным, уже опять ставшим слабоватыми для меня очкам и прежнему туманному миру сладких грез и нежных видений. Я видел вполне достаточно, но не слишком много. Я обнаружил, что снова способен любить окружавших меня людей-призраков. Я снова видел в зеркале себя «настоящего» и уже вполне мог не только спать спокойно, но даже и нравиться себе, воспринимая собственное лицо как старого доброго приятеля. Я мог смеяться хоть каждый день, настолько я снова был счастлив! Сперва я смеялся негромко. А потом научился и хохотать вовсю.

Ах, Саймон, какая злая шутка — эта наша жизнь!

Тщеславие, и только оно одно заставляет нас покупать контактные линзы, благодаря которым можно увидеть все — и все потерять!

Зато, добровольно расставшись всего лишь с небольшой частичкой того, что называют «мудростью», «реальной действительностью», «истиной», можно вновь ощутить всю полноту жизни! Разве кто-нибудь этого не знает? Писатели-то уж, во всяком случае, знали об этом всегда! Всем известно, что написанные исключительно благодаря вдохновению и интуиции романы

порой куда «правдивее» стенографически точных репортажей с указаниями места и времени событий. Да и значат они для человечества куда больше!

И тут наконец мне пришлось-таки посмотреть правде в глаза. Меня мучили две взаимосвязанные, как оказалось, проблемы: мое слабое зрение и мой никуда не годный слух. Боже, шептал я про себя, тысячи людей прошли через мой кабинет, со скрипом ложились на кушетку и ждали, точно в пещере Дельфийского Оракула, когда же послышится эхо моих пророчеств. Ну почему, почему все так нелепо? Я же никого из своих пациентов как следует не видел и не слышал!

Кто на самом деле была эта мисс Харботтл?

А что я могу сказать о старом Динсмьюре?

А как в действительности выглядела мисс Гримс? Какого цвета были у нее волосы? И какой размер одежды она носила?

И правда ли, что миссис Скрепуайт была похожа — как внешне, так и шелестящим голосом — на древнюю египетскую мумию, выпавшую из своих лохмотьев прямо у меня на смотровом столе?

Я даже догадываться ни о чем не мог. Две тысячи дней тумана отделяли от меня моих утраченных теперь детей — их веселые голоса сперва окликали меня откуда-то издали, а потом умолкли совсем.

Боже мой, я же слонялся по рыночной площади, не замечая, что на груди у меня табличка: «Слеп и глух», и люди спешили бросить в мою нищенскую плошку горсть мелочи, расталкивая тех, кто уже излечился с моей помощью. Излечился! Вот уж действительно чудо! Ничего себе лекарь — старая развалина без руки, без ноги! Но что, что именно я говорил своим пациентам? Каким образом ставил правильный диагноз, если ничего не мог толком расслышать? Да и кто они такие, в самом деле? Каковы они в действительности? Этого я никогда не узнаю.

И тогда я решил: в городе по крайней мере сотня психиатров, которые видят и слышат куда лучше меня, однако даже их пациенты вдруг начинают купаться в



море голышом, или ни с того ни с сего посреди игры покидают спортплощадку, или скручивают ни в чем не повинных женщин по рукам и ногам и любят содеянным, преспокойно раскуривая сигару.

Приходилось признать: карьера моя несомненно удалась.

Но ведь даже в сказке, как известно, «битый небитого везет». Битый просто не может везти битого! Как и слепой, да к тому же хромым не может исцелить хромого, да к тому же слепого.

Так кричал мой разум, однако какой-то наглый голосишко из дальнего уголка моей души отвечал ему с издевкой: порой пчелиный воск может оказаться крепче бычьих рогов! Ты, Иммануил Брокау, точно фарфоровый гений — весь в трещинах от старости, но все равно великолепен. Твои замутненные глаза видят что-то недоступное прочим, твои забитые пробками уши слышат неслышимое. Ты лечишь, пользуясь своими несовершенными органами чувств, на неподвластном разуму уровне! Bravo!

Но нет, не мог я жить как и прежде со столь полноценной неполноценностью! Не мог я долее хранить с самодовольным видом свою тайну, позволявшую мне морочить людям голову, и продолжать играть роль доктора Айболита, что лечит всех тварей земных подряд!

Что ж, мне было из чего выбирать. Например, снова вставить контактные линзы. Или купить слуховой аппарат, чтобы помочь моему и без того быстро восстанавливавшемуся слуху. А что потом? А потом я бы обнаружил, что начисто утратил свое «шестое чувство», так помогавшее мне и так удачно сочетавшееся с плохим зрением и слабым слухом в течение тридцати лет моей врачебной практики. Да я бы полностью потерял себя — что было бы ужасно не только для меня, целителя, но прежде всего для моих пациентов.

С другой стороны, как работать, оставаясь слепым и глухим? Это же чудовищный обман, хотя все мои

записи в полном порядке — чистые, свежие, отутюженные, только что из прачечной!..

И я решил выйти на пенсию.

Сложил вещички и сбежал в пронизанную солнцем, золотистую, неведомую даль, решив, что пусть лучше уши мои совсем закупорит загадочными восковыми затычками...

Наш автобус по-прежнему ехал вдоль побережья. День был теплый. Легкие облачка порой скрывали солнце, и тогда их тени пробегали по пляжам и по телам купальщиков, растянувшихся на песке под разноцветными зонтами.

Я прокашлялся.

— Доктор, неужели вы больше никогда не захотите лечить людей?

— Но я и теперь их лечу!

— Вот как? А только что вы сказали...

— О, разумеется, неофициально, не имея собственного кабинета, не получая гонораров — нет, этого больше не будет никогда! — Доктор тихонько засмеялся. — Я по-прежнему не могу понять, как умудрился вылечить столько людей практически «наложением рук» — особенно если учесть, что руки у меня, если можно так выразиться, были «по локоть отрублены». Впрочем, мои «руки» и теперь при мне: я по-прежнему пользуюсь своими загадочными способностями.

— Каким же образом?

— С помощью этой вот рубашки. Вы же сами видели. И слышали.

— Как вы разговаривали с пассажирами?

— Именно. Посмотрите — какая расцветка, какое буйство красок! Мужчина, скажем, увидит в этой пестроте одно, а юная девушка — совсем другое. А этот малыш — третье. Зебры, козы, молнии, египетские амулеты... Что, что, что это такое? — спрашиваю я. И мне отвечают, отвечают, отвечают... Словом, я человек в рубашке Роршаха.

У меня дома дюжина таких рубашек.

Всевозможных расцветок, самых невероятных. С потрясающими рисунками. Одну из них специально для меня успел еще создать гениальный Джексон Поллак. Я ношу их по очереди — иногда один день, иногда неделю, в зависимости от того, многие ли и достаточно ли быстро и вдохновенно отвечают на мои вопросы. Потом я снимаю одну рубашку и надеваю новую. Десять миллиардов изумленных взглядов, десять миллиардов неожиданных ответов!

Да, я запросто мог бы продать такую рубашку вашему психоаналитику, приехавшему сюда в отпуск. Чтобы он тестировал ваших друзей. Или действовал на нервы вашим соседям. Или смешил вашу жену. Но нет! Это исключено, это мое личное и самое любимое развлечение! Я не стану делить его ни с кем! Я, мои рубашки, залитые солнцем пляжи, этот вот автобус и еще — тысяча солнечных дней впереди! Меня ждут пациенты.

Итак, я брожу по берегу — странно, но в этих местах не бывает зимы! Удивительно, но здесь, по-моему, не бывает и «зимы тревоги нашей» и даже смерть кажется совершенно невероятной, всего лишь пустым слухом, стоит зайти за дюны. Я иду куда и когда захочу, встречаюсь с разными людьми, и моя рубашка хлопает на ветру, как парус. Могу пойти на север или на юг, а может, сверну к юго-западу, и повсюду в ответ на мои вопросы у людей изумленно открываются глаза и они смотрят на меня — кто рассеянно, кто злобно, кто весело подмигивая, кто с трудом выговаривая слова от смущения. Но стоит кому-то одному сказать хотя бы слово насчет того, что он видит среди пересекающихся линий и пестрых клякс, как я умолкаю и останавливаюсь. Порой мы с этим человеком некоторое время беседуем. Иногда я даже иду вместе со всей его компанией купаться. И наши тела рассекают водную гладь — как я своими разговорами рассекаю души. Мы можем брести по берегу часами, особенно если погода хороша. Я редко провожу в одной и той же компании более одного дня, так что люди, не зная, с кем они идут

рядом, свободны от каких бы то ни было условностей. Они мне ничем не обязаны. И говорят, что хотят. И все они невольно становятся моими пациентами! А потом они идут дальше по окутанному вечерними сумерками берегу, навстречу завтрашнему ясному дню, а я остаюсь позади, глухой и слепой старый человек, и машу им вслед рукой, желая счастливого пути, а потом отправляюсь домой и с удовольствием ужинаю, чувствуя, что сделал свою работу хорошо.

Но иногда я встречаю на пляже какую-нибудь наполовину уснувшую душу. Из такого человека не так-то просто вытащить его тревоги и уничтожить их при ярком солнечном свете. Одного дня на это не хватит. Ну что ж, мы, как бы случайно, встречаемся снова — через неделю — и бродим по кромке прибоя, беспечно болтая или, напротив, рассказывая о себе нечто сокровенное. И я на ходу выслушиваю исповедь человека задолго до того, как за него возьмутся тупые священники, как его одолеют слухи и собственные тяжкие сожаления. Самое ведь обычное дело — друзья гуляют, разговаривают, слушают друг друга и уже тем самым излечивают себя, раскрывая другому тайну своих сомнений и печалей. Хорошие друзья должны делиться друг с другом бедами, должны «дарить» друг другу собственные страхи и уныние. Только так они могут от этого избавиться.

Мусор скапливается не только на лужайках и пляжах, но и в душах. С помощью всего лишь яркой рубашки и примитивной палки с гвоздиком на конце для сбора мусора я каждый день на рассвете начинаю... чистить пляжи. О, как там много тел, согретых жарким солнцем! И сколько заблудших душ, потерявших дорогу во тьме! Я стараюсь никого не пропустить и ни об кого не... споткнуться.

В окно автобуса ворвался свежий и прохладный ветер, и по старой пестрой рубашке доктора пробежали волны.

Автобус остановился.

Доктор Брокау, точно вдруг заметив, что просхал свою остановку, вскочил.

— Подождите!

Все пассажиры разом обернулись с улыбкой, точно ожидая выхода эстрадной звезды.

Доктор похлопал меня по руке и бросился к передней двери автобуса. Уже готовясь сойти, он обернулся, шлепнул себя по лбу, снял черные очки, подмигнул мне и возопил:

— А вы-то!

По всей вероятности, я уже стал для близорукого доктора персонажем с картины какого-нибудь представителя пуантилизма — я сидел слишком далеко от него.

— А вы-то сами! — Да, он обращался ко мне — загадочному облачку живой материи, и точно такие же теплые облачка окружали его со всех сторон. — Вы-то ведь так мне ничего и не сказали! Так что же, что видите вы?

Он выпрямился во весь рост, чтобы я мог получше разглядеть его невероятную рубашку, рубашку Роршаха, трепетавшую на ветру и переливавшуюся всеми красками радуги.

Я посмотрел на нее. Зажмурился на мгновение и возвестил:

— Это восход солнца!

Доктор привычно мягко парировал:

— А вы уверены, что не закат? — И приложил согнутую чашечкой ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

Я снова посмотрел на его рубашку и улыбнулся. Я надеялся, что он увидит, почувствует мою улыбку, даже если будет в тысяче миль от этого автобуса!

— Нет, — сказал я. — Это, конечно же, восход. И очень красивый.

Он зажмурился, как бы переваривая то, что я сказал. Его руки, великие руки доктора Брокау, блуждали по полотну старой, потрепанной и ставшей совсем мягкой рубашки, точно по знакомым берегам. Потом он со-

гласно кивнул, открыл свои светло-голубые глаза, махнул мне на прощание рукой и шагнул в свой широкий мир.

Когда автобус тронулся, я посмотрел назад.

И увидел, как доктор Брокау, сразу же сойдя с шоссе, бредет по пляжу среди нежащихся на солнце тысяч купальщиков, выбирая наугад одного из представителей этого теплого мирка.

Казалось, он легко идет по морю из человеческих тел, «аки по суху», и мне еще долго была видна его высокая фигура.

## ГЕНРИХ ДЕВЯТЫЙ

— **В**он он!  
Оба подались вперед, и вертолет резко накренился. Внизу показался берег.

— Кругом болото — как бы не промахнуться.

Летчик поднял голову, машину сразу же развернуло и понесло. Белесые холмы Дувра скрылись из виду. Вертолет принялся кружить над лугами, взбивая лопастями мокрый снег — огромная стрекоза, которая ищет, куда бы ей опуститься.

— Стоп! Вниз!

Машина села и окунулась в траву. Тот, что сидел рядом с летчиком, с ворчанием откинул прозрачную дверцу и осторожно, точно у него не разгибалась спина, выбрался из кабины. Он попытался бежать, но очень быстро сбился с дыхания и, тщетно пытаясь перекрыть ветер, крикнул:

— Гарри!

Бегущий в гору человек на секунду замер на месте.

— Я не сделал ничего плохого! — отозвался он.

— Да это же я, Гарри! Это я — Сэм Уэлз!

Старик, за которым гнались, замедлил шаги и наконец застыл на краю обрыва, над самым морем, обеими руками держась за свою длинную бороду и зажмурив глаза.

Сэмьюэл Уэлз пыхтя плелся за ним, однако близко не подходил — боялся спугнуть.

— Черт бы тебя побрал, Гарри. Прошло уже несколько недель. Я боялся, что не найду тебя.

— А я боялся, что найдешь.

Гарри наконец решился открыть глаза и с опаской взглянул сначала на свою бороду и руки в перчатках, затем — на своего давнишнего друга, Сэмьюэла. Теперь они стояли рядом на мокром холодном камне — два древних, совсем седых старика. Они так давно знали друг друга, что было непонятно и неважно, кто у кого перенял манеры и мимику. Их вполне можно было принять за двух братьев. Вот только у того, что прилетел на вертолете, из-под темной одежды почему-то выглядывала яркая рубашка, какие носят на Гавайях. Гарри старательно отводил от нее взгляд.

В глазах у обоих дрожали слезы.

— Гарри, я пришел предупредить тебя.

— Зря старался. Зачем бы я тогда тут прятался? Что, уже последний день?

— Последний.

Они стояли и размышляли.

Завтра Рождество. А сегодня еще засветло отчалият последние лодки. И Англия, эта каменная глыба в море тумана и воды, превратится в памятник самой себе, и дожди напишут на ней эпитафию. Весь остров отойдет в безраздельное владение чаек и сотен бабочек-данаид, что июньским днем разом выпорхнут в воздух, точно конфетти, выпущенное из хлопушек в честь моря.

Не сводя глаз с бьющихся о берег волн, Гарри спросил:

— Так, значит, к закату с острова уберутся все, до последнего кретина?

— В том то все и дело.

— Дрянное дело. А ты, Сэмьюэл, пришел, чтобы затолкать меня в вертолет?

— Скорее уж — уговорить.

— Уговорить? Сэм, слава Богу, ты знаешь меня пятьдесят лет. Мог бы понять, что я захочу остаться послед-



ним во всей Британии... нет, не так — последним во всей Великобритании.

«Последний житель Великобритании, — думал Гарри. — Что это там? Никак бой часов? Ну конечно, это сквозь изморось и время доносится гул Биг Бена. Как благовест последнему, кто остается, и последнему, кто покидает могильный холм державы и чахлый закат в море холодного света. Все. Все кончено».

— Послушай, Сэмьюэл. У меня уже вырыта могила. Не могу же я вот так взять и бросить ее.

— Но кто положит тебя в нее?

— Я сам, когда придет время.

— А кто засыплет твой прах землей?

— Ну, на это есть ветер. О Господи! — Гарри с удивлением понял, что из его мигающих глаз хлынули слезы. — Что мы здесь делаем? Зачем эти проводы? Почему улетели последние самолеты, а последние лодки — уже в Ла-Манше? Где все, Сэм? Что, черт возьми, происходит?!

— Все очень просто, Гарри, — спокойно начал Сэмьюэл Уэлз. — Здесь дрянной климат. И всегда был таким. Никто даже не заговаривал об этом — что толку? Но теперь с Англией покончено. Будущее за...

Они разом перевели взгляды на юг.

— За какими-нибудь Канарами?

— За Самоа.

— И за берегами Бразилии?

— Не забудь еще Калифорнию, Гарри.

Оба негромко рассмеялись.

— Калифорния. Тебе бы все шутить. А правда, забавное местечко... Выходит, сегодня миллион англичан растянулся от Сакраменто до Лос-Анджелеса?

— И еще один миллион осел во Флориде.

— Получается уже два — и это только за последние четыре года.

Они покачали головами.

— Да, Сэмьюэл, что бы мы ни говорили, а солнце все делает по-своему. Человек неизменно стремится туда, где потеплее — то есть на юг. Это ясно вот уже две тысячи лет. А мы как будто только что узнали.

Первый загар всегда словно в первый раз — так же как новая любовь. В конце концов, мы оказываемся где-нибудь под чужим огромным небом и, шурясь на солнце, говорим: «О всемилостивейший Господь, научи нас!»

Сэмьюэл Уэлз с благоговейным трепетом покачал головой:

— Продолжай в том же духе, и мне не придется тебя похищать!

— Нет, Сэмьюэл, тебя, может, солнце чему-нибудь и научило, но меня, к сожалению, не смогло. А знаешь, ведь одному мне здесь будет скучновато. Вот если бы уговорить тебя, Сэм... Остались бы тут куролесить на пару, как когда-то сорванцами. — Он легонько толкнул товарища локтем в бок.

— Тебя послушать — так я предаю короля и государство.

— Да нет. Никого ты не предаешь — и предавать-то некого. Кто бы в восьмидесятом году, когда мы были мальчишками, мог представить, что в один прекрасный день обещание вечного лета разметает жителей туманного Альбиона по четырем южным континентам.

— Гарри, мне всю жизнь было холодно. Мне вечно не хватало свитеров и угля, чтобы согреться. Всю жизнь голубое небо только и увидишь в первый день июня — и то лишь сквозь узенькую щелочку между тучами. Всю жизнь в июле льет дождь и совсем не пахнет сеном, а первого августа уже начинается зима... И так год за годом, год за годом, Гарри... Я больше этого не вынесу.

— Ну что ж, тебе и незачем. Нашему народу уже хватило. Вы все, все заслужили этот долгий отдых на Ямайке, в Порт-о-Пренсе и Пасадене. Давай тогда просто пожмем друг другу руки! Ведь мы с тобой переживаем сейчас величайшую минуту в истории! И так случилось — что это именно мы с тобой...

— Действительно.

— Знаешь, Сэм, когда приедешь и поселишься на Сицилии, в Сиднее или в Нейвл-Орандже штата Калифорния, поведай миру об этой исторической минуте.

Может, попадешь в газетную полосу. А книги по истории? Уж нам с тобой наверняка должны выделить хотя бы полстранички — последнему, кто уехал, и последнему, кто остался... Э-э, Сэм, смотри не сломай мне ребра! А впрочем, черт с ними, валяй — больше уж мы с тобой не обнимемся.

Тяжело дыша, старики отстранились друг от друга — глаза у обоих были мокрыми от слез.

— Гарри, может, проводишь меня до вертолета?

— Дудки. Еще подумаю о солнце да и соблазнюсь улизнуть вместе с тобой из этой сырости.

— Вот и хорошо.

— Скажешь тоже! А кто будет охранять берег от нормандцев, викингов, саксонцев? Нет уж, я останусь. Сначала наведаюсь в глубь острова, потом отправлюсь в дозор по всему побережью от Дувра до самых северных скал и в конце концов снова вернусь сюда через Фолкстоун.

— На случай, если Гитлер протянет свои железные лапы, старина?

— Всякое может быть.

— И как же ты будешь с ним сражаться, Гарри?

— А ты думаешь, я отправлюсь один? Возможно, по пути я повстречаюсь на берегу с Цезарем. Он успел проложить парочку дорог. По ним я и пойду и из всех посягателей отберу только самых лучших — тех, кто сумеет отразить остальных. Я сам — больше ведь некому — стану вызывать призраков и выбирать для острова историю.

— Да-да, конечно.

Последний житель обратил взор на север, потом — на запад и наконец — на юг.

— Я проверю все замки и маяки, прислушаюсь к орудийному грохоту в узких морских заливах, пройду с унылой волынкой по Шотландии. Ну а когда до Нового года останется всего неделя, Сэм, я поплыву на лодке вниз по Темзе. И до конца моих дней каждое тридцать первое декабря я, ночной страж Лондона, буду заводить его часы и заставлять звучать церковные колокола. Колокола святого Клементя сыграют «Апель-

сины и лимоны»\*. Оживут колокола на башне Сент-Мэри-ле-Боу. Запоют и те, что украшают собор святой Маргариты и собор святого Павла... Я буду звонить для тебя, Сэм. А вдруг ледяной ветер, что подует отсюда на юг, вольется в ваш теплый воздушный поток и тронет седые волосы в твоих загорелых ушах...

— Я буду слушать, Гарри.

— Внимательно слушай! Я буду заседать в палате лордов и в палате общин, часами спорить, чтобы в конце концов победить. Я выступлю с речью и скажу, что еще никогда в истории не были столь многие в такой степени обязаны единицам. И я услышу вой сирен и многое другое из того, что по радио передавали тогда, когда нас с тобой еще на свете не было. А за несколько секунд до первого января я заберусь к мышам в Биг Бен и буду слушать последние удары старого года. И непременно посижу на Сконском камне\*\*.

— Ну да!

— А ты как думал! Или уж, во всяком случае, на том месте, где он стоял, пока его не отправили на юг, в Саммерз-Бэй. Кстати, мне понадобится скипетр... Впрочем, сгодится и прихваченная декабрьским морозом змея. Да, надо будет еще склеить корону. И называться я буду другом Ричарда, Генрихом — отверженным потомком Елизаветы Первой и Елизаветы Второй. В заброшенном Вестминстерском аббатстве я останусь совсем один — с прахом Киплинга и с погребенной прямо под ногами историей, очень старый и немножко выживший из ума... Так неужели я, который правил и которым правили, не могу избрать себя королем этих туманных островов?

— Конечно, можешь, и никто тебя за это не осудит.

Сэмьюэл Уэлз еще раз крепко стиснул плечи друга и поспешил к ожидавшему его вертолету. На половине дороги он вдруг обернулся и крикнул:

---

\* Игра для малышей, сопровождаемая песенкой с тем же названием. (Здесь и далее примеч. пер.)

\*\* Древний шотландский коронационный камень; первоначально хранился в древнем Сконском аббатстве, Шотландия.

— Надо же — мне только что пришло в голову... Тебя ведь зовут Гарри. Ничего себе имечко для короля!

— Имя как имя — мне нравится.

— Ты простишь меня за то, что я уезжаю?!

— Солнце прощает все, Сэмьюэл. Иди туда, куда оно тебя зовет.

— А как же Англия — простит ли она?

— Англия там, где ее народ. Я остаюсь с ее мертвецами. Ну а ты, Сэм, уезжаешь вместе с живыми — с ее кровью и плотью!

— Прощай!

— Храни тебя Господь — тебя и твою желтую рубашку!

Оба еще махали руками и что-то кричали, но из-за ветра уже не слышали друг друга. Наконец Сэмьюэл забрался в вертолет, который тут же взвился в воздух и поплыл по небу, словно огромный белый цветок.

Задыхаясь от рыданий, последний житель Великобритании стоял и кричал самому себе:

— Гарри! Ты ненавидишь перемены? Ты против прогресса? Ведь ты же все прекрасно понимаешь! Ты знаешь, что на корабли и самолеты всех выманило обещание хорошей погоды.

— Да-да, — соглашался он с самим собой. — Я все отлично понимаю... Конечно, где им устоять, когда искушают настоящим жарким августом — августом, которому не будет конца?

Он плакал, скрежетал зубами и, подойдя к самому краю обрыва, грозил исчезающему в небе вертолету кулаком.

— Назад! Предатели! Как можете вы бросить старуху Англию, а с нею вместе — Пипа\*, Железного Герцога\*\* и Трафальгарскую площадь, бросить залитый дождем Хорсгардз\*\*\*! Неужели вы оставите горящий Лондон, когда кругом гудят бомбы и воют сирены?!

---

\* Филип Пиррип — герой романа Ч. Диккенса «Большие надежды».

\*\* Прозвище герцога Веллингтона.

\*\*\* Здание в Лондоне; по традиции там несут караульную службу гвардейцы Королевского конногвардейского полка.

И как отказаться от новорожденного, которого высоко поднимают на руки над дворцовым балконом? А похоронный кортеж Черчилля? Ведь он все еще плывет по улицам — он все еще там! И Цезаря, который не пошел тогда в Сенат, и Стоунхендж... Как сможете вы бросить все это — ну, скажите мне как?!

Опустившись на самом краю обрыва на колени, наедине с рокочущим внизу морем, последний король Англии — Гарри Смит — стоял и плакал.

А вертолет, взяв курс на жаркие южные острова, где всеми птичьими голосами звонко поет лето, постепенно растаял в небе.

Старик оглянулся на берег и задумался — он показался ему таким же, каким, наверное, был сто тысячелетий назад. Кругом та же тишина и первозданность... Разве что тогда не было еще пустых остовов городов и короля Генриха, старого Гарри, Генриха Девятого...

Наугад порывшись в траве, он отыскал свой мешок, в котором лежали книги и немного шоколада. Там были Библия и Шекспир, Драйден и Поуп, засаленный томик Джонсона и истрепанный томик Диккенса. Гарри поднял мешок и вышел на дорогу, которая пролегла по всей Англии.

Завтра наступит Рождество. Старик мысленно пожелал миру добра. По всей планете люди уже сделали себе подарки — они подарили себе солнце. Опустела Швеция. Покинули свои дома жители Норвегии. Во всем Господнем мире в холодных широтах уже не осталось никого. Люди зажили в свое удовольствие на Его самых лучших землях, наслаждаясь легким ветерком и безмятежным небом. Им не надо было бороться за существование. На юге, словно рожденные заново — так же как завтра и каждый год рождается Христос, — они вернулись в свою извечную и всегда новую колыбель.

Вечером в каком-нибудь храме старик непременно попросит прощения за то, что назвал их предателями.

— И последнее, Гарри. Тебе понадобится синяя краска.

— Это еще зачем? — спросил он самого себя.

— Где-нибудь по дороге прихвати хотя бы синий мелок. Не им ли как-то раскрасили себя англичане?

— Да-да! Все стали синими с головы до ног!

— Ну что ж, под конец мы всегда возвращаемся к своим истокам...

Дул холодный ветер. Гарри покрепче натянул на голову шапку. Он попробовал на вкус первые снежинки, которые щекотали ему губы.

— Эй, милый малыш! — позвал старик как будто чудесным рождественским утром выглядывая из воображаемого окна. Он разыгрывал представление, словно сам только что родился. — Славный мальчик, скажи-ка, висит ли в витрине у торговца, мимо которой ты сейчас проходил, такая большая птица — индейка?

— Да, она все еще там, — ответил мальчик.

— Так поди же за ней! Приведи сюда торговца, и я дам тебе шиллинг. Уложишься в пять минут — получишь целую крону!

Ребенок побежал за индейкой.

А старый Гарри Эбенизер Скрудж Юлий Цезарь Пиквик Пип и еще пять сотен имен вместе с ним, застегивая пальто и прижимая к себе мешок с книгами, тронулся в путь. Дорога была длинна и прекрасна. Волны грохотали, словно выпущенный в его честь орудийный залп. Северный ветер играл для него на волынке.

Через десять минут, когда, напевая, он скрылся за холмом, казалось, будто Англия застыла в ожидании людей, которые когда-нибудь еще ступят на ее землю...

## МАРСИАНСКИЙ ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

**О**громное око плыло в пространстве. А где-то за ним, укрытое металлом, среди бесчисленных механизмов пряталось маленькое, человечье: человек смотрел и не мог насмотреться на скопища звезд, на пятнышки света, то вспыхивающие, то затухающие там, в миллиардах миллиардов миль.

Маленькое око устало и закрылось. Капитан Джон Уайлдер постоял, опершись о стойку телескопа, что день за днем без усталости ощупывал Вселенную, и наконец шепнул:

— Которая же?

— Выбирайте сами, — сказал астроном, стоящий рядом.

— Хотел бы я, чтобы все и вправду было так просто. — Уайлдер открыл глаза. — Что известно, например, об этой звезде?

— Альфа Лебеда II. Размеры и характеристики как у нашего Солнца. Возможно существование планетной системы.

— Возможность — еще не факт. Выберем не ту звезду — и Господь да поможет тем, кого мы отправим в путь сроком на двести лет искать планету, которой там, может, никогда и не было... Или нет, Господь да поможет мне, потому что последнее слово за мной, и я сам вполне могу отправиться вместе со всеми. Как же удостовериться?



— Никак. Выберем как сумеем, отправим звездолет и станем молиться.

— То-то и оно. Не слишком все это весело. Устал я...

Уайлдер тронул кнопку, и теперь закрылось большое око. Вынесенная в космос линза, направляемая ракетными двигателями, много дней напролет бесстрастно пялилась в бездну, видела непомерно много, а знала мало, — а теперь не знала и вообще ничего. Обсерватория висела незрячая в бесконечной ночи.

— Домой! — приказал капитан. — Полетели домой!..

И слепой нищий, протянувший руку за звездами, развернулся на огненном веере и убрался восвояси.

С высоты города-колонии на Марсе были очень хороши. Заходя на посадку, Уайлдер увидел неоновые огни среди голубых гор и подумал: мы зажжем огни и на тех мирах, в миллиардах миль отсюда. Зажжем — и дети тех, кто живет ныне под этим неоном, станут бессмертными. Именно так: если мы добьемся успеха, они будут жить вечно...

Жить вечно. Ракета села. Жить вечно!

Ветер, налетевший со стороны города, донес запах машинного масла. Где-то скрежетал алюминиевыми челюстями музыкальный автомат. Рядом с ракетодромом ржавела свалка. Старые газеты плясали на бетонной взлетной дорожке.

Уайлдер застыл на верхней площадке лифта причальной мачты. Ему захотелось остаться здесь и никуда не спускаться. Огни воплотились в людей — раньше это были слова, слова казались великими, и с ними было так легко управляться...

Он вздохнул. Груз — люди — слишком тяжек. До звезд слишком далеко.

— Капитан! — позвал кто-то.

Он сделал шаг. Лифт провалился. С беззвучным воем они понеслись вниз, навстречу подлинной тверди под ногами и подлинным людям, ожидающим, чтобы он совершил свой выбор.

В полночь приемник для срочных депеш зашипел и выстрелил патроном-сообщением. Уайлдер сидел за сто-

лом в окружении магнитных пленок и перфокарт и долго не притрагивался к цилиндрику. Наконец он вытащил сообщение, пробежал его глазами, скатал в тугой шарик, но нет — развернул опять, разгладил, перечитал:

«Заполнение каналов водой завершается через восемь дней. Приглашаю принять участие в прогулке на яхте. Избранное общество. Четверо суток в поисках легендарного затерянного Города. Подтвердите согласие. И. В. Эронсон».

Уайлдер прищурился и тихо рассмеялся. Смял бумажку снова и снова передумал, поднял телефонную трубку, сказал:

— Телеграмма И. В. Эронсону. Марс-Сити, один. Приглашение принимаю. Сам не знаю зачем, но принимаю.

Повесил трубку. И долго-долго сидел, глядя в ночь, укрывшую в своей тени орду перешептывающихся, тикающих, вращающихся машин.

Высохший канал ждал.

Двадцать тысяч лет он ждал, но видел лишь призрачные приливы всепроникающей пыли.

А теперь донесся шелест.

И шелест превратился в поток, в блистающую стену воды.

Словно исполинский кулак ударил по скалам, и хлопнул по воздуху клич: «Чудо!..» И стена воды, гордая и высокая, двинулась по каналам, распласталась на ложе, истомленном жаждой, достигла древних иссохших пустынь, ошеломила старые пристани и подняла скелеты кораблей, покинутых тридцать веков назад, когда та белая вода выкипела до дна.

Прилив обогнул мыс и вознес на своем гребне яхту, новенькую, как самое утро, со свежоотлитыми серебряными винтами, латунными поручнями и яркими, вывезенными с Земли вымпелами. Яхта, пока что причаленная к берегу, носила имя «Эронсон I».

На борту был человек, носящий то же имя, и он улыбнулся. Мистер Эронсон прислушивался к тому, как журчит вода под килем его корабля.

И сквозь журчание прорвался гул — это прибыл аппарат на воздушной подушке, и треск — это подкатил мотоцикл, а из поднебесья, привлеченные блеском воды в старом канале, через горы, как по волшебству, слетались люди-оводы с реактивными ранцами за плечами и зависали на месте, будто усомнившись, что столько жизней могут столкнуться здесь по воле одного богача.

А богач, оскалась усмешкой, обратился к ним, своим чадам, суля укрытие от жары, еду и питье:

— Капитан Уайлдер! Мистер Паркхилл! Мистер Бьюмонт!..

Уайлдер посадил свой аппарат.

Сэм Паркхилл бросил свой мотоцикл — он увидел яхту и тут же влюбился в нее.

— Черт возьми! — воскликнул Бьюмонт, профессиональный актер, один из стайки тех, кто плясал в небе, как пчелы на ветру. — Я не рассчитал свой выход. Я явился слишком рано. Нет публики!

— Призываю вас аплодисментами! — крикнул в ответ богатый старик и захлопал в ладоши. Затем добавил: — Мистер Эйкенс!

— Эйкенс? — переспросил Паркхилл. — Знаменитый охотник?

— А кто же еще!..

И Эйкенс спикировал вниз, словно решил схватить их всех хищными когтями. Он и сам себе казался похожим на ястреба. Жизнь, полная приключений, отточила его и выправила, как бритву. Падая, он будто разрезал воздух, обрушивался неотвратимым возмездием на людей, не причинивших ему ни малейшего зла. Но за миг до катастрофы все-таки преодолел себя, затормозил и с легким свистом коснулся мраморной пристани. Узкую его талию стягивал патронташ. Карманы у него топорщились, как у мальчишки, совершившего набег на кондитерскую. Не составляло труда догадаться, что он весь начинен сладостями-пулями и деликатесами-гранатами. Своевольный ребенок, он сжимал в руках диковинную винтовку, казалось, только что обретенную Зевсом-громовержцем, хоть и с маркой «Сде-

лано в США». Лицо его загорело до черноты, а глаза, зеленовато-синие кристаллы на морщинистой от солнца коже, светились сдержанным любопытством. Выпуклые мускулы африканца обрамляли белую фарфоровую улыбку. Планета едва не застонала, когда он дотронулся до нее.

— Рыскает лев по земле Иудейской! — раздался голос с небес. — Воззрите же на агнцев, приведенных на заклание!..

— Ради Бога, Гарри, помолчи хоть минутку! — откликнулся другой, женский голос.

И два новых мотылька, бесприютные души, опасливо затрепетали крылышками на ветру.

Богач был вне себя от восторга.

— Гарри Харпуэлл!..

— Воззрите и на ангела Господня, пришедшего с благовестом! — продолжал парящий в небе. — А благовест тот возвещает...

— Он опять пьян, — прокомментировала женщина, которая летела впереди и не оглядывалась.

— Мигэн Харпуэлл, — произнес богач тоном антрепренера, представляющего свою труппу.

— Поэт, — произнес Уайлдер.

— И барракуда, жена поэта, — пробормотал Паркхилл.

— Я не пьян! — крикнул поэт ветру. — Я просто весел!..

И тут он низвергнул ливень смеха, и все, кто был внизу, испытали позыв вскинуть руки, заслоняясь от потопа.

Поэт снизился, как толстый надувной змей, и, жужжа, пронесся над яхтой. Жена поэта поджала губы, а он сделал ручкой благословляющий жест и подмигнул Уайлдеру с Паркхиллом.

— Харпуэлл! — воскликнул он. — Это ли не имя, достойное величайшего поэта нашей эпохи!\* Поэта, которому она тесна и который весь в прошлом, таскает кости из гробниц корифеев, но летает на этой

---

\* Harpwell (англ.) — примерно: сладкозвучный родник.

самоновейшей кофейной мельнице, на этом чертовом ветрососе, и призывает сонеты на ваши головы... Мне жаль прежних простодушных святых — у них ведь не было таких невидимых крыльев, они не могли закладывать виражи, кружить и реять с псалмами либо проклятиями. Бедные бескрылые воробы, обреченные прозябать на земле! Только гений их мог воспарить, только муза могла познать сладкие муки воздушной болезни...

— Гарри! — воззвала жена с причала, прикрыв глаза.

— Охотник! — вскричал поэт. — Эйкенс! Вот тебе самая крупная дичь на свете — летающий поэт. Я обнажаю грудь. Выпусти свое медоносное жало! Сбрось меня наземь, как Икара, пусть из ствола твоего ружья вылетит солнечный луч! Запали пожар, чтобы небо перевернулось и хлеб, воск, ладан и лира в единый миг обратились в деготь... Внимание, целься, пли!..

Охотник в шутку поднял винтовку.

Тогда поэт рассмеялся еще мощнее и действительно обнажил грудь, рванув рубаху.

Но в эту секунду на канал спустилась тишина.

Показалась женщина. За ней шла служанка. И нигде не было видно никакого экипажа, и почти верилось, что они долго-долго брели с марсианских гор и только сейчас приостановились.

Сама тишина приковывала внимание к Каре Корелли, придавала особое достоинство ее появлению.

Поэт прервал свои излияния и приземлился.

Вся компания смотрела на Кару Корелли — и та смотрела на них, но не видела их. Одета она была в черный облегающий костюм в тон волосам. Походка ее доказывала, что эту женщину всю жизнь понимали с полуслова, и с тем же спокойствием, с каким шла, она стала к ним лицом, словно вопрошая: кто первый шевельнется без приказа? Ветер играл ее волосами, ниспадающими на плечи. Поразительнее всего была бледность ее лица. Казалось, именно эта бледность, а не глаза, сверлит их в упор.

Затем, не проронив ни звука, женщина спустилась на яхту и села впереди, как носовое украшение, знающее себе место и цену.

Минута тишины миновала.

Эронсон пробежал пальцами по отпечатанному списку гостей.

— Актер, красивая женщина — и тоже актриса, охотник, поэт, жена поэта, командир звездолета, бывший инженер... Все на борту!

На кормовой палубе просторного своего корабля Эронсон развернул связку карт.

— Леди и джентльмены! — сказал он. — Нам предстоит нечто большее, чем четырехдневный пикник, увеселительная прогулка или экскурсия. Нам предстоит Поиск! — Он выждал, чтоб они придали своим лицам подобающее выражение и обратили взоры к картам, затем продолжал: — Мы ищем легендарный затерянный город, называвшийся некогда Диа-Сао. Было у него и другое прозвание — «Город Рока». Что-то злое связано с этим городом. Жители бежали оттуда, как от чумы, и он опустел. Он пуст и теперь, через много веков...

— За последние пятнадцать лет, — вмешался капитан Уайлдер, — мы обследовали, сняли на карты, занесли в указатели каждый акр поверхности Марса. Мы не могли не заметить город таких размеров.

— Верно, — отозвался Эронсон. — Вы вели съемку с воздуха, с суши. Вы не обследовали планету с воды! Ведь до самого этого дня каналы были сухими... А теперь мы пустимся в плавание по водам, заполнившим все каналы до одного, и приплывем туда, куда ходили древние корабли, и увидим, какие еще секреты хранит от нас планета Марс. И где-то на пути, — продолжал богач, — я уверен, абсолютно уверен, мы найдем самый прекрасный, самый фантастический, самый ужасный город в истории этого мира. И пройдем по городу, и — кто знает? — быть может, выясним, почему марсиане, как утверждают легенды, с воплями бежали прочь из Диа-Сао десять тысяч лет назад...

Молчание. Наконец:

— Браво! Блестящая идея!..

Поэт пожал старику руку.

— А в этом городе, — спросил Эйкенс, охотник, — может там найтись оружие, какого никто никогда не видел?

— Вполне возможно, сэр.

— Ну что ж, — молвил охотник, обняв свою диковинную винтовку. — На Земле мне все приелось, я там охотился на всяких зверей, и не осталось таких, в которых я не стрелял бы. Меня привела сюда надежда встретить новых, замечательных, смертельно опасных зверей любых размеров и видов. А теперь и новое оружие! Чего же еще желать? Отлично!..

И он уронил свою серебристо-голубую винтовку за борт. В чистой воде было видно, как она булькнула и пошла ко дну.

— Давайте, черт побери, отчаливать!

— Вот именно, — подхватил Эронсон. — Давайте, черт побери!..

И нажал кнопку, приводящую яхту в движение.

И вода подхватила яхту.

И яхта поплыла туда, куда указывала спокойная бледность Кары Корелли, — вдаль.

Тогда поэт открыл первую бутылку шампанского. Пробка хлопнула. Один лишь охотник не вздрогнул.

Яхта плыла неустанно через день в ночь. Они нашли какие-то развалины и там поужинали, и было вино, привезенное за сто миллионов миль с Земли. Все отметили, что вино перенесло путешествие хорошо.

К вину был подан поэт, а после изрядной дозы поэта был сон на борту яхты, плывшей и плывшей в поисках города, который пока еще не желал найтись.

В три часа ночи Уайлдер, разгоряченный, отвыкший от силы тяжести — планета тянула все его тело вниз, не позволяя расслабиться и заснуть, — вышел на кормовую палубу и встретил актрису.

Она сидела и смотрела, как воды скользят за кормой, а в них печальными откровениями дрожат расплеснутые звезды.

Он сел с нею рядом и мысленно задал вопрос.

Так же безмолвно Кара Корелли задала себе тот же вопрос и ответила вслух:

— Я здесь, на Марсе, оттого, что не так давно мужчина впервые в моей жизни сказал мне правду...

Вероятно, она ждала, что он выразит удивление. Уайлдер промолчал. Яхта плыла бесшумно, как в потоке вязкого масла.

— Я красива. Я была красива всю жизнь. А это значит, что с самой юности люди лгали мне лишь затем, чтобы побыть со мной. Я выросла в кольце неправд: мужчины, женщины, дети — все вокруг страшились моей немилости. Недаром сказано: стоит красавице надуть губки — и мир вздрогнет...

Видели вы когда-нибудь красивую женщину в толпе мужчин, видели, как они кивают, кивают? Слышали их смех? Мужчины будут смеяться, какую бы глупость она ни сморозила. Ненавидеть себя будут, но и смеяться, будут говорить «да» вместо «нет» и «нет» вместо «да». Вот так жила и я — изо дня в день, из года в год. Между мной и любой невзгодой вырастала стена лжецов, и их слова опутывали меня шелками...

Но вдруг совсем недавно, месяца полтора назад, тот мужчина сказал мне правду. Какой-то пустяк. Я уже и не помню, что он сказал, но не рассмеялся. Даже не улыбнулся. И не успел он замолкнуть, как я поняла, что случилась страшная вещь.

Я постарела...

Яхта слегка качнулась на волне.

— О, разумеется, я встретила бы еще множество мужчин, которые лгали бы мне, улыбались бы всему, что бы от меня ни услышали. Но я увидела поджидающие впереди годы, когда красавица уже не сможет топнуть ножкой и вызвать землетрясение, не сможет больше поощрять лицемерие среди честных людей...

Тот человек? Он сразу же взял свою правду назад, как только понял, что эта правда потрясла меня. Но поздно. Я купила билет на Марс. И приняла приглашение Эронсона участвовать в этой прогулке. Прогулке, которая кончится кто знает где...



При последних словах Уайлдер невольно взял ее за руку.

— Нет, — отрезала она, отстраняясь. — Не отвечайте. Не прикасайтесь ко мне. Не жалейте меня. И себя тоже. — Впервые с начала плавания на ее губах мелькнула усмешка. — Ну не странно ли? Я раньше мечтала: хорошо бы хоть когда-нибудь оставить маскарад и услышать правду. Как я заблуждалась! Ничего хорошего в правде нет...

Она сидела и смотрела, как струятся вдоль борта черные воды. Когда часа два-три спустя она оглянулась, рядом никого не было. Уайлдер ушел.

На следующий день, плывя по воле юных вод, они направились к высокой горной гряде. По пути перекусили в старинном храме, а вечером поужинали среди очередных развалин. О затерянном Городе почти не говорили — все были уверены, что никогда его не найдут.

Но на третий день, хотя никто не осмелился высказать это вслух, все ощутили приближение некоего Явления.

Поэт первый выразил ощущение словами.

— Похоже, где-то здесь Бог напевает себе под нос...

— Ну и редкостное же ты дерьмо! — откликнулась жена поэта. — Неужто не можешь говорить попросту, даже когда плетешь ерунду?

— Да прислушайтесь, черт возьми! — воскликнул поэт.

Они прислушались.

— Неужто вы не чувствуете, что стоите на пороге гигантской доменной печи, гигантской кухни, где Бог в уютном тепле, в муке по локоть, месит необъятными руками тесто жизни? Руки Его пропахли дивными потрохами и роскошными внутренностями, они окровавлены и горды пролитой кровью. Вон в том звездном котле поспевает похлебка для грядущих венерианских тварей, а вон там чан с густым наваром из костей, нервов и беспокойных сердец, которые оживут в зверях и птицах неведомых планет за миллиард световых лет

отсюда. И разве Бог не вправе испытывать гордость за свои свершения на великой кухне Вселенной, где Он самолично составил меню пиршеств и бедствий, смертей и воскрешений на миллионы миллионов лет? А раз Он горд и доволен, почему бы Ему не напевать себе под нос? Прислушайтесь — каждая ваша косточка вибрирует в такт Его напеву. Нет, не так. Он не просто напевает — Он играет на каждом атоме, танцует в каждой молекуле. Вечный праздник начинается внутри нас. Нечто близится. Ш-ш-ш...

Он прижал свой толстый палец к выпяченным губам.

Теперь смолкли все, и бледность Кары Корелли светила прожектором на темные воды, лежащие впереди.

Предчувствие захватило их. И Уайлдера. И Паркхилла. Они закурили, чтобы совладать с собой. Погасили свои сигареты. Растворившись в сумерках, они ждали.

Напев стал явственнее, ближе. И, почуяв его, охотник присоединился к молчаливой актрисе на носу яхты. А поэт присел, чтобы записать свой только что прочитанный монолог.

— Да-да, — сказал он, когда на небе высыпали звезды. — Оно почти достигло нас. Уже достигло. — Он перевел дыхание. — Вот оно...

Яхта вошла в туннель.

Туннель вошел в толщу гор.

И там был Город.

Город скрывался во чреве гор, и его окружало кольцо подземных лугов, а над ним простиралось странно освещенное и странно окрашенное каменное небо. И он считался затерянным и оставался затерянным лишь потому, что люди искали его с воздуха, искали, разматывая дороги, а ведущие в Диа-Сао каналы ждали обыкновенных пешеходов, которые прошли бы по трассе, оставленной водами.

И вот к древней пристани причалила яхта, полная чужестранцев с иной планеты.

И Город шевельнулся.

В стародавние времена города бывали живы, если люди жили в них, или мертвы, если люди их покидали.

Все было до очевидности просто. Но шли века, что на Земле, что на Марсе, и города уже не умирали. Они засыпали. И в зубчатых своих снах, в многоколесных грезах вспоминали, как было некогда и как, возможно, будет опять.

И когда люди один за другим выбрались на причал, то встретили великую личность — окутанную смазкой, закованную в металл, отполированную душу столицы, и безмолвный обвал не видимых никому искр пробудил эту душу ото сна.

Вес людей пристань восприняла с упоением. Они словно вступили на чувствительнейшие весы. Причал опустился на миллионную долю дюйма.

И Город, исполинская спящая красавица из машинного кошмара, уловил прикосновение, поцелуй судьбы, — и проснулся.

Грянул гром.

Стену высотой сто футов прорезали врата шириной семьдесят футов, и теперь врата, обе их половинки, с грохотом откатились и скрылись в стене.

Эронсон шагнул вперед.

Уайлдер метнулся остановить его. Эронсон вздохнул:

— Пожалуйста, капитан, без советов. И без предупреждений. И без патрулей, посланных на рекогносцировку с задачей обезвредить злоумышленников. Город хочет, чтобы мы вошли. Он приглашает нас. Уж не воображаете ли вы, что там осталось хоть что-нибудь живое? Это город-робот. И не смотрите на меня так, будто там заложена мина замедленного действия. Сколько лет город не видел ни игр, ни развлечений? Двадцать веков? Вы читаете марсианские иероглифы? Вон на том угловом камне. Город построен по меньшей мере тысячу девятьсот лет назад!

— И покинут, — сказал Уайлдер.

— Вы прознесли это так, словно их поразила чума.

— Нет, не чума. — Уайлдер беспокожно поежился, почувствовав, как чаша гигантских весов слегка шевельнулась, взвешивая его самого. — Что-то другое. Совсем, совсем другое...

— Ну так давайте узнаем что. Пошли!..

Поодиночке и парами люди с Земли перешагнули порог.

Последним шагнул Уайлдер.

И Город окончательно ожил.

Металлические крыши широко раскрылись, как лепестки цветов.

Окна широко распахнулись, как веки огромных глаз, жаждущих оглядеть их пристально сверху вниз.

Реки тротуаров мягко журчали и плескались у ног. Автоматические ручьи потекли, поблескивая, через Город.

Эронсон радостно взирал на металлические стремнины.

— Вот и замечательно, гора с плеч! Я-то собирался устроить для вас пикник. А теперь пусть обо всем позаботится Город. Встретимся здесь же через два часа и сравним впечатления. В путь! — С этими словами он вскочил на бегущую серебряную дорожку, и та быстро понесла его прочь. Обеспокоенный Уайлдер двинулся было за ним. Но Эронсон весело крикнул: — Входите, не бойтесь, вода чудесная!..

И металлическая река унесла его. На прощание он помахал им.

Один за другим они шагнули на движущийся тротуар, и тот подхватил их своим течением. Паркхилл, охотник, поэт и жена поэта, актер и наконец красавица и ее служанка. Они плыли, как статуи, загадочным образом выросшие из струящейся лавы, и лава несла их куда-то — или никуда, — об этом они могли только гадать.

Уайлдер прыгнул. Река мягко прильнула к его подоплавам. Следуя ее руслу, он несся по плесам проспектов, огибал излучины парков, врезался в фиорды зданий.

А за ними остались опустевшая пристань и покинутые ворота. Ничто не указывало на то, что они проходили здесь. Как если бы их никогда и не было.

Бьюмонт, актер, сошел с самоходной дорожки первым. Одно из зданий приковало к себе его внимание. И не успел он сообразить, в чем дело, как уже соскочил и стал приближаться, втягивая ноздрями воздух.

И улыбнулся.

Теперь он понял, что за здание перед ним, понял по запаху.

— Мазь для чистки бронзы. А это, видит Бог, может означать одно-единственное...

Театр.

Бронзовые двери, бронзовые перила, бронзовые кольца на бархатных занавесах.

Он отворил двери здания и вошел. Еще раз принюхался и громко расхохотался. Точно. Без вывески, без огней. Один только запах, особая химия металла и пыли, бумажной пыли от миллионов оторванных билетов.

Но главное... Он прислушался. Тишина.

— Тишина, которая ждет. Другой такой не бывает. Только в театре можно встретить тишину, которая ждет. Самые частички воздуха млеют в ожидании. Полумрак затаил дыхание. Ну что ж... Готов я или нет, но я иду...

Фойе было бархатным, цвета подводной зелени.

А дальше сам театр — красный бархат, едва различимый в темноте за двойными дверьми. А еще дальше — сцена.

Что-то вздрогнуло, как огромный зверь. Зверь учуял добычу и ожил. Дыхание из полуоткрытых уст актера всколыхнуло занавес в ста футах впереди, свернуло и сразу же развернуло ткань, будто исполинские крылья.

Он неуверенно шагнул в зал.

На высоком потолке, где стаи сказочных многогранных рыбок плыли навстречу друг другу, затеплился свет.

Свет, аквариумный свет заиграл повсюду. У Бьюмонта захватило дух.

Театр был полон народу.

Тысяча зрителей сидела недвижно в искусственных сумерках. Правда, они были маленькие, хрупкие, непривычно смуглые и все в серебряных масках, но — зрители!

Он знал, не задавая вопросов, что они просидели здесь десять тысяч лет.

И не умерли.

Потому что они... Он протянул руку. Постучал по запястью мужчины, сидящего у прохода.

Запястье отозвалось тихим звоном.

Он прикоснулся к плечу женщины. Она тренькнула. Как колокольчик.

Ну да, они прождали несколько тысяч лет. В том-то и дело, что машины наделены таким свойством — ждать.

Он сделал еще шаг и замер.

Словно вздох пронесся по залу.

Это было как тот еле слышный звук, какой издает новорожденный за миг до первого настоящего вздоха, настоящего крика — крика жалобного изумления, что вот родился и живет.

Тысяча вздохов растаяла в бархатных портьерах.

А под масками — или почудилось? — приоткрылась тысяча ртов.

Двое шевельнулись. Он застыл как вкопанный.

В бархатных сумерках широко раскрылись две тысячи глаз.

Он двинулся вновь.

Тысяча голов беззвучно повернулась на древних, густо смазанных шарнирах.

Они следили за ним.

На него напал чудовищный, неодолимый холод.

Он рванулся, хотел бежать.

Но глаза не отпускали его.

А из оркестровой ямы — музыка.

Он глянул в ту сторону и увидел, как к пюпитрам медленно поднимаются инструменты — странные, насекомоподобные, гротескно-акробатических форм. Кто-то тихо настраивал их, ударяя по струнам и клавишам, поглаживая, подкручивая...

В едином порыве публика обернулась к сцене.

Вспыхнул полный свет. Оркестр грянул громкий победный аккорд.

Красный занавес расступился. Прожектор выхватил середину сцены, пустой помост и на нем пустой стул.

Бьюмонт ждал.

Актеры не появлялись.

Движение. Справа и слева поднялись несколько рук. Руки сомкнулись. Раздались легкие аплодисменты.

Луч прожектора скользнул со сцены вверх по проходу. Головы зрителей повернулись вслед за призрачным пятном света. Маски мягко блеснули. Глаза за масками словно потеплели, позвали...

Бьюмонт отступил.

Но луч неумолимо приближался, окрашивая пол конусом чистой белизны.

И остановился, прильнув к его ногам.

Публика, вновь обернувшись к нему, аплодировала все настойчивее. Театр гремел, ревел, грохотал бесконечными волнами одобрения.

Все растворилось внутри, оттаяло и согрелось. Будто его нагим выставили под летний ливень, и гроза благодатно омыла его. Сердце упоенно стучало. Кулаки сами собой разжались. Мышцы расслабились. Он постоял еще минуту, чтобы дождь оросил запрокинутое в блаженстве лицо, чтобы истомленные жаждой веки затрепетали и смежились, а затем помимо воли, как призрак со стен Эльсинора, ведомый призрачным светом, склонился и шагнул, скользнул, ринулся вниз и вниз по уклону к прекраснейшей из смертей, и вот уже не шел, а бежал, не бежал, а летел, — а маски сияли, а глаза под масками горели от возбуждения, от немыслимых приветственных криков, а руки взмывали и бились в разорванном воздухе, как голубиные крылья в перекрестье прицела. Он ощутил, что ноги достигли ступеней. Аплодисменты еще раз грохнули и смолкли.

Сглотнул слюну. Медленно поднялся по ступеням и встал в ярком свете перед тысячей обращенных к нему масок и двумя тысячами внимательных глаз. Сел на стул — в зале стемнело, и мощное дыхание кузнечных мехов стихло в штампованных глотках, и остался лишь гул автоматического улья, благоухающего во тьме машинным мускусом.

Обнял колени. Отпустил их. И начал:

— Быть или не быть...

Тишина стояла полная.

Ни кашля. Ни шевеления. Ни шороха. Ни движения век. Все — ожидание. Совершенство. Совершенный зрительный зал. Совершенный во веки веков. Совершеннее не придумаешь...

Он не спеша бросал слова в этот совершенный омут и чувствовал, как бесшумные круги расходятся и исчезают вдали.

— ...вот в чем вопрос.

Он читал. Они слушали. Он знал, что теперь его никогда и никуда не отпустят. Изобьют рукоплесканиями до полусмерти. Он уснет сном ребенка и проснется, чтобы вновь говорить. Он подарит им всего Шекспира, всего Шоу, всего Мольера, каждый кусочек, крошку, клочок, обрывок. Себя — со всем своим репертуаром.

Он поднялся, чтобы закончить монолог.

Закончив, подумал: похороните меня! Засыпьте меня! Заройте меня поглубже!

С горы послушно низвергнулась лавина.

Кара Корелли обнаружила дворец зеркал.

Служанка осталась снаружи.

А Кара Корелли прошла внутрь.

Она шла сквозь лабиринт, и зеркала снимали с ее лица день, потом неделю, потом месяц, а потом и год, и два года.

Это был дворец замечательной, успокоительной лжи. Будто снова она молода, будто окружена множеством высоких веселых зеркальных мужчин, которые никогда в жизни не скажут ей правду.

Кара достигла центра дворца. Когда она остановилась, то в каждом из светлых зеркальных отражений увидела себя двадцатипятилетней.

Она опустилась на пол в середине светлого лабиринта. Огляделась со счастливой улыбкой.

Снаружи служанка подождала ее, быть может, час. И ушла.

Место было темное, контуры его и размеры оставались пока невидимы. Пахло смазочными маслами,



кровью хищных ящеров с шестеренками и колесиками вместо зубов — ящеры залегли вразброс и молчаливо выжидали во мраке.

Исполинская дверь скользнула с ленивым ревом, словно зверь хлестнул бронированным хвостом, и Паркхилл очутился в вихре густого маслянистого ветра. Ему почудилось, что кто-то внезапно приклеил к его скулам белый цветок. Но это была просто-напросто улыбка удивления.

Ничем не занятые руки, свисавшие плетью по бокам, вдруг сами собой рванулись вперед. Просительно повисли в воздухе. И, подгребая ими как веслами, он дал себя подтолкнуть в Гараж, Ремонтный цех, Механическую мастерскую — или как там ее назвать.

Исполненный священного трепета, праведного и неправедного мальчишеского восторга, он вошел поглубже и осмотрелся.

Во все стороны, насколько хватал глаз, стояли машины.

Машины, бегающие по земле. Машины, летающие над землей. Машины, взобравшиеся на колеса и готовые ехать в любом направлении. Машины на двух колесах. Машины на трех, четырех, шести и восьми колесах. Машины, похожие на бабочек. Машины, напоминающие допотопные мотоциклы. Три тысячи машин выстроились шеренгой здесь, четыре тысячи поблескивали в готовности там. Тысяча пала ниц, сбросив колеса, обнажив внутренности, моля о ремонте. Еще тысяча приподнялась на тонконогих домкратах, подставив взгляду свои прекрасные днища, свои диски, шестеренки и патрубки, изящные, хитроумные, заклинающие, чтобы к ним прикоснулись, развинтили, притерли, перемотали, аккуратненько смазали...

У Паркхилла зачесались руки.

Он шел и шел вперед, сквозь первобытные трясинные запахи масел, меж древних и все-таки новых механических динозавров, и чем дольше смотрел на них, тем острее ощущал на лице собственную улыбку.

Конечно, Город, как всякий город, до известной степени может поддерживать себя сам. Но рано или

поздно редкостные бабочки, создания из стальных паутинок, сверхтонких смазок и пламенных грез, падают обратно на грунт. Машины, предназначенные для ремонта машин, ремонтирующих машины, старятся, заболевают и наносят себе увечья. А значит, нужен гараж чудовищ, сонное слоновье кладбище, куда алюминевые драконы приползают в надежде, что останется хоть кто-то живой среди вороха могучего, но мертвого металла, кто-то, кто возьмется и все наладит опять. Единственный над всеми этими машинами властелин, способный изречь: «Ты, прокаженный подъемник, восстань! Ты, аппарат на воздушной подушке, родись вновь!..» И, помазав их животворными маслами, притронувшись к ним волшебным разводным ключом, властелин дарует им новую, почти вечную жизнь в воздушных потоках над стремительными, как ртуть, дорожками...

Паркхилл миновал девятьсот роботов и роботесс, убитых обычной коррозией. А ведь он мог бы излечить их...

Немедля! Если начать немедля, подумал Паркхилл, засучивая рукава и жадно глядя вдоль шеренги машин, вытянувшейся на целую милю, вдоль ангара с цехами, талями, лифтами, складами, баками масла и шрапнелью инструментов, разбросанных тут и там в ожидании, когда же он их схватит; если начать немедля, то он сможет добраться до конца гигантского, нескончаемого гаража, аварийной станции, ремонтной мастерской, пожалуй, лет за тридцать.

Затянуть миллиард болтов, покопаться в миллиарде двигателей! Полежать под миллиардом железных туш великовозрастным перемазанным сиротой — он будет здесь один, всегда один, один на один с навек прекрасными, никогда и ни в чем не перечасными, деятельно жужжащими устройствами, механизмами, чудодейственными приспособлениями...

Руки сами собой метнулись к инструментам. Он стиснул гаечный ключ. Нашел низкую сорокаколенную тележку. Лег на нее ничком. Со свистом пронесся по гаражу. Тележка летела, тележка спешила...

Паркхилл исчез под исполинской машиной старозаветной конструкции.

Он исчез, но слышно было, как он копается в утробе машины. Лежа на спине, переговаривается с ней. И когда он шлепком пробудил наконец ее к жизни, машина заговорила в ответ.

Каждая из серебристых дорожек бежала куда-то.

Тысячи лет они бежали пустыми — только пыль неслась по ним к неведомым целям меж высоких уснувших стен.

Но вот на одну из таких дорожек ступил Эронсон и застыл, как старящаяся статуя.

И чем дальше он ехал, чем быстрее Город открывался его взору, чем больше зданий проносилось мимо, чем больше парков мелькало перед глазами, тем слабее и бледнее становилась его улыбка. Он невольно менялся в лице.

— Игрушка, — услышал он собственный шепот. Шепот был совсем старческим. — Еще одна... — голос его ослабел настолько, что почти пропал, — еще одна игрушка, и только...

Сверхигрушка, конечно. Но жизнь его была полным-полна игрушек с самого начала. Если не новый торговый автомат, то какой-нибудь иной чудо-ящик исполинских размеров или сверхсуперневероятный магнито-стереокомбайн. Будто он всю жизнь орудовал наждаком по железу — и вот руки стерлись до култей. От пальцев остались одни бугорки. Да нет, и бугорков не осталось, ни ладоней, ни кистей. Эронсон, мальчик-тюлень! Бездумные его ласты аплодировали Городу, а Город-то, в сущности, — очередной музыкальный ящик, изрыгающий идиотские звуки. И — он узнает мотив! Милосердный Боже! Все тот же неотвязный мотив!..

На мгновение он прикрыл глаза.

Тайное веко души упало, как леденящая сталь.

Круто повернувшись, Эронсон вновь ступил в серебряные воды дорожек.

Нашел ту из них, которая понесла его вспять к Великим Вратам.

На пути он встретил служанку Корелли, потерянно бродившую по разливу серебристых стремнин.

Поэт и его жена — неумолчной своей перебранкой они будили эхо повсюду, куда бы их ни занесло. Оглушили тридцать проспектов, обрушили витрины двухсот магазинов, сорвали листву с кустов и деревьев семидесяти пород и утомонились только тогда, когда голоса утонули в грохоте фонтана, вздымающегося в столичные выси как победный фейерверк.

— То-то и оно, — заявила жена поэта в ответ на его очередную грубость, — ты и сюда поперся лишь затем, чтобы вцепиться в первую женщину, какая тебе подвернется, и окатить ее зловонным своим дыханием и дрянными стихами. — Поэт ругнулся вполголоса. — Ты хуже, чем актер. И всегда в одной роли. Да замолчишь ли ты хоть когда-нибудь?

— А ты? — вскричал он. — Бог мой, я совсем уже прокис от тебя! Придержи язык, женщина, не то я брошусь в фонтан!

— Ты? Ну уж нет. Ты сто лет не мылся. Ты величайшая свинья века. Твой портрет украсит ближайший выпуск календаря для свинопасов...

— Знаешь, с меня хватит!..

Хлопнула дверь.

Пока жена соскочила с дорожки, побежала назад и забарабанила в дверь кулаками, та уже оказалась заперта.

— Трус! — визжала жена. — Открой!

В ответ глухо аукнулось нецензурное слово.

— Ах, прислушайся к этой сладостной тишине, — шепнул он себе в неоглядной скорлупе полутьмы.

Харпуэлл очутился в убаюкивающе громадном чревоподобном зале, над которым парил свод чистой безмятежности, беззвездная пустота.

В середине зала, в центре круга диаметром двести футов стояло некое устройство, стояла машина. В машине были шкалы, реостаты и переключатели, сиденье и рулевое колесо.

— Что же это за машина? — шепнул поэт, но подобрался поближе и нагнулся пощупать. — Именем Христа, сошедшего с Голгофы и несущего нам милосердие, чем она пахнет? Снова кровью и потрохами? Но нет, она чиста, как рубашка девственницы. И все же запах. Запах насилия. Разрушения. Чувствую — проклятая туша дрожит, как нервный породистый пес. Она набита какими-то штуками. Ну что ж, попробуем приложиться...

Он сел в машину.

— С чего же начнем? Вот с этого?

Он щелкнул тумблером.

Машина заскулила, как собака Баскервиллей, потревоженная во сне.

— Хорошо зверюга... — Он щелкнул другим тумблером. — Как ты передвигаешься, скотина? Когда твоя начинка включена вся, полностью, тогда что? Колес-то у тебя нет. Ну что ж, удиви меня. Я рискну...

Машина вздрогнула.

Машина рванулась.

Она побежала. Она понеслась.

Он вцепился в руль.

— Боже праведный!..

Он был на шоссе и мчался во весь дух.

Ветер свистел в ушах. Небо блистало переливающимися красками.

Спидометр показывал семьдесят, а потом и восемьдесят миль в час.

А шоссе впереди извивалось лентой, мерцало ему навстречу. Невидимые колеса шлепали и подпрыгивали по все более неровной дороге.

На горизонте показалась другая машина.

Она тоже шла быстро. И...

— Да она же не по той стороне едет! Ты видишь, жена? Не по той стороне!..

Потом он сообразил, что жены с ним нет.

Он был один в машине, которая мчалась — уже со скоростью девяносто миль в час — навстречу другой машине, несущейся с не меньшей скоростью.

Он рванул руль.

Машина вильнула влево.

Тотчас же та, другая машина повторила его маневр и перешла на правую сторону.

— Идиот, дубина, что он себе думает? Где тут чертов тормоз?

Он пошарил ногой по полу. Тормоза не было. Вот уж поистине диковинная машина! Машина, которая мчится с какой угодно скоростью и не останавливается до тех пор, пока — что? Пока не выдохнется? Тормоза не было. Не было ничего, кроме все новых акселераторов. Кроме целого ряда круглых педалей на полу — он давил на них, а они вливали в мотор новые силы.

Девяносто, сто, сто двадцать миль в час.

— Господи! — воскликнул он. — Мы же сейчас столкнемся! Как тебе это понравится, малышка?..

И в самый последний момент перед столкновением он представил себе, что ей это таки здорово понравится.

Машины столкнулись. Вспыхнули бесцветным пламенем. Разлетелись на осколки. Покатались кувырком. Он ощутил, как его швырнуло влево, вправо, вверх, вниз. Он стал факелом, сброшенным в небо. Руки его и ноги исполнили на лету сумасшедший танец, а кости, словно мятные палочки, крошились в хрупком, мучительном экстазе. И, оседлав смерть как темную лошадку, извиваясь в ее стремени, он упал в мрачном изумлении обратно и погрузился в небытие.

Он лежал мертвый.

Он лежал мертвый долго-долго.

Наконец он приоткрыл один глаз.

В душе медленно разливалось тепло. Будто пузырек за пузырьком поднимался к поверхности сознания, и там заваривался свежий чай.

— Я мертв, — сказал он, — но живой. Ты видела это, жена? Мертв, но живой...

Оказалось, что он сидит, выпрямившись, в машине.

И он сидел так минут десять, размышляя, что же с ним произошло.

— Смотри-ка ты, — размышлял он вслух. — Ну не интересно ли? Чтобы не сказать — восхитительно? Чтобы не сказать — почти пьяняще? То есть да, дух из меня вышибло, напугало до чертиков, стукнуло под ложечку и вырвало кишки, поломало кости и вытрясло мозги — и, однако... И, однако, жена, и, однако, дорогая моя Мэг, Мэгги-Мигэн, хотелось бы мне, чтобы ты была здесь со мной, — может, выбило бы весь табачный деготь из твоих запакошенных легких и вытряхнуло бы замшелую кладбищенскую подлость из души твоей. Дай-ка мне тут оглядеться, жена. Дай-ка он оглядится тут, Харпуэлл, твой муж, поэт...

Он склонился над приборами.

Он запустил гигантскую собаку-двигатель.

— Рискнем еще чуток развлечься? Еще раз выйти в бой, как на пикник? Рискнем...

И он тронул машину с места.

И почти тотчас же она понеслась со скоростью сто, а затем и сто пятьдесят миль в час.

Почти сразу же впереди показалась встречная машина.

— Смерть, — сказал поэт. — Значит, ты всегда на чеку? Значит, тут ты и околачиваешься? Тут твои охотничьи угодья? Ладно, испытаем твой характер...

Машина неслась. Встречная мчалась.

Он переехал на другую сторону.

Встречная последовала его примеру, нацеленная на Разрушение.

— Ага, понятно, ну тогда вот тебе, — сказал поэт.

И щелкнул еще одним тумблером, и нажал еще один дроссель.

За миг перед ударом обе машины преобразились. Прорвав покровы иллюзий, они превратились в реактивные самолеты на старте. Оба самолета с воем выстреливали пламя, раздирали воздух, колошматили его взрывами, устремляясь сквозь звуковой барьер к самому могучему из барьеров — и, как две столкнувшиеся пули, сплывались, слились, смешались кровью, сознанием и

мраком и пали в сети непостижимой безмятежной полуночи.

Я мертв, подумал он снова.

И это прекрасное чувство. Спасибо.

Он очнулся и понял, что улыбается.

Он сидел в машине.

Дважды умер, подумал он, и с каждым разом мне лучше и лучше. Почему? Не странно ли? Чуднее и чуднее, как говаривала Алиса в Стране чудес. Странно сверх всякой странности...

Он опять запустил мотор.

— Двигается ли она на самом деле? — спросил он себя. — А черный пытящий паровик из почти доисторических времен — это она умеет?

И вот он уже в пути, машинистом. Небо мелькает сверху, и киноэкраны, или что там еще, наваливаются чередой видений: дым струится, пар висит над свистком, огромные колеса катятся по скрежещущим рельсам, и рельсы змеятся вперед через горы, и вдалеке из-за гор выныривает другой поезд, черный, как стадо бизонов, и, изрыгая клубы дыма, несется по тем же рельсам, по тому же пути навстречу дивной аварии.

— Я понял, — сказал поэт. — Начинаю понимать. Начинаю осознавать, что это и зачем. Это для таких, как я, жалких бездомных идиотов, обиженных, едва мама вытолкнула их на свет, помешавшихся на разрушении и христианском комплексе личной вины, собирающих, как подавание, то шрам, то рану, то нескончаемые упреки жены, но одно точно: мы хотим умереть, мы хотим быть убитыми. Так вот же оно, то, чего мы жаждем, выплата незамедлительно, прямо на месте! Валяй, машина, выплачивай! Выдавай свои чеки, упительное бредовое изобретение! Насилуй меня, смерть! Я создан для тебя!..

И два паровоза сошлись и вскарабкались друг на друга. Влезли на мрачную лестницу взрыва и завертелись, сомкнув шатуны, и слиплись гладкими негритянскими животами, и соприкоснулись котлами, и красочно раскололи ночь вихревым шквалом осколков и пламени. А затем сплелись в изнурительном неуклюжем



танце, сплывались в ярости и страсти, поклонились чудовищным поклоном и свалились в пропасть — и тысячу лет падали на ее каменистое дно.

Очнувшись, он сразу же схватился за рычаги управления. Ошеломленный, напевал себе что-то вполголоса. Выводил дикие мелодии. Глаза сверкали. Сердце иступленно билось.

— Еще, еще, теперь я все понял, я знаю, что делать, еще, еще, прошу тебя, Господи, еще, ибо правда даст мне свободу, еще, еще!..

Он нажал одновременно на три, четыре, пять педалей.

Он щелкнул шестью тумблерами.

Машина стала гибридом автомобиля, самолета, паровоза, планера, снаряда, ракеты.

Гибрид катился, извергал пар, рычал, реял, летел. Мчались навстречу автомобилю. Набегали паровозы. Взывались самолеты. Выли ракеты.

И в едином сумасшедшем трехчасовом гульбище он разбил две сотни машин, взорвал два десятка поездов, сбил десять планеров, протаранил сорок ракет и наконец где-то в космических далях отдал свою славную душу в последней торжественной самоубийственной церемонии, когда межпланетный корабль на скорости двести тысяч миль в час столкнулся с метеоритом и пошел распрекрасно ко всем чертям.

Всего, по собственным его подсчетам, он за несколько коротких часов был разорван на куски и снова слеплен в одно целое немногим менее пятисот раз.

Когда все кончилось, он полчаса сидел, не притрагиваясь к рулю, не прикасаясь к педалям.

Через полчаса он начал смеяться. Закинув голову, он издавал оглушительные воинственные трубные клики. Потом поднялся, тряся головой и качаясь, более пьяный, чем когда-либо в жизни, на сей раз действительно пьяный, — и понял, что пребудет теперь в таком состоянии до гробовой доски и никогда больше не испытает потребности выпить.

Я понес наказание, подумал он, наконец-то я понес настоящее наказание. Наконец-то я избит и изранен,

так избит и изранен, что никогда более не понадобится мне боль, никогда не понадобится быть умерщвленным снова, оскорбленным еще раз, еще раз раненным, не понадобится даже испытать простую обиду. Благослови, Боже, гений человеческий — и гений изобретателей таких машин, которые позволяют виновному искупить вину и избавиться от черного альбатроса, от страшного груза на шее. Спасибо тебе, Город, спасибо, чертежник, готовивший кальки с мятущихся душ. Благодарю тебя. Где же тут выход?..

Открылась раздвижная дверь.

За дверью его поджидала жена.

— Ну вот и ты, — сказала она. — И все еще пьян.

— Нет, — ответил он. — Мертв.

— Пьян.

— Мертв, — повторил он. — Наконец-то блистательно мертв. Ты не нужна мне больше, бывшая Мэг, Мэгги-Мигэн. Ты тоже свободна теперь, ты и твоя нечистая совесть. Иди, малышка, преследуй кого-нибудь другого. Иди казни его. Прощаю тебе твои грехи против меня, ибо я наконец простил себя. Я вырвался из христианской ловушки. Я стал привидением — я умер и потому наконец могу жить. Иди, женщина, и поступи, как я. Войди, понеси наказание и обрети свободу. Честь имею, Мэг. Прощай. Будь!..

Он побрел прочь.

— Куда же ты? — закричала она.

— Как «куда»? Туда, в жизнь, в полнокровную жизнь — счастливый, наконец-то счастливый...

— Вернись сейчас же! — взвизгнула она.

— Невозможно остановить мертвых: они странствуют по Вселенной, беспечные, как дети на темном лугу...

— Харпуэлл! — взревела она. — Харпуэлл!..

Но он уже ступил на реку серебристого металла, чтобы та несла его, смеющегося, пока на щеках не заблестят слезы, все дальше от крика, и визга, и рева той женщины — как же ее зовут? — неважно, она там сзади, и нет ее.

Когда он достиг Врат, то вышел на волю и пошел вдоль канала среди ясного дня, направляясь к дальним городам.

К тому времени он распевал старые-престарые песни, те, какие знал, когда ему было лет шесть.

Это была церковь.

Нет, не церковь.

Уайлдер отпустил дверь, и она затворилась.

Он стоял один в соборной тишине и чего-то ждал.

Крыша, если вообще была крыша, приподнялась и взмыла вверх, недостижимая, невидимая.

Пол, если вообще был пол, ощущался лишь твердью под ногами. И тоже был совершенно невидим.

А затем появились звезды. Как в детстве, в тот первый вечер, когда отец повез его за город, на холм, где фонари не могли сократить размеры Вселенной. И во тьме горела тысяча, нет, десять тысяч, нет, десять миллионов миллиардов звезд. Звезды были такие разные, яркие — и безразличные. Уже тогда он понял: им все равно. Дышу ли я, страдаю ли, жив ли, мертв ли — им все равно. И он уцепился за руку отца и сжимал ее изо всех силенок, будто мог упасть туда вверх, в бездну.

И вот здесь, в этом здании, он вновь испытал тот же страх, и то же чувство прекрасного, и ту же невыносимую жалость к человечеству. Звезды наполняли душу состраданием к маленьким людишкам, затерянным в этой безбрежности.

Потом произошло еще что-то.

Под ногами у него разверзлась такая же пропасть, и еще миллиард искорок вспыхнул внизу.

Он был подвешен, как муха, на огромной телескопической линзе. Он шел по волнам пространства. Он стоял на прозрачности исполинского ока, а вокруг простиралась зимняя ночь — и под ногами, и над головой, и во все стороны не осталось ничего, кроме звезд.

Значит, в конце концов, это была все-таки церковь. Это был храм, вернее, множество разбросанных по Вселенной храмов: вон там поклоняются туманности Конская голова, там галактике в Орионе, а там Андромеда,

как чело Бога, хмурится устрашающе, буравит сырую черную сущность ночи, норовя впиться ему в душу и пронзить ее, загнать в корчах на дальние задворки тела.

Бог взирал на него отовсюду безвекими, немигающими глазами.

А он, ничтожная клетка плоти, отвечал Богу взглядом в упор и лишь чуть-чуть вздрогнул.

Он ждал. И из пустоты выплыла планета. Обернулась разок вокруг оси, показав свое большое спелое, как осень, лицо. Сделала виток и прошла под ним.

И оказалось, что он стоит на земле далекого мира, где растут огромные сочные деревья и зеленеет трава, где воздух свеж и река струится, как реки детства, поблескивая солнцем и прыгающими рыбками.

Он знал: чтобы достичь этого мира, пришлось лететь долго, очень долго. За его спиной лежала ракета. За его спиной лежали сто лет пути, затяжного сна, ожидания — и вот награда.

— Мое? — спросил он у бесхитростного воздуха, у простодушной травы, у медлительной скромной воды, что петляла мимо по песчаным отмелям.

И мир без слов ответил: твое.

Твое — без долгих скитаний и скуки, твое — без девяности девяти лет полета, без сна в специальных камерах, без внутривенного питания, без кошмарных снов о Земле, утраченной навсегда, твое — без мучений, без боли, твое — без проб и ошибок, неудач и потерь. Твое — без пота и без страха. Твое — без ливня слез. Твое. Твое!..

Но Уайлдер не протянул рук, чтобы принять дар.

И солнце померкло в чужом небе.

И мир уплыл из-под ног.

И другой мир подплыл и провел парадом еще более яркие чудеса.

И этот мир точно так же волчком подкатился ему под ноги. И луга здесь, пожалуй, были еще сочнее, на горах лежали шапки талых снегов, неоглядные нивы зрели немыслимыми урожаями, а у кромки нив ждали косы, умоляющие, чтобы он их поднял, и взмахнул

плечом, и сжал хлеб, и прожил здесь жизнь так, как только захочет.

Твое. Самое дуновение ветерка, прикосновение воздуха к чуткому уху говорили ему: твое.

Но Уайлдер, даже не качнув головой, отступил назад. Он не произнес: нет. Он лишь подумал: отказываюсь.

И травы увяли на лугах.

Горы осыпались.

Речные отмели затянула пыль.

И мир отпрянул.

И вновь Уайлдер стоял наедине с пространством, как стоял Бог-отец перед сотворением мира из хаоса.

И наконец он заговорил и сказал себе:

— Как это было бы легко! Черт возьми, это было бы здорово. Ни работы, ничего, знай себе бери. Но... вы не в силах дать мне то, что мне нужно...

Он бросил взгляд на звезды.

— Даром не достается ничего. Никогда...

Звезды начали тускнеть.

— Все, в сущности, просто. Сначала надо заработать. Надо заслужить...

Звезды затрепетали и погасли.

— Премного благодарен, но спасибо, нет...

Звезд не стало.

Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал сквозь темноту. Ударил ладонью в дверь. Вышел в Город.

Он не слышал, как Вселенная-автомат за его спиной заголосила, забила в рыданиях и обидах, словно женщина, которой пренебрегли. В исполинской роботовой кухне полетела посуда. Но когда посуда грохнулась на пол, Уайлдер уже исчез.

Охотник попал в музей оружия.

Прошелся между стендами.

Открыл одну из витрин и взвесил на руке нечто, похожее на усики паука.

Усики загудели, из дула вырвался рой металлических пчел, они ужалили цель-манекен ярдах в пятидесяти и упали замертво, зазвенев по полу.

Охотник кивнул восхищенно и положил нечто обратно в витрину.

Крадучись двинулся дальше, зачарованный, как дитя, пробуя наудачу то одно оружие, то другое: выстрелы растворяли стекло, заставляли металл растекаться ярко-желтыми лужицами расплавленной лавы.

— Отлично! Замечательно! Просто великолепно! — вновь и вновь восклицал он, с грохотом открывая и закрывая витрины, пока наконец не выбрал себе ружье.

Ружье, которое спокойно и беззлобно уничтожало материю. Достаточно нажать кнопку — мгновенная вспышка синего света, и цель обращается в ничто. Ни крови. Ни яркой лавы. Никакого следа.

— Ладно, — объявил он, покидая музей, — оружие у нас есть. Теперь как насчет дичи? Где ты, Великий Зверь Большой Охоты?

Он прыгнул на движущийся тротуар.

За час он промчался мимо тысячи зданий, окинул взглядом тысячу парков, а палец даже ни разу не зачесался.

Смятенный, он перепрыгивал с ленты на ленту, меняя скорости и направления, бросался то туда, то сюда, пока не увидел реку металла, устремляющуюся под землю.

Не задумываясь кинулся к ней.

Металлический поток понес его в сокровенное чрево столицы.

Здесь царила теплая, кровавая полутьма. Здесь диковинные насосы заставляли биться пульс Диа-Сао. Здесь перегонялись соки, смазывающие дороги, поднимающие лифты, наполняющие движением конторы и магазины.

Охотник застыл, пригнувшись. Глаза прищурились. Ладони взмокли. Курковый палец заскользил, прижимаясь к ружью.

— Да, — прошептал он. — Видит Бог, пора. Вот оно! Сам Город — вот он, Великий Зверь! Как же я до этого раньше не додумался? Город — чудовище, отвратительный хищник. Пожирает людей на завтрак, на обед

и на ужин. Убивает их машинами. Перемалывает им кости, как сдобные булочки. Выплевывает, как зубочистки. И продолжает жить сотни лет после их смерти. Город, видит Бог, Город! Ну что ж...

Он плыл по тусклым гротам телевизионных очей, которые показывали оставшиеся наверху аллеи и здания-башни.

Все глубже и глубже погружался он вместе с рекой в недра подземного мира. Миновал стаю вычислительных устройств, стрекочущих маниакальным хором. Поневоле вздрогнул, когда какая-то гигантская машина осыпала его бумажным конфетти, как шелестящим снегом, — что, если эти дырки на перфокарте выбиты, чтобы зарегистрировать его прохождение?..

Поднял ружье. Выстрелил.

Машина растаяла.

Выстрелил снова. Ажурный каркас, поддерживающий другую машину, обратился в ничто.

Город вскрикнул.

Сперва басом, потом фальцетом, а затем голос Города стал подниматься и опускаться, как сирена. Замелькали огни. Звонки зазвонили тревогу. Металлическая река у него под ногами задрожала и замедлила бег. Он стрелял в телеэкраны, уставившиеся на него враждебными бельмами. Экраны туманились и исчезали.

Город кричал все пронзительнее, кричал, пока охотник сам не разразился проклятиями и не стряхнул с себя этот безумный крик, словно зловещий прах.

Он не замечал, вернее, заметил, но слишком поздно, что дорога, по которой он мчался, низвергается в голодную пасть машины, исполнявшей какую-то позабытую функцию многое множество веков назад.

Он решил, что, нажав на спуск, заставит ужасную пасть растаять. И она действительно растаяла. Но дорожная лента неслась, как прежде, — он пошатнулся и упал, а она побежала еще быстрее, и тогда он сообразил наконец, что его оружие вовсе не уничтожает цель, а лишь делает ее невидимой, и пасть осталась как была, только он ее больше не воспринимал.

Он испустил отчаянный крик, под стать крику Города. Диким рывком отшвырнул ружье. Оно полетело в шестерни, в колеса и зубья и было там перемолото и смято.

Последнее, что он увидел, — глубочайший ствол шахты, уходящей вниз на целую милю.

Он знал, что пройдет минуты две, не меньше, прежде чем он достигнет дна.

Хуже всего то, что он останется в сознании. В полном сознании до самого конца падения.

Реки всколыхнулись. Серебристую их поверхность покрыла рябь. Дорожки ошеломленно хлынули на свои исконные железные берега.

Уайлдера чуть не бросило навзничь.

Что вызвало сотрясение, он видеть не мог. Пожалуй, откуда-то издали донесся крик, отзвук ужасного крика, который тут же и смолк.

Он двинулся дальше. Серебристая лента по-прежнему ползла вперед. Но Город, казалось, вздыбился с разверстой пастью. Город весь напрягся. Исполинские, неисчислимые его мышцы напружинились, готовясь — к чему?..

Уайлдер почувствовал растущее напряжение и — мало того, что дорожка несла его, — зашагал по ней сам.

— Слава Богу. Вот и Врата. Чем скорее я вырвусь отсюда, тем...

Врата действительно были на месте, менее чем в ста ярдах. Но в тот же миг, будто услышав его слова, река остановилась. Река встрепенулась. И поползла в обратном направлении, туда, куда он вовсе не хотел возвращаться.

Озадаченный, Уайлдер резко повернулся, споткнулся и упал. Попробовал ухватиться за поверхность стремительного тротуара. Лицо его оказалось прижатым к решетчатой, трепещущей реке-дорожке, и он расслышал гул и скрежет подземных механизмов, их гул и стон, их вечное движение, вечную готовность принять



путешественников и бездельников-туристов. Под покровом невозмутимого металла жужжали и жалили выстроившиеся в боевые порядки шершни, а пчелы, напротив, не находили целей, гудели и затихали. Уайлдер был распростерт ничком и мог лишь наблюдать, как Врата остаются далеко позади. Что-то прижимало его к тротуару, и он вдруг вспомнил: на спину давит реактивный ранцевый двигатель, способный дать ему крылья.

Он рванул выключатель у пояса. И в то мгновение, когда река уже почти унесла его в море гаражных и музейных стен, поднялся в воздух.

Взлетев, он завис на месте, потом поплыл назад и заметил Паркхилла, который случайно глянул вверх и улыбнулся измазанными щеками. Дальше, у самых Врат, топталась перепуганная служанка. Еще дальше, на пристани возле яхты, стоял, нарочито спиной к Городу, Эронсон — богач нервничал, ему не терпелось отчалить.

— Где остальные? — крикнул Уайлдер.

— Остальные не вернутся, — отозвался Паркхилл непринужденно. — Оно и понятно, не правда ли? То есть я хотел сказать — место ничего себе...

— Ничего себе! — повторил Уайлдер, покачиваясь в воздушных потоках и беспокойно осматриваясь. — Нужно их всех вывести. Здесь небезопасно.

— Если нравится — безопасно, — ответил Паркхилл. — Мне лично нравится...

А между тем на них со всех сторон надвигалась гроза, только Паркхилл предпочитал не замечать ее приближения.

— Вы, конечно, уходите, — произнес он самым обыденным тоном. — Я так и знал. Но зачем уходить?

— Зачем? — Уайлдер описывал круги, как стрекоза перед первым ударом шторма. Капитана кидало то вверх, то вниз, а он швырял словами в Паркхилла, который и не думал уклоняться и с улыбкой принимал все, что слышал. — Да, черт возьми, Сэм, это место — ад! У марсиан хватило ума убратся отсюда. Сообразили, что понапихали сюда всего сверх всякой меры.

Проклятый Город делает за вас все, а все — это уже чересчур. Опомнись, Сэм!..

Но в этот момент оба они оглянулись, подняли глаза. Небо сжималось, как раковина. Над головой сходились чудовищные жалюзи. Верхушки зданий стягивались, сближались краями, как лепестки гигантских цветов. Окна затворялись. Двери захлопывались. По улицам перекатывалось гулкое пушечное эхо.

С громовым рокотом закрывались Врата. Двойные их челюсти смыкались, дрожа.

Уайлдер вскрикнул, развернулся и рванулся в пике.

Снизу донесся голос служанки. Она тянула к нему руки. Снизившись, он подхватил ее. Лягнул воздух. Реактивная струя подняла их обоих.

Он ринулся к воде, как пуля к мишени. Но за секунду до того, как ему, перегруженному, удалось достичь цели, челюсти с лязгом сомкнулись. Едва успев изменить курс, он взмыл вверх по стене заскорузлого металла, — а позади Город, весь Город сотрясаясь в грохоте стали.

Где-то внизу пропищал что-то Паркхилл. А Уайлдер летел вверх и вверх, озираясь по сторонам. Небо сворачивалось. Лепестки сближались, сближались. Уцелел лишь единственный клочок каменного свода справа. Уайлдер рванулся туда. Отчаянным усилием проскочил на свободу — и тут последний фланец, щелкнув, стал на место, и Город полностью замкнулся в себе.

На миг капитан притормозил и завис, затем начал спускаться вдоль внешней стены к пристани, где Эронсон все стоял возле яхты, уставившись на запертые Врата.

— Паркхилл, — сказал Уайлдер чуть слышно, окидывая взглядом Город, вернее, Врата и стены. — Ну и дурак же ты! Круглый дурак...

— Все они хороши, — поддержал капитана Эронсон, отворачиваясь. — Дурачье! Глупцы!..

Они подождали еще немного, прислушиваясь к гулу Города, живущего своей жизнью. Алчная пасть Дия-Сао поглотила несколько атомов теплоты, несколько

крошечных людишек затерялись там внутри. Теперь Врата пребудут запертыми во веки веков. Хищник получил то, что ему требовалось, и этой пищи ему теперь хватит надолго...

Яхта вынесла их по каналу из-под гребня горы, а Уайлдер все смотрел и смотрел назад, туда, где остался Город.

Милей дальше они нагнали бредущего бережком поэта. Поэт помахал им рукой:

— Нет-нет! Спасибо, нет. Мне хочется пройтись. Чудесный денек. До свидания. Плывите на здоровье...

Впереди лежали города. Маленькие города. Достаточно маленькие, чтобы люди управляли ими, а не они управляли людьми. Уайлдер уловил звуки духового оркестра. В сумерках различил неоновые огни. В свежей звездной ночи разглядел свалку мусора.

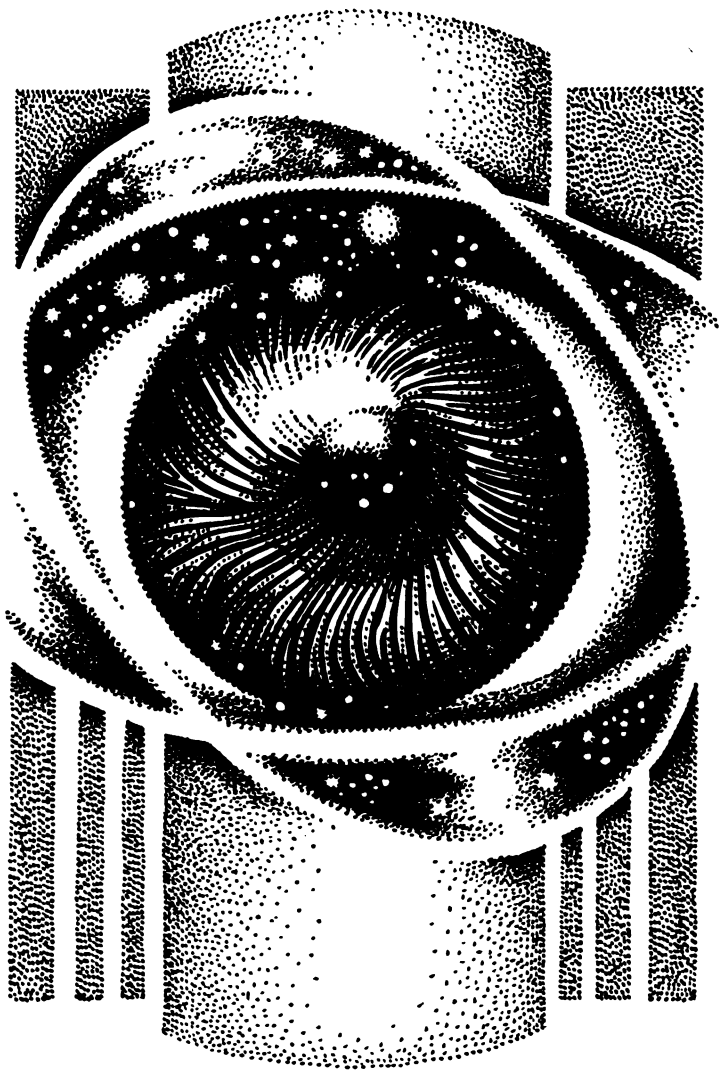
А над городом высились серебряные ракеты, поджидающие, когда же их наконец запустят и направят к пустыням звезд.

— Настоящие, — шептали ракеты, — мы настоящие. Настоящий полет. Пространство и время — все настоящее. Никаких подарков судьбы. Ничего задаром. Каждая мелочь — ценой настоящего тяжелого труда...

Яхта причалила к той же пристани, откуда начала плавание.

— Ну, ракеты, — прошептал Уайлдер в ответ, — погодите, вот доберусь я до вас...

И побежал в ночь. Туда, к ним.



**К — ЗНАЧИТ  
КОСМОС**



## ПРЕВРАЩЕНИЕ

**Н**у и запах тут, подумал Рокуэл. От Макгайфра несет пивом, от Хартли — усталой, давно не мытой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатки.

Этот Смит — уже труп. Рокуэл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп.

— Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сам понимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскрыют...

Он не договорил — Хартли поднял руку. Костлявой трясущейся рукой показал на тело Смита — на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.

— Возьми стетоскоп, Рокуэл, и послушай еще раз. Еще только раз. Пожалуйста.

Рокуэл хотел было отказаться, но раздумал, снова сел и достал стетоскоп. Собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь...

Тесная полутемная комнатуха вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела.

Он услышал дрожь жизни.

В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце. Будто отдалось далекое эхо в морской пучине.

Смит мертв, не дышит, заостенел. Но внутри этой мумии сердце живет. Живет, встрепенулось, будто еще не рожденный младенец.

Пальцы Рокуэла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около тридцати пяти. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца.

Один удар за тридцать пять секунд.

А дыхание Смита — как этому поверить? — один вздох за четыре минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну а температура?

Шестьдесят\*.

Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало:

— Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже три месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил, Рокуэл. Он... это что-то противоестественное.

Да, это просто невозможно — и как раз поэтому Рокуэла охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Их затянуло кожей. И губы срослись. И ноздри. Воздуху нет доступа...

---

\* По Фаренгейту, то есть около 16° С.

— И все-таки он дышит...

Рокуэл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки.

Хартли встал над столом — высокий, тощий, измученный.

— Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад.

Темные глаза Рокуэла вспыхнули, округлились от изумления.

— Как он мог предупредить? Он же недвижим.

Исхудалое лицо Хартли — заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза — болезненно передернулось.

— Смит... *думает*. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри. — Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер:

— На, Мэрфи. Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп!

Макгайр попятился, на круглом красном лице — испуг.

— Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Рокуэл.

Рокуэл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель:

— Убери револьвер, Хартли. Ты три месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает. — Он провел языком по пересохшим губам. — Что за болезнь подхватил Смит?

Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. Засыпает стоя, понял Рокуэл. Не сразу Хартли удалось выговорить:

— Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой... неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?



— Да, конечно, — Рокуэл улыбнулся. — У меня в пустыне санаторий, самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит... это же самый невероятный случай за всю историю медицины! С человеческим организмом такого просто не бывает!

Хартли прицелился из револьвера ему в живот.

— Стоп. Стоп. Ты... ты не просто упрячешь Смита подальше, это не годится! Я думал, ты мне поможешь. Он зловредный. Его надо убить. Он опасен! Я знаю, он опасен!

Рокуэл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Рокуэл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен.

— Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался и умственно и физически. Убери револьвер.

Они в упор смотрели друг на друга.

Рокуэл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мэрфи — тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит.

— Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я там не буду неделю. Может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории.

Толстая красная физиономия Мэрфи сердито скривилась.

— А что мне делать с пистолетом?

Хартли стиснул зубы, процедил:

— Возьми его себе. погоди, еще сам захочешь пустить его в ход.

Рокуэлу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках — невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория; Смит, безмолвный, лежал на столе, красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской.

Рокуэл неслышными шагами вошел в палату. Прижал стетоскоп к зеленой груди. Получалось то ли цара-

панье, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромного жука.

Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижимое тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом.

Рокуэл сосредоточенно вслушивался.

— Наверно, в машине скорой помощи его сильно растрясло. Не следовало рисковать...

Рокуэл вскрикнул.

Макгайр, волоча ноги, подошел к нему:

— Что случилось?

— Случилось? — Рокуэл в отчаянии огляделся. Сжал кулак. — Смит умирает!

— С чего ты взял? Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит...

— Нет! — Рокуэл выбивался из сил над бессловесным телом, пытался впрыснуть лекарство. Любое. И ругался на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь!

А там, внутри, под зеленым панцирем тело Смита содрогалось, билось, корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан.

Рокуэл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый. Обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как?

Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе. Солнце. Рокуэл смотрит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнате стало темнее. И тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился.

— Макгайр! Опустит шторы! Скорей, пока не выглянуло солнце!

Макгайр повиновался.

Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки.

— Солнечный свет Смицу вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, отчего и почему, но это ему опасно... —

Рокуэл вздыхает с облегчением. — Господи, только бы не потерять его. Только бы не потерять. Он какой-то не такой, он создает свои правила, что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мэрфи?

— Ну?

— Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял: Смиту я по душе.

— Бр-р! Сперва Хартли. Теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?

— Нет, не говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает.

— Просто-напросто он в столбняке. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал. Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу.

Дверь одноместной палаты медленно, со скрипом отворилась. Рокуэл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь немалый рост, стоял Хартли; после нескольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно.

— Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом, — негромко сказал он. — Ну?

— Ни с места, — сердито приказал Рокуэл, подходя к нему. — Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю: я тебе не доверяю. — Оружия у Хартли не оказалось. — Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света?

— Как? — тихо, не сразу прозвучало в ответ. — А... да. Я забыл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не заостенел окончательно и еще мог говорить и есть, аппетит у него был

волчий, и он предупредил, чтоб я три месяца не трогал его с места. Сказал, что хочет оставаться в тени. Что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь, потом впал в оцепенение — и вот, полюбуйтесь... — Хартли невнятно выругался. — Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угробишь.

Макгайр всколыхнулся всей своей тушей — двести пятьдесят фунтов.

— Слушайте... а вдруг мы заразимся этой Смитовой болезнью?

Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились.

— Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признаки вырождения. Это как рак. Им не заражаешься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смицу ни страха, ни ненависти, это пришло только неделю назад, — тогда я убедился, что он дышит, и существует, и процветает, хотя ноздри и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должно быть.

— А вдруг и ты, и я, и Рокуэл тоже станем зеленые и эта чума охватит всю страну, тогда как? — дрожащим голосом выговорил Макгайр.

— Тогда, если я ошибаюсь — может быть, и ошибаюсь, — я умру, — сказал Рокуэл. — Только меня это ни капельки не волнует.

Он повернулся к Смицу и продолжал делать свое дело.

Колокол звонит. Колокол. Два, два колокола. Десять колоколов, сто. Десять тысяч, миллион оглушительных, гремющих, лязгающих металлом колоколов. Все разом ворвались в тишину, воют, режут, отдаются мучительным эхом, раздирают уши!

Звонят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопушки, в воздухе несмолкаемый грохот и треск!

Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть — веки замкнуты, знает, ничего ему не сказать — губы срослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают.

Видеть он не может. Но нет, все-таки может, и кажется — перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть и вдруг понимает — язык пропал, там, где всегда был язык, пустота, щемящая пустота будто жаждет вновь его обрести, но сейчас — не может.

Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола. И они останавливаются, блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит. Происходит.

Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не поворачивается. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова — ничто не слушается. Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело — недвижимы, застыли, скованы, будто в бетонном гробу.

И еще через минуту страшное открытие: он больше не дышит. По крайней мере, легкими.

— *Потому что у меня больше нет легких!* — вопит он. Вопит где-то внутри, и этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смику стало спокойнее.

«Я не боюсь, — подумал он. — Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсе не боюсь, а почему — не знаю.

Ни языка, ни ноздрей, ни легких.

Но потом они появятся. Да, появятся. Что-то... что-то происходит».

В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабер, вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как — бьется еще или нет?

Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный багровый ропот возникает вокруг, поток, река... медленная, еще медленней, еще. Так славно.

Так отдохновенно.

Дни сливаются в недели, и быстрее складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он уже многие годы у Рокуэла секретарем. Не Бог весть какая подмога, но славный товарищ.

Рокуэл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но неспокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однажды притих, призадумался — и сказал неторопливо:

— Вот что, я только сейчас сообразил: Смит живой! Должен бы помереть. А он живой. Вот так штука!

Рокуэл расхохотался:

— А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри Смитовой скорлупы.

Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу. Игла сломалась. Рокуэл сменил иглу, потом еще одну и наконец проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос, заговорил быстро:

— Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Понимаешь, я капнул взвесь стрептококков, и за восемь секунд они все погибли! Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию — он любую бациллу уничтожит, он ими лакомится!

За считанные часы сделаны были и еще открытия. Рокуэл лишился сна, ночью ворочался в постели с боку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру. С тех пор как Смит заболел и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. НИ ГРАММА ЭТОЙ ПИЩИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО. Вся она сохраняется

про запас — и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде: это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унции довольно, чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее усваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее!

Рокуэл ликовал — вот это открытие! В теле Смита накопилось этого икс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне.

Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко.

— Вот бы и мне так...

Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе. А нужное ему количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает до последней молекулы. Никаких отходов.

— И ко всему, — закончил Рокуэл, — в последнем счете Смит, пожалуй, вовсе не надо будет, чтоб у него билось сердце, он и так обойдется!

— Тогда он умрет.

— Для нас с тобой — да. Для самого себя — может быть. А может, и нет. Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеносная система, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваивает каждую молекулу; система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для любых микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении!

Хартли принял открытие с досадой. И твердил свое: Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен.

Макгайр еще подлил масла в огонь:

— Почем знать, может, возбудителя этой болезни и в микроскоп не увидишь, а он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другие микробы. Ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифи-

лис; отчего бы новой неведомой бацилле не пожрать все остальные?

— Довод веский, — сказал Рокуэл. — Но мы-то не заболели?

— Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-то инкубационный период.

— Типичное рассуждение старомодного эскулапа. Что бы с человеком ни случилось, раз он не вмещается в привычные рамки, значит, болен, — возразил Рокуэл. — Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров, до того здоров, что ты его боишься.

— Ты спятил, — сказал Макгайр.

— Возможно. Только Смиту, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это вырождение. А по-моему, рост.

— Да ты посмотри на его кожу! — почти простонал Макгайр.

— Овца в волчьей шкуре. Снаружи — жесткий, ломкий покров. Внутри — упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что скажи, Хартли, только честно: боялся ты в детстве насекомых — пауков и всякой такой твари?

— Да.

— То-то и оно. У тебя фобия. Врожденный страх и отвращение, и все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противна перемена в нем.

В последующие недели Рокуэл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей «болезни». Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное с радиацией.

Уезжая из санатория, Рокуэл надежно запер Смита в палате и к двери приставил стражем Макгайра на



случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли.

Смиту двадцать три года, и жизнь у него была самая простая. Пять лет проработал в лаборатории электроники. Никогда серьезно не болел.

Шли дни. Рокуэл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалась у него все отчетливей.

А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в дом.

Он позвал с веранды Макгайра. Тот пришел. За ним, бормоча вперемежку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной.

И Рокуэл заговорил:

— Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилле. И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность — замедленную наследственную мутацию.

— Мутацию? — не своим голосом переспросил Макгайр.

Рокуэл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету.

— Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вот этих штучек, — он повертел в пальцах темный маленький предмет. — И я уверен. Это метаморфоза. Перерождение, видоизменение, мутация — не до, а после появления на свет. Вот. Держи. Это и есть Смит.

И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету.

— Это же куколка, — сказал Хартли. — Бывшая гусеница.

Рокуэл кивнул:

— Вот именно.

— Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже... куколка?!

— Убежден, — сказал Рокуэл.

Вечером, в темноте, Рокуэл склонился над телом Смита. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Рокуэл осторожно ощупывал тело.

— Предположим, жить — значит не только родиться, протянуть семьдесят лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень, — и Смит первый из всех нас совершает этот шаг.

Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное: нечто будто бы неизменное превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неизвестное — в куколку, а из нее выходит бабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница бабочкой... а чем станет Смит?

— Смит — куколка? — Макгайр невесело засмеялся.

— Да.

— С людьми так не бывает.

— Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел, зачем копил в организме некий икс-раствор, если не для этого перевоплощения? А всему причиной — излучение. Жесткое

излучение в Смитовой лаборатории. Намеренно он облучался или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть генной структуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет.

— Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди?..

— Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка жука — в почве, а гусеница — на капустном листе. Они видоизменяются и вылетают на простор. Смит — это ответ на извечный вопрос: что будет дальше с людьми, к чему мы идем? Перед нами неодолимой стеной встает Вселенная, в этой Вселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту Вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл.

Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суетимся на ничтожно маленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна, слишком мало он знает.

Но измените человека! Сделайте его совершенным. Сделайте... сверхчеловека, что ли. Избавьте его от умственного убожества, дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой; дайте ясный, penetrantный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате, и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти, и вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты, — и тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей, черт ее подери, Вселенной!

Рокуэл задохнулся, охрип, сердце его неистово колотилось; он склонился над Смитом, бережно, благо-

говейно приложил ладони к холодному недвижному панцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смита переполняли его. Он прав. Прав. Он это знает. Он открыл глаза, посмотрел на Хартли и Макгайра — всего лишь тени в полутьме палаты, при завершенном окне.

Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету.

— Не верю я в эту теорию.

А Макгайр сказал:

— Почему ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашу? Делал ты рентгеновский снимок?

— Нет, это рискованно — вдруг помешает его превращению, как мешал солнечный свет.

— Так, значит, он становится сверхчеловеком? И как же это будет выглядеть?

— Поживем — увидим.

— По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?

— Слышит ли, нет ли, ясно одно: мы узнали секрет, который нам знать не следовало. Смит вовсе не желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлось как-то к нам приспособиться. Но сверхчеловек не может хотеть, чтобы все вокруг о нем узнали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти. Смит знает: если тайна выйдет наружу, это для него опасно. Может быть, отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли.

Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в висках Рокуэла. И вот он, Смит — уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем — неизвестно.

— Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить, — заговорил Хартли. — Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю... тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он нас возненавидит за то, что мы провели его секрет.

— Я не боюсь, — беспечно сказал Рокуэл.

Хартли промолчал. Шумное хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэл обошел вокруг стола, махнул рукой:

— Пойдемте-ка все спать, пора, как по-вашему?

Машину Хартли скрыла завеса мелкого моросящего дождя. Рокуэл запер входную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушке внизу, перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег.

Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный...

Он улегся в постель.

Когда же? Когда Смит «вылупится» из своей скорлупы? Когда?

Дождь тихонько шуршал по крыше санатория.

Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя и грохот грома, слышалось его шумное, тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрапнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился.

Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза.

В полутьме кто-то над ним наклонился.

Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка, желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра.

В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-то рука. Кто-то силится заговорить.

У Макгайра вырвался дикий вопль.

Рука, что протянулась в полосу света, зеленая.

Зеленая!

— Смит!

Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору:

— Он ходит! Не может ходить, а ходит!

Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распаивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него, он выбегает в бурю, бессвязно, бессмысленно бормочет.

А тот, в прихожей, недвижим. Наверху распахнулась дверь, по лестнице сбегает Рокуэл. Зеленая рука отдернулась из полосы света, спряталась за спиной.

— Кто здесь? — остановясь на полпути, спрашивает Рокуэл.

Тот выходит на свет.

Рокуэл смотрит в упор, брови сдвинулись.

— Хартли! Что ты тут делаешь, почему вернулся?

— Кое-что случилось, — говорит Хартли. — А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет как полоумный.

Рокуэл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли и побегал дальше — по коридору, за дверь, под дождь.

— Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!

Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не в сотне шагов от дома, тот бормочет:

— Смит... Смит там ходит...

— Чепуха. Просто это вернулся Хартли.

— Рука зеленая, я видел. Она двигалась.

— Тебе приснилось.

— Нет. Нет. — В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. — Я видел, рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся? Ведь он...

При звуке этого имени Рокуэла как ударило, он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружило вихрем — опасность! — резнул отчаянный зов: на помощь!

— Хартли!

Рокуэл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию. В дом, по коридору...

Дверь в палату Смита взломана.

Посреди комнаты с револьвером в руке — Хартли. Услыхал бегущего Рокуэла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэл щелкает выключателем.

Тьма. И вспышка пламени, точно на моментальной фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Рокуэл метнулся в сторону вспышки. И уже в прыжке, потрясенный, понял, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли.

Пальцы, покрытые зеленой чешуей.

Потом схватка в рукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхивает свет, на пороге мокрый насквозь Макгайр выговаривает трясущимися губами:

— Смит... он убит?

Смит не пострадал. Пуля прошла выше.

— Болван, какой болван! — кричит Рокуэл, стоя над обмякшим на полу Хартли. — Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить.

Хартли пришел в себя, говорит медленно:

— Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил.

— Ерунда, он... — Рокуэл запнулся, изумленный. Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях. Да. Он с яростью смотрит на Хартли: — Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты. Не спускай с него глаз.

Макгайр говорит хрипло:

— Погляди на его руку. Ты только погляди. У Хартли рука зеленая. Там в прихожей был не Смит — Хартли!

Хартли устался на свои пальцы.

— Мило выглядит, а? — говорит он с горечью. — Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким... такой же тварью... Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старался молчать. Сегодня почувствовал — больше не могу, вот и пришел его убить, отплатить, он же меня погубил...

Сухой резкий звук, что-то сухо треснуло. Все трое замерли.

Три крохотные чешуйки взлетели над Смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол.

Рокуэл вмиг очутился у стола, взгляделся.

— Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная — треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу!

Дряблые щеки Макгайра затряслись:

— И что тогда?

— Будет у нас сверхчеловек, — резко, зло отозвался Хартли. — Спрашивается: на что похож сверхчеловек? Ответ: никому не известно.

С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передернуло.

— Ты попробуешь с ним заговорить?

— Разумеется.

— С каких это пор... бабочки... разговаривают?

— Поди к черту, Макгайр!

Рокуэл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь — следить, вслушиваться, думать.

Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу Неведомое.

Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом, струи сбегает по стеклу. Каково-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух; возможно, появятся дополнительные глаза; изменятся форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожные ткани; возможно несчетное множество перемен.

Рокуэла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутри этой скорлупы — вроде медузы? Вдруг он — безумный, помешанный... или совсем переродился и станет опасен для всего человечества? Нет. Нет. Рокуэл помотал затуманенной головой. Смит — совершенство. Совершенство. В нем нет места ни для единой злой мысли. Совершенство.



В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол...

Рокуэл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, с маху рубит зеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр — бегаёт под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось...

Жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Рокуэл протирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы. Кто-то поднял... Рокуэл вскочил как ужаленный. Солнце! Шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались! Он закричал.

Дверь настежь. В санатории тишина. Не смея повернуть голову, Рокуэл косится на стол. Туда, где должен бы лежать Смит.

Но его там нет.

На столе только и есть, что солнечный свет. Да еще какие-то опустелые остатки. Все, что осталось от кукол. Все, что осталось.

Хрупкие скорлупки — расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки — разбитые останки Смита!

А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Рокуэл подошел к столу. Точно маленький, стал копать в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице, закричал:

— Хартли! Что ты с ним сделал? Хартли! Ты что же, убил его, избавился от трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?

Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой. Трясущимися руками Рокуэл повернул ключ в замке. И увидел их обоих в комнате.

— Вы тут, — сказал растерянно. — Значит, вы туда не спускались. Или, может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и... нет, нет.

— А что случилось?

— Смит исчез! Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?

— За всю ночь ни разу не выходил.

— Тогда... есть только одно объяснение... Смит выбрался ночью из своей скорлупы и сбежал! Я его не увижу, мне так и не удастся на него посмотреть, черт подери совсем! Какой же я болван, что заснул!

— Ну, теперь все ясно! — заявил Хартли. — Смит опасен, иначе он бы остался и дал нам на себя посмотреть. Одному Богу известно, во что он превратился.

— Значит, надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать! Быстрее, Хартли! Макгайр!

Макгайр тяжело опустился на стул.

— Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. С меня хватит.

Рокуэл не стал слушать дальше. Он уже спускался по лестнице, Хартли за ним по пятам. Через несколько минут за ними, пыхтя и отдуваясь, двинулся Макгайр.

Рокуэл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящих на пустыню и на горы, озаренные утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно и спрашивал себя: да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первый сверхчеловек. Быть может, первый из очень и очень многих. Рокуэла прошиб пот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись сперва хотя бы ему, Рокуэлу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог?

Медленно отворилась дверь кухни.

Порог переступила нога, за ней другая. У стены поднялась рука. Губы выпустили струйку сигаретного дыма.

— Я кому-то понадобился?

Ошеломленный, Рокуэл обернулся. Увидел, как изменился в лице Хартли, услышал, как задохнулся от

изумления Макгайр. И у всех троих вырвалось разом, будто под суфлера:

— Смит!

Смит выдохнул струйку дыма. Лицо ярко-розовое, словно его нажгло солнцем, голубые глаза блестят. Ноги босы, на голое тело накинута старый халат Рокуэла.

— Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было в последние три месяца — или уже четыре? Тут что, больница?

Разочарование обрушилось на Рокуэла тяжким ударом. Он трудно глотнул.

— Привет. Я... то есть... Вы что же... вы ничего не помните?

Смит выставил растопыренные пальцы:

— Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду. А потом — ничего.

И он взъерошил розовой рукой каштановые волосы — быстрое, сильное движение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит.

Рокуэл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный, спрятал лицо в ладонях, тряхнул головой. Потом, не веря своим глазам, спросил:

— Когда вы вышли из куколки?

— Когда я вышел... откуда?

Рокуэл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол.

— Не пойму, о чем вы, — просто, искренне сказал Смит. — Я очнулся в этой комнате полчаса назад, стою и смотрю — я совсем голый.

— И это все? — обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало на душе.

Рокуэл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе. Смит нахмурился:

— Что за нелепость. А вы, собственно, кто такие?

Рокуэл представил их друг другу.

Смит мрачно поглядел на Хартли:

— Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронного оборудования. Но это же все глупо. Что за болезнь у меня была?

Каждая мышца в лице Хартли напряглась до отказа.

— Никакая не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?

— Я очутился с незнакомыми людьми в незнакомом санатории. Очнулся голый в комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошел бродить по санаторию. Дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-то взволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылутился из куколки. Как прикажете все это понимать? Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты, я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить, мистер Рокуэл. Я ведь не знал, кто вы такой, но видно было, что вы смертельно устали.

— Ну, это пустяки. — Рокуэл отказывался верить горькой очевидности. Все рушится. С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются, точно разбитая скорлупа куколки. — А как вы себя чувствуете?

— Отлично. Полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго я пробыл без сознания.

— Да, прямо замечательно, — сказал Хартли.

— Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь. Стольких месяцев — бац — как не бывало! Я все гадал, что же со мной делалось столько времени.

— Мы тоже гадали.

Макгайр засмеялся:

— Да не приставай к нему, Хартли. Просто потому, что ты его ненавидел...

Смит недоуменно поднял брови:

— Ненавидели? Меня? За что?

— Вот. Вот за что! — Хартли растопырил пальцы. — Ваше проклятое облучение. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. Что мне теперь с этим делать?

— Тише, Хартли, — вмешался Рокуэл. — Сядь. Успокойся.

— Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих одурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман,

какого еще свет не видал! Если у вас осталось хоть на грош соображения, убейте этого Смита, пока он не улился!

Рокуэл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой:

— Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?

— Ты и сам знаешь! — в ярости заорал Хартли. — Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Рокуэла ты одурачил, теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит. Ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтоб никто ничего не узнал. Ты запросто можешь нас убить, а стоишь тут и уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас и уверяешь, будто ты просто человек.

— Он и есть просто человек, — жалобно вставил Макгайр.

— Вранье. Он думает не по-людски. Чересчур умен.

— Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации, — предложил Макгайр.

— Он и для этого чересчур умен.

— Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, впрыснем сыворотки.

На лице Смита отразилось сомнение:

— Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется. Все это глупо.

Хартли возмутился. Посмотрел на Рокуэла, сказал:

— Давай шприцы.

Рокуэл достал шприцы. «Может быть, Смит все-таки сверхчеловек, — думал он. — Его кровь — сверхкровь. Смертельна для микробов. А сердцебиение? А дыхание? Может быть, Смит — сверхчеловек, но сам этого не знает. Да. Да, может быть...»

Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп. И сник, ссутулился. Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробы — и они погибают в обычный

срок. Она уже не сверхсмертельна для бактерий. И неведомый икс-раствор исчез. Рокуэл горестно вздохнул. Температура у Смита нормальная. Пульс тоже. Нервные рефлексy, чувствительность — ни в чем никаких отклонений.

— Что ж, все в порядке, — негромко сказал Рокуэл.

Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски.

— Простите, — выдохнул он. — Что-то у меня... ум за разум... верно, воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы. Ночь за ночью. Стал как одержимый, страх одолел. Вот и сваял дурака. Простите. Простите. — И уставился на свои зеленые пальцы. — А что ж будет со мной?

— У меня все прошло, — сказал Смит. — Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую. Но это было не так уж скверно... В сущности, я ничего не помню.

Хартли явно отпустило.

— Но... да, наверно, вы правы. Мало радости, что придется вот так закаменеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет.

Рокуэлу было тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не щадить себя, так ждать и жаждать нового, неведомого, сгорать от любопытства — и все зря. Стало быть, вот он каков, человек, что вылупился из куколки? Тот же, что был прежде. И все надежды, все домыслы напрасны.

Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мысли. Смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает... просто-напросто человек, который страдал какой-то кожной болезнью — временно отвердела кожа да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция, — но сейчас он опять человек как человек, и не более того. А буйное воображение Рокуэла, неистовая фантазия разыгрались — и все проявления странной болезни сложились в некий желанный вымысел, в несуществующее совершенство. И вот Рокуэл глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован.

Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявления странной болезни. Была болезнь, и только. Была — и прошла, миновала, кончилась и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру.

Но Рокуэла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгинуло. Сгинула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать, пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума.

Смит обошел их всех, каждому пожал руку.

— Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступить к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше. Сами понимаете.

— Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней, — сказал Рокуэл, горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты.

— Нет, спасибо. Впрочем, этак через неделю я к вам загляну, доктор, обследуете меня еще раз, хотите? Готов даже с годик заглядывать примерно раз в месяц, чтоб вы могли меня проверить, ладно?

— Да. Да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы.

— Я вас подвезу до Лос-Анджелеса, — весело предложил Макгайр.

— Не беспокойтесь. Я дойду до Туджунги, а там возьму такси. Хочется пройтись. Давненько я не гулял, погляжу, что это за ощущение.

Рокуэл ссудил ему пару старых башмаков и поношенный костюм.

— Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорее вернуть вам все, что задолжал.

— Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно.

— Что ж, до свиданья, доктор. Мистер Макгайр. Хартли.

— До свиданья, Смит.

— До свиданья.

Смит пошел по дорожке к старому руслу, дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно, весело посвистывал. «Вот мне сейчас не свищется», — устало подумал Рокуэл.

Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу.

Рокуэл провожал его глазами — так смотрит малый ребенок, когда его любимое творение — замок из песка — подмывают и уносят волны моря.

— Не верится, — твердил он снова и снова. — Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то отупел, и внутри пусто.

— А по-моему, все прекрасно! — Макгайр радостно ухмылялся.

Хартли стоял на солнце. Мягко опущены его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы, вдруг понял Рокуэл, совсем спокойно бледное лицо.

— У меня все пройдет, — тихо сказал Хартли. — Все пройдет, я поправлюсь. Ох, слава Богу. Слава Богу. Я не сделаюсь чудовищем. Я останусь самим собой. — Он обернулся к Рокуэлу: — Только запомни, запомни, не дай, чтоб меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца. Смотри, не забудь.

Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянули первые звезды. В нагретом недвижимом воздухе пахло водой, пылью, цветущими вдали апельсиновыми деревьями.

Встреппенулся ветерок. Смит глубоко дышал. И шел все дальше.



А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо.

Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал. Потом выпрямился во весь рост — стройный, ладный, — отбросил со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела.

Без малейшего усилия — только чуть вдохнул теплый воздух вокруг — Смит поднялся над землей.

Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд, устремляясь в космические дали...

## НАБЛЮДАТЕЛИ

**В** этой комнате пишущая машинка стучит, будто костяшки пальцев по дереву, и капельки пота падают на клавиши, которых беспрерывно касаются мои дрожащие руки. А еще насмешливо пищит москит, кружащий у меня над головой, и несколько мух, постоянно задевающих за экран-сетку. Вокруг голой электрической лампочки, висящей на потолке, трепещет бабочка, напоминающая клочок белой бумаги. Муравей ползет по стене; я наблюдаю за ним — и невесело смеюсь. Какая ирония: блестящие мухи, рыжие муравьи и сверчки, защищенные своей броней. Как жестоко мы все трое ошибались: Сьюзен, я и Вильям Тинсли.

Кем бы вы ни были, если к вам в руки попадут эти записки, никогда больше не давите муравья на обочине дороги, не убивайте шмеля, с шумом пролетающего мимо вашего окна, не уничтожайте сверчков, поселившихся у вас за очагом!

Вот в чем заключалась страшная ошибка Тинсли.

Вы, конечно, помните Вильяма Тинсли? Человека, потратившего миллион долларов на средства против мух, муравьев и других насекомых?

В офисе Тинсли не было места для мух или москитов. Ни на белой стене, ни на зеленом столе — нигде в

---

The Watchers

Copyright © 1950 by Ray Bradbury

Наблюдатели

© В. Гольдич, И. Оганссова, перевод, 1997

кабинете не могло укрыться ни одно насекомое. Тинсли уничтожал их при помощи своей фирменной хлопушки для мух. Я никогда не забуду это орудие убийства. Тинсли, как истинный монарх, правил своим королевством, пользуясь хлопушкой, будто скипетром.

Я был секретарем Тинсли и его правой рукой в индустрии по производству кухонной посуды; иногда я давал ему советы относительно вложения денег.

В июне 1944 года Тинсли носил хлопушку для мух с собой на работу. Ближе к концу недели, если я занимался какими-нибудь документами, то о появлении Тинсли узнавал по характерным щелчкам — босс приказывал утреннюю порцию своих жертв.

Шли дни, и я замечал, что Тинсли постоянно начеку. Он диктовал мне, но его глаза последовательно прочесывали северную, южную, восточную, западную стены, ковер, книжные полки и даже мою одежду. Один раз я рассмеялся и вернул что-то насчет Тинсли и Клайда Битти — бесстрашных дрессировщиков диких животных, а он напрягся и повернулся ко мне спиной. Я замолчал. «Люди имеют право на странности», — подумал я тогда.

— Привет, Стив, — сказал как-то утром Тинсли, помахав зажатой в руке хлопушкой, когда я взял карандаш и приготовился записывать. — Ты не мог бы убрать трупы перед тем, как мы начнем работать?

На толстом ковре цвета охры валялись павшие в неравном бою мухи; смятые, неподвижные тела с вывернутыми крыльями. Я побросал их одну за другой в мусорную корзину, мрачно бормоча себе под нос.

— С. Х. Литтлу, Филадельфия. «Дорогой Литтл, мы готовы вложить деньги в ваше новое средство против мух. Пять тысяч долларов...»

— Пять тысяч? — переспросил я и перестал писать.

Тинсли не обращал на меня ни малейшего внимания.

— «...Пять тысяч долларов. Советуем начать производство, как только позволят условия военного времени. Искренне ваш...» — Тинсли щелкнул хлопушкой. — Думаешь, я спятил?

— Это постскриптум, или ты обращаешься ко мне? — спросил я.

Позвонили из Компании по борьбе с термитами, Тинсли велел выписать им чек на тысячу долларов за то, что они обработали его дом. Затем похлопал по ручке металлического стула.

— Вот что мне нравится в офисах, — заявил он. — Металл, бетон — все такое надежное, прочное, здесь никогда не заведутся термиты.

Босс вскочил с кресла, хлопушка просвистела в воздухе.

— Проклятье, Стив, эта тварь все время находилась здесь!

Что-то прожужжало в последний раз, и наступила тишина.

Нас окружали четыре безмолвные стены; казалось, потолок пристально нас разглядывает... Воздух медленно выходил через ноздри Тинсли. Я нигде не видел infernalного насекомого.

Тинсли взорвался:

— Помоги мне найти ее! Черт тебя подери, помоги!

— Одну минуту, подожди... — ответил я.

Кто-то постучал в дверь.

— Не входите! — пронзительно закричал Тинсли. — Отойдите от двери и не вздумайте ее открыть! — Он стремительно метнулся к двери, запер ее, прижался спиной. — Быстрее, Стив, начинай систематические поиски! Не сиди!

Стол, стулья, подсвечник, стены. Как обезумевшее животное, Тинсли искал, нашел источник жужжания и нанес сокрушительный удар. Беспамятное, блестящее тельце упало на пол, и Тинсли со странным торжеством раздавил его ногой.

Он начал успокаивать меня, но я разозлился.

— Послушай, — резко сказал я, — я твой секретарь и главный помощник, а не наводчик для стрельбы по быстро летающим целям. У меня нет глаз на затылке!

— И у них тоже! — воскликнул Тинсли. — Ты знаешь, что они делают?

— Они? Кто, черт возьми, они такие?

Он замолчал. Устало подошел к письменному столу и сел в кресло.

— Не имеет значения, — сказал Тинсли через некоторое время. — Забудь об этом. И никому не рассказывай о нашем разговоре.

Я смягчился.

— Билл, тебе следует обратиться к психиатру...

Тинсли горько рассмеялся:

— А психиатр расскажет своей жене, та — подругам, а потом они обо всем узнают. Они повсюду. Да, повсюду. Я не хочу, чтобы моя кампания была остановлена.

— Если ты имеешь в виду сто тысяч долларов, которые потратил на средства против мух и муравьев за последние четыре недели, — сказал я, — то кто-то должен тебя остановить. Ты разоришь себя, меня и других держателей акций. Видит Бог, Тинсли...

— Замолчи! — рявкнул он. — Ты не понимаешь.

Пожалуй, тогда так оно и было. Я ушел в свой кабинет и целый день был вынужден слушать жестокие удары проклятой хлопушки, доносившиеся из-за стены.

Тем же вечером я ужинал со Сьюзен Миллер. Я рассказал ей о Тинсли, а она выслушала меня с вежливым профессиональным интересом. Потом постучала сигаретой о стол, закурила и сказала:

— Стив, я, конечно, психиатр, но у меня нет ни одного шанса, если Тинсли не придет ко мне добровольно. Я не смогу помочь ему, если он сам того не захочет. — Она похлопала меня по плечу. — Но ради тебя я его посмотрю. Впрочем, если пациент со мной не заодно, считай, что сражение уже наполовину проиграно.

— Ты должна мне помочь, Сьюзен, — сказал я. — Через месяц он окончательно тронется. Мне кажется, у него мания преследования...

Мы подъехали к дому Тинсли.

Первая встреча прошла удачно. Мы много смеялись, танцевали, а потом поужинали в «Коричневом эле». Тинсли даже и в голову не пришло, что стройная

женщина с тихим голосом, с которой он кружился в вальсе, была психиатром, внимательно изучавшим его реакции.

Сидя за столиком, я наблюдал за ними, стараясь не улыбаться, и услышал, как рассмеялась одной из шуток моего босса Сьюзен.

Мы молча ехали обратно в приятном, расслабленном настроении, которое часто возникает после удачно проведенного вечера. В машине пахло духами Сьюзен, из приемника доносилась приглушенная музыка, колеса автомобиля негромко шуршали по асфальту.

Я взглянул на Сьюзен, она посмотрела на меня, и ее брови поднялись вверх, показывая, что она не обнаружила ничего странного в поведении Тинсли. Я пожал плечами.

Вдруг в открытое окно влетела бабочка и затрепетала белыми, гладкими крылышками возле стекла.

Тинсли закричал, резко дернул в сторону руль и рукой в перчатке схватил бабочку. Его лицо побледнело. Завизжали шины. Сьюзен схватилась за руль и выровняла автомобиль; в следующее мгновение машина остановилась на обочине дороги.

Пока мы стояли, Тинсли сжал пальцы и молча смотрел, как ароматная пыль медленно опускается на руку Сьюзен. Все трое сидели и тяжело дышали.

Сьюзен снова повернулась ко мне, и теперь в ее взгляде было понимание. Я кивнул.

Тинсли уставился прямо перед собой. Словно во сне, он произнес:

— Девяносто девять процентов всех живых существ составляют насекомые...

Он поднял стекла и в полнейшем молчании развез нас по домам.

Через час мне позвонила Сьюзен.

— Стив, у него выработался жуткий комплекс. Завтра мы с ним ужинаем. Я ему понравилась. Возможно, мне удастся выяснить то, что нас интересует. Кстати, Стив, у него есть какие-нибудь домашние животные?

У Тинсли никогда не было ни собаки, ни кошки. Он испытывал отвращение к животным.

— Могла бы и сама догадаться, — сказала Сьюзен. — Ну, спокойной ночи, Стив. До завтра.

Мухи размножались быстро и гудели в ярком солнечном свете летнего дня, как тысячи хитрых, золотых электрических устройств. Они кружились в воздухе, стремительно падали вниз и откладывали яйца среди отходов, чтобы снова спариваться и шуршать крылышками, а я наблюдал за их кружением и размышлял о том, почему Тинсли так их боится и убивает. Вокруг, описывая изящные дуги, жужжали бесчисленные насекомые, их прозрачные крылышки трепетали. Я заметил стрекоз и навозных жуков, ос, желтых пчел и коричневых муравьев. Мир вдруг стал для меня гораздо более живым, чем раньше, потому что агрессивная осторожность Тинсли заставила и меня обратить внимание на эти крохотные живые существа.

Еще не осознавая своих действий, я стряхнул с куртки маленького рыжего муравья, который упал на меня с куста сирени, и повернул к знакомому белому дому, где жил адвокат Ремингтон, в течение сорока лет представлявший интересы семьи Тинсли; он приступил к своим обязанностям еще до того, как Билл появился на свет. С Ремингтоном у нас было чисто деловое знакомство, но все же я пришел к нему и позвонил в дверь, а через несколько минут уже смотрел на него, держа в руке хрустальный бокал с шерри.

— Помню... — задумчиво произнес Ремингтон. — Бедняга Тинсли. Ему было всего семнадцать, когда это произошло.

Я даже наклонился вперед.

— Что произошло? — По тыльной стороне моей ладони среди золотистых волосков ползал муравей, потом безнадежно запутался в зарослях и перевернулся на спину, отчаянно шевеля жвалами. Я наблюдал за муравьем. — Какой-то несчастный случай?

Адвокат Ремингтон мрачно кивнул, в его карих глазах появилась боль. Он рассказал мне о происшествии в нескольких точных фразах.

— Осенью отец Тинсли взял его с собой на охоту на озеро в районе Наконечника Стрелы — это было в тот год, когда юноше исполнилось семнадцать. Прекрасная природа, отличный, ясный и холодный осенний день. Я помню, потому что охотился тогда же милях в семидесяти от того места. Дичи было полно. Ветер наполнил воздух запахом сосен, над озером разносились звуки выстрелов. Отец Тинсли прислонил свое ружье к кусту, чтобы завязать шнурок, и как раз в этот момент в воздух поднялась стая перепелов и полетела прямо на старшего Тинсли и его сына.

Ремингтон заглянул в свой бокал, словно рассчитывал увидеть там то, о чем рассказывал.

— Один из перепелов столкнул ружье, и оно выстрелило прямо в лицо старшему Тинсли!

— Боже мой!

Я представил себе, как отец Тинсли покачнулся, поднял руки к превратившемуся в алую маску лицу, а потом его покрасневшие ладони опустились, и он упал, а стоявший рядом юноша смотрел на отца и не мог поверить своим глазам.

Я торопливо допил шерри. Ремингтон продолжал:

— Но это еще далеко не все. Многие бы посчитали, что и так молодому Тинсли крепко досталось. Однако то, что произошло потом, не могло не наложить отпечатка на психику семнадцатилетнего юноши. В поисках помощи он пробежал пять миль, оставив в лесу погибшего отца, отказываясь поверить в его смерть. Задыхаясь от крика, срывая с себя одежду, парень добрался до дороги и вернулся с врачом и двумя другими мужчинами. Прошло около шести часов. Солнце начало клониться к закату, когда они торопливо шагали через сосновый лес туда, где остался Тинсли-старший. — Ремингтон замолчал и покачал головой. Его глаза были закрыты. — Все тело, руки, ноги и то, что еще недавно было красивым сильным лицом, покрывала сплошная шевелящаяся масса насекомых. Жуки, муравьи, мухи всех видов собрались на пир, привлеченные сладким запахом крови. На всем теле старшего Тинсли не осталось и квадратного дюйма гладкой кожи!



Перед моим мысленным взором предстал сосновый лес и трое мужчин, стоящих возле окаменевшего юноши, который не в силах отвести взгляда от тела отца, пожираемого маленькими голодными существами. Где-то стучал дятел, бежала по стволу белка, перепела хлопала своими маленькими крыльями, а трое мужчин взяли мальчика за плечи и заставили его отвернуться от ужасного зрелища...

Вероятно, я застонал, потому что, когда мое сознание вернулось в библиотеку, я увидел, что Ремингтон смотрит на меня и на мою окровавленную руку, в которой так и остался раздавленный бокал... Боли я не почувствовал.

— Так вот почему Тинсли так боится насекомых и животных, — выдохнул я несколько минут спустя. Сердце у меня в груди бешено колотилось. — Все эти годы его страх рос как на дрожжах и теперь полностью им завладел.

Ремингтон проявил интерес к проблемам Тинсли, но я постарался успокоить старика и спросил:

— А чем занимался его отец?

— Я думал, вы знаете! — удивленно воскликнул Ремингтон. — Старший Тинсли был известным натуралистом. Даже очень известным. В этом есть некая ирония — его убили те самые существа, которых он изучал, не так ли?

— Да. — Я встал и пожал руку Ремингтона. — Благодарю вас, адвокат. Вы мне очень помогли. А сейчас мне пора уходить.

— До свидания.

Я стоял под открытым небом перед домом Ремингтона; муравей по-прежнему ползал по моей руке. В первый раз я начал понимать Тинсли и сочувствовать ему. Я сел в машину и поехал к Сьюзен.

Она отогнула вуаль своей шляпки и задумчиво посмотрела вдаль.

— То, что ты мне рассказал, очень хорошо объясняет поведение Тинсли. Он постоянно погружен в свои мысли. — Сьюзен помахала рукой. — Взгляни по сторонам — легко ли поверить в то, что насекомые повин-

ны во всех ужасах, творящихся вокруг? Вот мимо нас пролетает бабочка-данаида. — Сьюзен щелкнула пальцами. — Может, она прислушивается к каждому нашему слову? Старший Тинсли был натуралистом. Что с ним произошло? Он сунул нос туда, куда не следовало — поэтому они, они, которые контролируют животных и насекомых, убили его. День и ночь последние десять лет эта мысль преследовала Тинсли, и всюду, куда падал его взгляд, он видел бесчисленные проявления жизни этого мира. Постепенно его подозрения начали обретать форму и содержание!

— Не могу сказать, что я его виню, — заметил я. — Если бы мой отец так погиб...

— Он отказывается разговаривать, пока в комнате есть хотя бы одно насекомое, не так ли, Стив?

— Да, Тинсли боится: вдруг они обнаружат, что он разгадал их тайну.

— Ты и сам видишь, как это глупо, не так ли? Он не в состоянии удержать свое знание в секрете — если согласиться с тем, что бабочки, муравьи и мухи есть олицетворение зла. Ведь и ты, и я слышали его рассуждения, да и другие тоже. Однако Тинсли упорствует в своем заблуждении, считая, что до тех пор, пока он не произносит ни единого слова в их присутствии... Ну, он все еще жив, не так ли? Они его не уничтожили, да? И если они действительно порождение зла и страшатся его, тогда почему же с Тинсли до сих пор не покончили?

— Может быть, с ним просто играют? — предположил я. — Ты знаешь, как-то странно получается. Старший Тинсли погиб как раз в тот момент, когда был совсем близок к большому открытию. Все укладывается в схему.

— Тебе не следует так долго сидеть под горячим солнцем, — рассмеялась Сьюзен.

Утром следующего воскресенья Билл Тинсли, Сьюзен и я отправились в церковь. Мы сидели, погруженные в тихую музыку; все убранство храма было выдержано в мягких, спокойных тонах. Неожиданно Билл

начал смеяться; в конце концов мне пришлось пнуть его локтем под ребра и спросить, что с ним происходит.

— Посмотри на преподобного отца, — ответил Тинсли, не сводящий глаз со священника. — У него муха на лысине. Муха в церкви. Они всюду проникают, я же говорил тебе. Пусть священник читает свою проповедь, от нее не будет никакого толку. О всепрощающий Боже!

После службы мы решили устроить пикник на природе, под теплым голубым небом. Несколько раз Сьюзен пыталась заставить Тинсли заговорить о своих страхах, но Билл молча показал на вереницу муравьев, переползающих через нашу белую скатерть, и сердито покачал головой. Позднее Билл извинился и с некоторой напряженностью пригласил нас зайти к нему домой: он не может больше продолжать в том же духе, деньги кончаются, ему грозит банкротство, и он нуждается в нашем совете. Нам со Сьюзен оставалось только согласиться.

Через сорок минут мы уже сидели в его запертом изнутри кабинете, пили коктейль, а Тинсли нетерпеливо расхаживал взад и вперед, поигрывая семейной хлопушкой для мух. Перед тем как начать свою речь, он нашел две мухи и прикончил их.

— Металл, — он постучал по стене, — никаких клещей, древесных жучков или термитов. Металлические стулья, металл повсюду. Мы одни, не так ли?

Я посмотрел по сторонам.

— Похоже на то.

— Отлично. — Билл несколько раз глубоко вздохнул. — Вы никогда не задумывались о Боге, Дьяволе и Вселенной? Не удивлялись, почему наш мир так жесток? Как мы пытаемся продвинуться вперед и как нас бьют по голове, если нам удастся сделать лишь маленький шагок? — Я молча кивнул, и Тинсли продолжал: — Где же наш Господь, или где Силы Зла? Вы не размышляли о том, как они повсюду проникают? Неужели ангелы невидимы? Так вот, ответ прост, остроумен и в то же время научен. За нами постоянно наблюдают.

Бывает ли в жизни минута, когда мимо не пролетает муха, или не проползает муравей, или блоха на собаке, не пробегает кошка, жук, или рядом не кружит бабочка?

Сьюзен ничего не сказала, только спокойно посмотрела на Тинсли, стараясь не смущать его. Он сделал глоток из бокала.

— Маленькие крылатые существа, на которых мы не обращаем внимания, следят за нами каждый день нашей жизни, подслушивают молитвы, проникают в мечты, желания и страхи, а потом обо всем, что следует, доносят Ему или Ей — тем силам, что посылают их в наш мир.

— Да брось ты! — импульсивно воскликнул я.

К моему удивлению, Сьюзен шикнула на меня.

— Дай ему закончить, — резко сказала она. А потом посмотрела на Тинсли: — Продолжайте.

— Это звучит глупо, — снова заговорил Тинсли, — но я постарался подойти к проблеме с научной точки зрения. Во-первых, я никак не могу понять, зачем в нашем мире столько насекомых, почему так много различных видов. Нам, смертным, они только мешают жить. И я нашел весьма простое и естественное объяснение: их правительство невелико числом, может быть, оно состоит из одного существа, поэтому Оно или Они не могут быть повсюду одновременно. А мухи могут. Как и муравьи и другие насекомые. А так как мы, смертные, не в состоянии отличить одно насекомое от другого — все мухи для нас одинаковы, — получается идеальная ловушка. Вот уже долгие годы их так много, что мы даже не обращаем внимания. Как в «Алой букве» Готорна\*, они постоянно перед нашими глазами, и мы перестали их замечать.

— Я в это не верю, — прямо сказал я.

— Дай мне закончить! — воскликнул Тинсли. — А потом будешь судить. Существует Сила, ей требуется система коммуникаций, чтобы жизнь каждого индивидуума находилась под контролем. Представьте себе:

---

\* Известный американский писатель-романтик XIX века. (Здесь и далее примеч. пер.)

миллиарды насекомых постоянно проверяют, следят каждое за своим объектом, держа все человечество под контролем!

— Послушай! — не выдержал я. — Ты стал еще хуже, чем когда был мальчишкой! Ты позволил этим идеям поработить твой мозг! Нельзя без конца обманывать себя!

Я вскочил.

— Стив! — Сьюзен тоже встала, ее щеки порозовели. — Подобными словами делу не поможешь! Сядь. — Она положила руку мне на грудь и заставила опуститься на стул. А потом быстро повернулась к Тинсли: — Билл, если то, что вы говорите, правда, то почему, несмотря на все ваши планы, постоянную борьбу с насекомыми в доме, молчание в присутствии маленьких крылатых существ, ваша кампания по поддержке производства инсектицидов до сих пор не привела вас к гибели?

— Почему? — вскричал Тинсли. — Потому что я работал в одиночку.

— Но если они существуют, Билл, то должны были бы узнать о вас еще месяц назад, потому что Стив и я говорили об этом в их присутствии — а вы все еще живы. Разве это не доказательство того, что вы заблуждаетесь?

— Вы говорили об этом? Вы говорили! — Даже глаза у Тинсли побелели. — Нет, не может быть, ведь Стив дал мне слово!

— Послушайте меня. — Голос Сьюзен заставил Тинсли прийти в себя, словно его встряхнули за шиворот, как маленького ребенка. — Прежде чем впадать в истерику, послушайте. Вы готовы пойти на эксперимент?

— Какой еще эксперимент?

— Вы перестанете скрывать свои планы. Если с вами ничего не случится в течение следующих восьми недель, вы согласитесь, что ваши страхи не имеют под собой никаких оснований.

— Но они же прикончат меня!

— Послушайте! Стив и я готовы поставить на карту свои жизни, Билл. Если умрете вы, то и нас со Стивом ждет гибель. Я высоко ценю свою жизнь, да и Стив

тоже. Мы не верим в ваши ужасы и хотим, чтобы вы от них избавились.

Тинсли опустил голову и уставился в пол.

— Я не знаю, не знаю.

— Восемь недель, Билл. После этого можете всю оставшуюся жизнь посвятить борьбе с насекомыми, но видит Бог, у вас не будет нервного срыва. Уже то, что вы живы, явится доказательством того, что они не желают вам зла и оставили вас в покое!

Тинсли пришлось согласиться с предложением Сьюзен. Однако с большой неохотой.

— Это только начало кампании, — пробормотал он себе под нѳс. — Возможно, нам понадобится тысяча лет, но в конце концов мы сможем освободиться.

— Неужели вы не понимаете, Билл, что освободитесь через восемь недель? Мы наверняка сумеем доказать, что насекомые ни в чем не виноваты. В следующие два месяца продолжайте свою кампанию, давайте объявления в газетах и еженедельных журналах, вонзите кинжал по рукоять, поведайте о своем открытии всему миру, чтобы в случае вашей гибели человечество было предупреждено. А потом, когда восемь недель пройдут, вы освободитесь — неужели после стольких мучительных лет вам не хочется избавиться от преследующего вас кошмара?

Тут произошло событие, которое заставило всех нас вздрогнуть. Над нашими головами зажужжала муха. Все это время она находилась с нами в комнате, однако я мог бы поклясться, что раньше ее не было.

Тинсли задрожал. Не знаю, что со мной произошло, видимо, я действовал совершенно механически, повинаясь внутреннему голосу, потому что я взмахнул рукой и поймал жужжащее насекомое. А потом раздавил его, пристально глядя в белые, как мел, лица Тинсли и Сьюзен.

— Я поймал ее, — произнес я голосом, искаженным безумием. — Я поймал эту проклятую муху, сам не знаю зачем.

Я разжал кулак. Муха упала на пол. Я наступил на нее — это не раз на моих глазах делал Билл, и мое тело, без всякой на то причины, похолодело. Сьюзен смотрела на меня так, словно только что потеряла своего последнего друга.

— Господи, что я говорю? — воскликнул я. — Я же не верю ни одному слову!

За толстым оконным стеклом сгустился мрак. Тинсли с трудом сумел закурить сигарету, а потом предложил нам переночевать у него — мы все были ужасно возбуждены. Сьюзен сказала, что останется, если он согласится на восьминедельный эксперимент.

— Вы готовы рискнуть жизнью? — Билл никак не мог понять Сьюзен.

Она серьезно кивнула:

— Через год мы будем шутить, вспоминая об этой истории.

— Ладно, — вздохнул Билл, — согласен.

Из моей комнаты наверху был отличный вид на раскинувшиеся за окном холмы. Сьюзен расположилась в соседней, а спальня Билла находилась по другую сторону от гостиной. Лежа в постели, я слышал, как стрекочут сверчки, и вдруг понял, что этот звук меня ужасно раздражает.

Я встал и закрыл окно.

Сон долго не приходил. Я представил себе, что где-то в темноте моей спальни пищит москит. Наконец накинул халат и спустился в кухню, хотя и не чувствовал голода; мне хотелось съесть что-нибудь просто так, чтобы успокоиться. Я нашел Сьюзен возле холодильника — она шарила по полкам.

Мы посмотрели друг на друга. Поставили на стол несколько тарелок с едой. Мир вокруг потерял реальность. Общение с Тинсли превратило наше привычное окружение в нечто непривычное и смутно опасное. Сьюзен, несмотря на всю свою выучку и профессионализм, оставалась женщиной, а женщины в глубине души суеверны.

Вдобавок ко всему в тот самый момент, когда мы собрались воткнуть вилки в остатки цыпленка, на мясо села муха.

Минут пять мы сидели и смотрели на нее. Муха погуляла по цыпленку, потом взлетела, сделала круг, снова опустилась на него и продолжила свой променад по цыплячьей ножке.

Мы убрали блюдо обратно в холодильник, неловко пошутили, но разговаривали приглушенными, смущенными голосами, потом поднялись наверх и разошлись по своим спальням. Я улегся в постель, и дурные сны набросились на меня еще до того, как я успел закрыть глаза. Наручные часы вдруг начали невыносимо громко тикать в темноте. Прошел бесконечно долгий промежуток времени, и вдруг я услышал пронзительный вопль.

Нет ничего удивительного в женских воплях, но когда визжит мужчина — а это случается нечасто, — кровь стынет в жилах. Казалось, крик раздается со всех сторон одновременно, мне даже почудилось, что я могу разобрать отдельные слова: «Теперь я знаю, почему они оставили меня в живых!»

Я распахнул дверь и увидел бегущего по коридору Тинсли, вся его одежда была мокрой. Заметив меня, он повернулся и прокричал:

— Ради Бога, держись от меня подальше, Стив, не прикасайся ко мне, иначе это произойдет и с тобой! Я ошибался! Да, я ошибался, но как же близко мне удалось подобраться к правде!

Прежде чем я успел хоть что-то предпринять, Тинсли сбежал по лестнице и захлопнул за собой дверь. Неожиданно рядом со мной возникла Сьюзен.

— На этот раз он окончательно спятил. Стив, нам необходимо остановить его.

Мое внимание привлек шум, доносившийся из ванны. Заглянув туда, я выключил обжигающую воду, которая с шипением разбивалась о желтый кафель пола.



Заработал двигатель машины Билла, послышался скрежет коробки передач, и машина на безумной скорости выскочила на дорогу.

— Нужно ехать за ним, — настаивала Сьюзен. — Он убьет себя! Тинсли пытается от чего-то убежать. Где твоя машина?

Мы бросились к моему автомобилю. Пронзительный ветер трепал волосы Сьюзен, холодные звезды равнодушно смотрели на нас сверху вниз. Мы забрались в машину, немного прогрели мотор и выехали на дорогу, задыхающиеся и смущенные.

— В какую сторону?

— Я уверена, что он поехал на восток.

— Значит, на восток, — я нажал на газ и пробормотал: — О Билл, идиот, болван. Сбавь скорость. Вернись. Подожди меня, безумец.

Я почувствовал, как рука Сьюзен крепко сжала мой локоть.

— Быстрее! — прошептала она.

— Мы едем со скоростью шестьдесят миль, а впереди крутые повороты!

Ночь обрушилась на нас; разговоры о насекомых, ветер, шум трущейся об асфальт резины, биение наших испуганных сердец.

— Туда! — показала Сьюзен. Я увидел луч света среди холмов примерно в миле впереди. — Быстрее, Стив!

Мы мчались все быстрее. Нога жмет на педаль, ревет мотор, звезды безумно мечутся над головой, свет фар разрезает темную дорогу на отдельные куски. И вдруг у меня перед глазами снова возник промокший до костей Тинсли: он стоял под горячим, обжигающим душем! Почему? Почему?

— Билл, остановись, проклятый идиот! Перестань уезжать от нас! Куда ты мчишься, от кого убегаешь, Билл?

Мы постепенно догоняли его, ярд за ярдом приближались к нему. Тормоза визжали на крутых поворотах, тяготение пыталось сбросить нас с дороги на гранитные уступы, через холмы и вниз, в долину, над которой

сгустилась ночь, через мосты над речушками и снова в крутые повороты.

— Он опережает нас всего лишь на шестьсот ярдов, — сказала Сьюзен.

— Мы его догоним, — я резко повернул руль. — Да поможет мне Бог, мы до него доберемся!

А потом, довольно неожиданно, это произошло.

Машина Тинсли снизила скорость. Теперь она еле ползла по дороге. В этом месте шоссе шло по прямой на протяжении целой мили, ни поворотов, ни холмов. Его машина едва двигалась. Когда мы остановились за родстером\* Тинсли, он не делал и трех миль в час, однако фары продолжали гореть.

— Стив, — ногти Сьюзен поцарапали мое запястье, — что-то здесь не так.

Я и сам прекрасно понимал: что-то случилось. Погудел клаксоном. Потом еще раз. Одинокий и неуместный звук далеко разнесся в пустоте и мраке.

Я остановил машину. Родстер Тинсли продолжал ползти вперед, как металлическая улитка, выхлопные газы что-то шептали черной ночи.

Я открыл дверь и выскользнул из машины.

— Оставайся здесь, — предупредил я Сьюзен.

В отраженном свете фар ее лицо было белым как снег, губы дрожали.

Я побежал к родстеру, крича на бегу:

— Билл! Билл!

Тинсли не отвечал. Он не мог.

Мой друг тихо лежал за рулевым колесом, а машина ехала вперед, медленно и неуклонно.

Мне стало нехорошо. Я протянул руку и выключил зажигание, стараясь не смотреть на Тинсли. Мой разум погружался в пучину нового ужаса.

Наконец я собрался с духом и бросил взгляд на Билла, лежавшего с откинутой назад головой.

---

\* Двухместный автомобиль с открытым верхом.

Нет никакого смысла убивать мух, moskitov, бабочек и термитов. Зло слишком коварно, чтобы с ним можно было расправиться таким способом.

Можно прикончить всех насекомых, которые вам попадутся, уничтожить собак, кошек и птиц, горностаев, бурундуков и термитов — со временем человек сумеет это сделать, убивая, убивая, убивая, но в самом конце они все равно останутся — они, микробы.

Бактерии. Микробы. Да. Одноклеточная, двуклеточная и многоклеточная микроскопическая жизнь!

Миллионы и миллиарды микробов в каждой поре, каждом дюйме нашей плоти. На наших губах, когда мы разговариваем, в ушах, когда слушаем, на коже, когда мы чувствуем, на языке, когда ощущаем вкус, в глазах, когда мы смотрим! Их нельзя смыть, нельзя уничтожить все микробы в мире! Эта задача неразрешима!

Ты догадался об этом, Билл, не так ли? Мы почти убедили тебя, Билл, что насекомые невиновны, что они не являются Наблюдателями, ведь так? И тут мы были совершенно правы. Мы тебя убедили, и ты начал размышлять, а потом вдруг пришло озарение. Бактерии. Вот почему ты бросился под обжигающий душ! Но нельзя убивать бактерии достаточно быстро. Они непрерывно размножаются и размножаются!

Я посмотрел на распростертое тело Билла. Средство против насекомых, — ты думал, что этого будет достаточно. Какая ирония!

Билл, неужели это ты, а твое тело поражено проказой и гангреной, туберкулезом, малярией и бубонной чумой одновременно? Где кожа на твоём лице, Билл, и плоть на твоих костях, на твоих пальцах, сжимающих руль? О Господи, Тинсли, цвет и исходящий от тебя запах — отвратительное сочетание ужасных болезней!

Микробы. Посланцы. Миллионы посланцев. Миллиарды.

Бог не может одновременно находиться повсюду. Может быть, он создал мух и насекомых, чтобы они наблюдали за его творениями.

Но Злые тоже обладают замечательными способностями. Они изобрели бактерии!

Билл, ты стал совсем другим...

Теперь ты не сможешь поведать свою тайну миру.

Я вернулся к Сьюзен и посмотрел на нее, не в силах вымолвить ни слова. Я мог только жестами показать, чтобы она отправлялась домой без меня. У меня еще остались кое-какие дела. Предстояло отправить машину Билла в кювет и сжечь ее.

Сьюзен уехала прочь, ни разу не обернувшись.

И вот, неделю спустя, я печатаю свои записки. Уж и не знаю, есть ли в моих действиях смысл, здесь и сейчас, теплым летним вечером. Мухи с жужжанием носятся по комнате. Теперь я наконец понял, почему Тинсли прожил так долго. Пока его усилия были направлены против мух, муравьев, птиц и животных, представляющих Силы Добра, Силы Зла ему не мешали. Тинсли, сам того не подозревая, работал на Силы Зла. Однако как только он понял, что именно бактерии являются его истинным врагом, куда более многочисленным и невидимым, Зло сразу же покончило с ним.

Я постоянно вспоминаю о том, как погиб старший Тинсли — когда вспорхнувшие перепела заставили его ружье выстрелить ему в лицо. На первый взгляд это не укладывается в схему. Зачем перепелам, представителям Сил Добра, убивать старшего Тинсли? Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Перепела тоже болеют, и болезнь в тот давний день, нарушив связи между нервными окончаниями, заставила птиц подтолкнуть ружье Тинсли и убить его.

И еще одна мысль не дает мне покоя, когда я представляю себе старшего Тинсли, лежащего под красным, колышущимся одеялом из насекомых. Должно быть, они лишили его утешения, которое после смерти обретает каждый, разговаривая на некоем тайном языке, который нам не дано услышать при жизни.

Шахматная партия продолжается, Добро против Зла.

И я проигрываю.

Сегодня я сижу здесь, пишу и жду, а моя кожа чешется и становится мягкой. Сьюзен находится на другом краю города, она ничего не знает, она в безопасности, а я должен изложить свое знание на бумаге, даже если это убьет меня. Я прислушиваюсь к жужжанию мух, словно надеюсь получить некое знамение, но рассчитывать мне не на что.

И пока я пишу, кожа на моих пальцах начинает обвисать, меняет цвет, мое лицо становится частично сухим и покрытым струпьями, а частично влажным, скользким, плоть не держится на размягчившихся костях, глаза слезятся — это, наверное, проказа; кожа потемнела — кажется, бубонная чума; живот рвут на части жестокие судороги, язык кажется горьким и ядовитым, зубы шатаются, в ушах звенит, и через несколько минут мои пальцы, сложные мышцы, изящные маленькие кости окончательно откажутся мне служить, между клавишами пишущей машинки уже и так слишком много желатина, плоть соскользнет, как разложившийся, прогнивший плащ с моего скелета, но я должен писать до тех пор, пока могу... швршш кпршш ддддд ддддд...

## О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

**С**емьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которые никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257-й, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он, межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не

---

Forever and the Earth  
Copyright © 1950 by Ray Bradbury  
О скитаньях вечных и о Земле  
© Нора Галь, перевод, 1973

прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встрепанный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то непонятным лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите, — сказал он наконец, — вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвилле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, и после него остался чемодан, набитый рукописями, и все карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу.

«Взгляни на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги. «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф, — сказал он. — Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы создали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал по-

истине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали, — заметил профессор Боултон.

— Ну нет! — отрезал старик. — Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце доделаете свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое, так?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все, — он обвел присутствующих неистовым сверкающим взором, — будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да, — подтвердил старик. — Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя:

— Да-да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Трезвонил телефон. В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываете? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!



— Позвольте, мистер Филд. Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы придете, когда он уже умрет? Смотрите, не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу в руках трубку. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну, — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршни цветных стеклышек. Бери все что душе угодно, у нас все есть. Тебе придется по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нам нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь, Бог свидетель,

я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах, — и ждал напрасно. Каков ты ни есть, сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь слушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Ведь правда, Том?

Веки Филда смежились; смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, — это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежда на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. — Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесие в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Том Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву — и подумал: ну и жар у меня. Чувствую, меня куда-то несет — и подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец Господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до ног, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не Господь Бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся.

— Нет-нет, Том, я не Бог, только прикидываюсь. Я Филд. — Он опять засмеялся. — Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И старик потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэръ.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не четвертое июля. Не как в твоё время. Теперь у нас каждый день — праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притя-

жения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще — видишь, сколько их? — желтые, голубые. Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, замороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенили, искрились прохладными удлинненными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна. — Это лунные цветы, — сказал Филд. — С обратной стороны Луны. — Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе. — Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем как мячом — Солнцем и звездами, и всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим, — в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар и в холод, и снова в жар.

— Все сводится вот к чему, — сказал наконец Томас Вулф. — Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начинал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик. — Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и устался на экран.

— Я совсем этого не хотел, — сказал старик. — Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение... и вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий, и, задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

### ТОМАС ВУЛФ

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите, — сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся, — сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнесли к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздых, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань, — сказал старик. — Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив, так? Здесь, сейчас — ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот, — в темноте Филд подался вперед. — Я перенес тебя сюда, Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал — такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержать каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать, — нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу — и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечерющем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему. — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут и вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, там многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свиданья, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается:

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принюхивается как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные, и от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то Бог, дай Бог! Боултон, а вы и правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился:



— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не закончив книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Bravo, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. — Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Тома Вулфа; нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

Космос — как осень, писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в космосе человек. Говорил о вечной, непреходящей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это

были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и человеке и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели там, в ракете, летящей на Марс... наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных камнях балаган и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. — Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд. — Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побери!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду. На полу росла груда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели неправдоподобной, к концу месяца совершенно немыслимой.

— Вы только послушайте! — кричал старик Филд и читал вслух.

— А это?! — говорил он.

— А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, расспрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся.

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову:

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон. — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съехался в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот-вот это — про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлое слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, как аппарат вновь оживает — и он встрепенется, и снова космические просторы и странствия и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

*«...бескрайние звездные луга космоса...»*

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Словно заколдованный, похолодев от ужаса, старик следил, как складываются черные строчки:

*«...марсианские города — изумительные, неправдоподобные, словно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной, невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»*

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесполезно, — сказал голос в трубку. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше чем Время и Пространство и все эти треклятые механизмы, у тебя такая силища, у тебя железная воля, Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнул клавиш телетайпа.

— Том, это ты?! — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока

ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

«В», — стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

«Дыхании», — отстучала она.

— Ну, ну?!

«Марса», — напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

*«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»*

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо, — сказал Боултон. — Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошое как бы просачивается в Настоящее... Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все вместится и

спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Допишав книгу, он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему, — возразил Филд. — Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, — это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки — ведет хозяйство, растит детей... невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы», тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчищенной карандашом либо покрытой строчками машинописи: груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю. — С тяжелым вздохом Вулф опустил-ся в кресло. — Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень, — сказал Том Вулф, закрыв глаза. — Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус, — ответил Боултон. — Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, стану на ноги — там, у себя, — буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф усталился на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя!

— Ну... а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше. Вот так.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это, — серьезно сказал Томас Вулф. — Спасибо вам обоим. Я готов. — Он засучил рукав. — Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил:



— В одной моей старой книге есть такое место, — он нахмурился, вспоминая: — «...о скитаньях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее вовеки...»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга, — сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел: **ТОМАС ВУЛФ — О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ.**

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли!

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропадал? — Его вели полуночными коридорами, он покорно шел. — Ого, если б я и сказал вам, где... все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнувшего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало

больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс, — шептал исполин в тишине ночи. — Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф. — Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлинненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предраcсветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много, много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

## НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

— **В**ы хотите убить свою жену? — спросил темно-волосый человек, сидевший за письменным столом.

— Да. То есть нет... не совсем так. Я хотел бы...

— Фамилия, имя?

— Ее или мои?

— Ваши.

— Джордж Хилл.

— Адрес?

— 11, Саут Сент-Джеймс, Гленвью.

Человек бесстрастно записывал.

— Имя вашей жены?

— Кэтрин.

— Возраст?

— Тридцать один.

Вопросы сыпались один за другим. Цвет волос, глаз, кожи, любимые духи, какая она на ощупь, размер одежды...

— У вас есть ее стереофотоснимок? А пленка с записью голоса? Ага, я вижу, вы принесли. Хорошо. Теперь...

Прошел целый час. Джорджа Хилла уже давно прошиб пот.

— Все, — темноволосый человек встал и строго посмотрел на Джорджа. — Вы не передумали?

— Нет.

— Вы знаете, что это противозаконно?

— Да.

— И что мы не несем никакой ответственности за возможные последствия?

— Ради Бога, кончайте скорей! — крикнул Джордж. — Вон уже сколько вы меня держите. Делайте скорее!

Человек еле заметно улыбнулся:

— На изготовление куклы-копии вашей жены потребуется три часа. А вы пока вздремните — это вас немного успокоит. Третья зеркальная комната, слева по коридору, свободна.

Джордж медленно, как оглушенный, побрел в зеркальную комнату. Он лег на синюю бархатную кушетку, и давление его тела заставило вращаться зеркала на потолке. Нежный голос запел: «Спи... спи... спи...»

— Кэтрин, я не хотел идти сюда. Это ты заставила меня... Господи, я не хочу тут оставаться. Хочу домой... Не хочу убивать тебя... — сонно бормотал Джордж.

Зеркала бесшумно вращались и сверкали.

Он уснул.

Он видел во сне, что ему снова сорок один год, он и Кэти бегают по зеленому склону холма, они прилетели на пикник и их вертолет стоит неподалеку. Ветер развеивает золотые волосы Кэти, она смеется. Они с Кэти целуются и держат друг друга за руки и ничего не едят. Они читают стихи; только и делают, что читают стихи.

Потом другие картины. Полет, быстрая смена красок. Они летят над Грецией, Италией, Швейцарией — той ясной, долгой осенью 1997 года! Летят и летят без остановок!

И вдруг — кошмар. Кэти и Леонард Фелпс. Джордж вскрикнул во сне. Как это случилось? Откуда вдруг взялся Фелпс? Почему он вторгся в их мир? Почему жизнь не может быть простой и доброй? Неужели все

это из-за разницы в возрасте? Джорджу под пятьдесят, а Кэти молода, так молода! Почему, почему?..

Эта сцена навсегда осталась в его памяти. Леонард Фелпс и Кэти в парке, за городом. Джордж появился из-за поворота дорожки как раз в тот момент, когда они целовались.

Ярость. Драка. Попытка убить Фелпса.

А потом еще дни и еще кошмары...

Джордж проснулся в слезах.

— Мистер Хилл, для вас все приготовлено.

Неуклюже он поднялся с кушетки. Увидел себя в высоких и неподвижных теперь зеркалах. Да, выглядит он на все пятьдесят. Это была ужасная ошибка. Люди более привлекательные, чем он, брали себе в жены молодых женщин и потом убеждались, что они неизбежно ускользают из их объятий, растворяются, словно кристаллики сахара в воде. Он злобно разглядывал себя. Чуть-чуть много живота. Чуть-чуть много подбородка. Многовато соли с перцем в волосах и мало в теле...

Темноволосый человек ввел его в другую комнату.

У Джорджа перехватило дыхание.

— Но это же комната Кэти!

— Фирма старается максимально удовлетворять запросы клиентов.

— Ее комната! До мельчайших деталей!

Джордж Хилл подписал чек на десять тысяч долларов. Человек взял чек и ушел.

В комнате было тихо и тепло.

Джордж сел и потрогал пистолет в кармане. Да, куча денег... Но богатые люди могут позволить себе роскошь «очищающего убийства». Насилие без насилия. Смерть без смерти. Ему стало легче. Внезапно он успокоился. Он смотрел на дверь. Наконец-то приближается момент, которого он ждал целых полгода. Сейчас все будет кончено. Через мгновение в комнату войдет прекрасный робот, марионетка, управляемая невидимыми нитями. И...

— Здравствуй, Джордж.

— Кэти!

Он стремительно повернулся.

— Кэти! — вырвалось у него.

Она стояла в дверях за его спиной. На ней было мягкое как пух зеленое платье, на ногах — золотые плетеные сандалии. Волосы светлыми волнами облегли шею, глаза сияли ясной голубизной.

От потрясения он долго не мог выговорить ни слова. Наконец сказал:

— Ты прекрасна.

— Разве я когда-нибудь была иной?

— Дай мне поглядеть на тебя, — сказал он медленно чужим голосом.

Он простер к ней руки, неуверенно, как лунатик. Сердце его глухо колотилось. Он двигался тяжело, будто придавленный огромной толщей воды. Он все ходил, ходил вокруг нее, бережно прикасаясь к ее телу.

— Ты что, не нагляделся на меня за все эти годы?

— И никогда не наглажусь... — сказал он, и глаза его налились слезами.

— О чем ты хотел говорить со мной?

— Подожди, пожалуйста, немного подожди.

Он сел, внезапно ослабев, на кушетку, прижал дрожащие руки к груди. Зажмурился.

— Это просто непостижимо. Это тоже кошмар. Как они сумели сделать тебя?

— Нам запрещено говорить об этом. Нарушается иллюзия.

— Какое-то колдовство.

— Нет, наука.

Руки у нее были теплые. Ногти совершенны, как морские раковины. И нигде ни малейшего изъяна, ни единого шва. Он глядел на нее, и ему вспоминались слова, которые они так часто читали вместе в те счастливые дни: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими... Как лента алая губы твои, а уста твои любезны... Два сосца твоих как двойни молодой серны, пасущиеся

между лилиями... Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе»\*.

— Джордж!

— Что? — Глаза у него были ледяные.

Ему захотелось поцеловать ее.

«...Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана».

— Джордж!

Оглушительный шум в ушах. Комната перед глазами пошла ходуном.

— Да-да, сейчас, одну минуту... — Он затряс головой, чтобы вытряхнуть из нее шум.

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь княжеская! Округление бедер твоих, как ожерелье, творение искусного художника...»

— Как им это удалось? — вскричал он.

Так быстро! За три часа, пока он спал. Как это они расплавили золото, укрепили тончайшие часовые пружинки, алмазы, блески, конфетти, драгоценные рубины, жидкое серебро, медные проволоочки? А ее волосы? Их спряли металлические насекомые? Нет, наверно, золотисто-желтое пламя залили в форму и дали ему затвердеть...

— Если ты будешь говорить об этом, я сейчас же уйду, — сказала она.

— Нет-нет, не уходи!

— Тогда ближе к делу, — холодно сказала она. — Ты хотел говорить со мной о Леонарде.

— Подожди, об этом немного позже.

— Нет, сейчас, — настаивала она.

В нем уже не было гнева. Все как будто смыло волной, когда он ее увидел. Он чувствовал себя гадким мальчишкой.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросила она без улыбки.

— Прошу тебя...

— Нет, отвечай. Если насчет Леонарда, то ты же знаешь, что я люблю его.

---

\* Здесь и далее цитаты из Библии («Песнь песней»). (Примеч. пер.)

— Замолчи! — Он зажал уши руками.

Она не унималась.

— Тебе отлично известно, что я сейчас все время с ним. Я теперь бываю с Леонардом там, где бывали мы с тобой. Помнишь лужайку на Монте-Верде? Мы с ним были там на прошлой неделе. Месяц назад мы летали в Афины, взяли с собой ящик шампанского.

Он облизал пересохшие губы:

— Ты не виновата, не виновата! — Он вскочил и схватил ее за руки. — Ты только что появилась на свет, ты не она. Виновата она, не ты. Ты совсем другая.

— Неправда, — сказала женщина. — Я и есть она. Я могу поступать только так, как она. Во мне нет ни грамма того, чего нет в ней. Практически мы с ней одно и то же.

— Но ты же не вела себя так, как она?

— Я вела себя именно так. Я целовала его.

— Ты не могла, ты только что родилась!

— Да, но из ее прошлого и из твоей памяти.

— Послушай, — умолял он, тряся ее, пытаюсь заставить себя слушать, — может быть, можно... может быть, можно... ну, заплатить больше денег? И увезти тебя отсюда? Мы улетим в Париж, в Стокгольм, куда хочешь!

Она рассмеялась:

— Куклы не продаются. Их дают только напрокат.

— Но у меня есть деньги!

— Это уже пробовали, давным-давно. Нельзя. От этого люди сходят с ума. Даже то, что делается, — незаконно, ты же знаешь. Мы существуем потому, что власти смотрят на нас сквозь пальцы.

— Кэти, я хочу одного — быть с тобой.

— Это невозможно — ведь я та же самая Кэти, вся до последней клетки. А потом, мы остерегаемся конкуренции. Куклы не разрешается вывозить из здания фирмы: при вскрытии могут разгадать наши секреты. И хватит об этом. Я же предупреждала тебя: об этом говорить не надо. Уничтожишь иллюзию. Уходя, будешь чувствовать себя неудовлетворенным. Ты ведь заплатил — так делай то, за чем пришел сюда.



— Но я не хочу убивать тебя.

— Часть твоего существа хочет. Ты просто подавляешь в себе это желание, не даешь ему прорваться.

Он вынул пистолет из кармана:

— Я старый дурак. Мне не надо было приходить сюда... Ты так прекрасна!

— Сегодня вечером я снова встречу с Леонардом.

— Замолчи.

— Завтра утром мы улетаем в Париж.

— Ты слышала, что я сказал?

— А откуда в Стокгольме, — она весело рассмеялась и потрепала его по подбородку. — Так-то, мой толстячок.

Что-то зашевелилось в нем. Он побледнел. Он ясно понимал, что происходит: скрытый гнев, отвращение, ненависть пульсировали в нем, а тончайшие телепатические паутинки в феноменальном механизме ее головы улавливали эти сигналы смерти. Марионетка! Он сам и управлял ее телом с помощью невидимых нитей.

— Пухленький чудачок. А ведь когда-то был красив.

— Перестань!

— Ты старый, старый, а мне ведь только тридцать один год. Ах, Джордж, как же слеп ты был — работал, а я тем временем опять влюбилась... А Леонард просто прелесть, правда?

Он поднял пистолет, не глядя на нее.

— Кэти.

«Голова его — чистое золото...» — прошептала она.

— Кэти, не надо! — крикнул он.

«...Кудри его волнистые и черные, как вороново крыло... Руки его — золото, украшенное топазами!»

Откуда у нее эти слова «Песни песней»? Они звучат в его мозгу — как же получается, что она их произносит?

— Кэти, не заставляй меня это делать!

«Щеки его — цветник ароматный... — бормотала она, закрыв глаза и неслышно ступая по комнате. — Живот его изваян из слоновой кости... Ноги его — мраморные столпы...»

— Кэти! — взвизгнул он.

Выстрел.

«Уста его — сладость...»

«...Вот кто мой возлюбленный...»

Еще выстрел.

Она упала.

— Кэти, Кэти, Кэти!!!

Он всадил в нее еще четыре пули.

Она лежала и дергалась. Ее бесчувственный рот широко раскрылся, и какой-то механизм, уже зверски изуродованный, заставлял ее повторять вновь и вновь: «Возлюбленный, возлюбленный...»

Джордж Хилл потерял сознание.

Он очнулся от прикосновения прохладной влажной ткани к его лбу.

— Все кончено, — сказал темноволосый человек.

— Кончено? — шепотом переспросил Джордж.

Темноволосый кивнул.

Джордж бессильно глянул на свои руки. Он помнил, что они были в крови. Он упал на пол, когда потерял сознание, но и сейчас в нем еще жило воспоминание о том, что по его рукам потоком льется настоящая кровь.

Сейчас руки его были чисто вымыты.

— Мне нужно уйти, — сказал Джордж Хилл.

— Если вы чувствуете, что можете...

— Вполне. — Он встал. — Уеду в Париж. Начну все сначала. Звонить Кэти и вообще ничего такого делать, наверно, не следует.

— Кэти мертва.

— Ах да, конечно, я же убил ее! Господи, кровь была совсем как настоящая...

— Мы очень гордимся этой деталью.

Хилл спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Лил дождь. Но ему хотелось часами бродить по городу. Он очистился от гнева и жажды убийства. Воспоминание было так ужасно, что он понимал: ему уже никогда не захочется убить. Даже если настоящая Кэти появилась бы сейчас перед ним, он возблагодарил бы Бога и упал, позабыв обо всем на свете, к ее ногам. Но

она была мертва. Он сделал, что собирался. Он поправил закон, и никто об этом не узнает.

Прохладные капли дождя освежали лицо. Он должен немедленно уехать, пока не прошло это чувство очищения. В конце концов, какой смысл в этих «очистительных» процедурах, если снова браться за старое? Главное назначение кукол в том и заключается, чтобы предупреждать *реальные* преступления. Захотелось тебе избить, убить или помучить кого-нибудь, вот и отведи душу на марионетке... Возвращаться домой нет решительно никакого смысла. Возможно, Кэти сейчас там, а ему хотелось думать о ней только как о мертвой — он ведь об этом должным образом позаботился.

Он остановился у края тротуара и смотрел на проносящиеся мимо машины. Он глубоко вдыхал свежий воздух и ощущал, как постепенно спадает напряжение.

— Мистер Хилл? — проговорил голос рядом с ним.

— Да. В чем дело?

На его руке щелкнули наручники.

— Вы арестованы.

— Но...

— Следуйте за мной. Смит, арестуйте остальных наверху.

— Вы не имеете права...

— За убийство — имеем.

Гром грянул с неба.

Без десяти девять вечера. Вот уже десять дней как льет, не переставая, дождь. Он и сейчас поливает стены тюрьмы. Джордж высунул руки через решетку окна, и капли дождя теперь собирались в маленькие лужицы на его дрожащих ладонях.

Дверь лязгнула, но он не пошевелился, руки его по-прежнему мокры под дождем. Адвокат глянул на спину Хилла, стоявшего на стуле у окна, и сказал:

— Все кончено. Сегодня ночью вас казнят.

— Я не убийца. Это была просто кукла, — сказал Хилл, прислушиваясь к шуму дождя.

— Таков закон, и ничего тут не поделаешь. Вы знаете. Других ведь тоже приговорили. Президент компа-

нии «Марионетки, инкорпорейтед» умрет в полночь, три его помощника — в час ночи. Ваша очередь — половина второго.

— Благодарю, — сказал Хилл. — Вы сделали все, что могли. Видимо, это все-таки было убийство, даже если убил я не живого человека. Намерение было, умысел и план тоже. Не хватало только живой Кэти.

— Вы попали в неудачный момент, — сказал адвокат. — Десять лет назад вам бы не вынесли смертного приговора. Через десять лет вас бы тоже не тронули. А сейчас им нужен предметный урок — мальчик для битья. Ажиотаж вокруг кукол принял за последний год просто фантастические размеры. Надо припугнуть публику, и припугнуть всерьез. Иначе Бог знает до чего мы можем докатиться. У этой проблемы есть ведь и религиозно-этический аспект: где начинается — или кончается — жизнь, что такое роботы — живые существа или машины? В чем-то они очень близки к живым: они реагируют на внешние импульсы, они даже мыслят. Вы же знаете: два месяца назад был издан закон «О живых роботах». Под действие этого закона вы и подпали. Просто неудачный момент, только и всего...

— Правительство поступает правильно, теперь мне стало ясно, — сказал Хилл.

— Я рад, что вы понимаете позицию правосудия.

— Да. Не могут же они легализовать убийство. Даже такое условное — с применением телепатии, механизмов и воска. С их стороны было бы лицемерием отпустить меня безнаказанным. Я совершил преступление. И все время с того часа чувствовал себя преступником. Чувствовал, что заслуживаю наказания. Странно, правда? Вот как общество властвует над сознанием человека. Оно заставляет человека чувствовать себя виновным даже тогда, когда вроде бы и нет оснований для этого...

— Мне пора. Может быть, у вас есть какие-нибудь поручения?

— Нет, спасибо, мне ничего не нужно.

— Прощайте, мистер Хилл.

Дверь захлопнулась.

Джордж Хилл продолжал стоять на стуле у окна, сплетя мокрые от дождя руки за решеткой. На стене вспыхнула красная лампочка, и голос из репродуктора сказал:

— Мистер Хилл, здесь ваша жена. Она просит свидания с вами.

Он стиснул решетку руками.

«Она мертва», — подумал он.

— Мистер Хилл, — снова окликнул его голос.

— Она мертва. Я убил ее.

— Ваша жена ожидает здесь. Вы хотите ее видеть?

— Я видел, как она упала, я застрелил ее, я видел, как она упала мертвой!

— Мистер Хилл, вы меня слышите?

— Да-да, — закричал он, колотя о стену кулаками. — Слышу! Слышу вас! Она мертва, мертва и пусть оставит меня в покое! Я убил ее, я не хочу ее видеть, она мертва!

Пауза.

— Хорошо, мистер Хилл, — пробормотал голос.

Красный свет погас.

В небе вспыхнула молния, озарила его лицо. Он прижался разгоряченной щекой к прутьям решетки и долго стоял так, а дождь лил и лил. Наконец где-то внизу открылась дверь, и из тюремной канцелярии вышли две фигуры в плащах. Они остановились под ярким дуговым фонарем и подняли голову.

Это была Кэти. И рядом с ней Леонард Фелпс.

— Кэти!

Она отвернулась. Мужчина взял ее под руку. Они побежали под черным дождем через дорогу и сели в приземистую машину.

— Кэти! — крича, он дергал прутья решетки, колотил кулаками по бетонному подоконнику. — Она жива! Эй, надзиратель! Я видел ее. Она жива! Я не убил ее, меня можно отпустить на свободу! Я никого не убивал, это все шутка, ошибка, я видел, видел ее! Кэти, вернись, скажи им, что ты жива! Кэти!

В камеру вбежали надзиратели.

— Вы не смеете казнить меня! Я не совершил никакого преступления! Кэти жива, я сейчас видел ее!

— Мы тоже видели ее, сэр.

— Тогда освободите меня! Освободите!

«Этого не может быть, они просто сошли с ума!» Он задохнулся и едва не упал.

— Суд уже вынес свой приговор, сэр.

— Но это несправедливо!

Он подпрыгнул и вцепился в решетку, дико крича.

Машина тронулась с места, увозя Кэти и Леонарда. Увозя их в Париж, и в Афины, и в Венецию, а весной — в Лондон, летом — в Стокгольм, осенью — в Вену.

— Кэти, вернись! Кэти, ты не можешь так со мной поступить!

Красные задние фары машины удалялись, подмигивая сквозь завесу холодного дождя. Надзиратели надвинулись сзади и схватили его, а он все продолжал кричать.

## КРИЧАЩАЯ ЖЕНЩИНА

**М**еня зовут Маргарет Лири. Мне десять лет, и я учусь в пятом классе. У меня нет братьев и сестер, но есть прекрасные папа и мама, правда, они не могут уделять мне много внимания. Как бы то ни было, никто из нас даже не предполагал, что придется столкнуться с убитой женщиной. Или почти не предполагал.

Когда живешь на улице, подобной нашей, то и не подумаешь, что может произойти что-то ужасное, скажем, перестрелка, убийство или погребение человека заживо, чуть ли не у вас во дворе. А когда такое случается, просто не веришь. Продолжаешь как ни в чем не бывало намазывать масло на хлеб или же печь пирог.

Я расскажу вам, как это произошло. Была середина июля. Мама сказала мне:

— Маргарет, сходи в магазин и купи мороженое. Сегодня суббота, папа обедает дома. Мы должны угостить его чем-нибудь вкусеньким.

Я побежала через пустырь позади нашего дома, где ребята играют в бейсбол и где обычно сваливают стекла и всякий хлам. Когда я шла обратно из магазина и думала о чем-то своем, все это вдруг и произошло.

Я услышала крик женщины, остановилась и прислушалась. Звук шел из-под земли. Женщина была погребена под камнями, стеклами и мусором. Она ужасно кричала и умоляла вытащить ее.

Я стояла, оцепенев от ужаса, а она продолжала приглушенно кричать.

Тогда я бросилась прочь, споткнулась, упала, вновь вскочила и побежала.

Открыв дверь нашего дома, я увидела маму, спокойную, как всегда, даже не подозревавшую, что позади нашего дома, всего в каких-то сотне ярдов, погребена в земле живая женщина, которая кричит и просит о помощи.

— Мам... — произнесла я.

— Не стой там с мороженым, — прервала она меня.

— Но, ма...

— Положи его в холодильник.

— Послушай, ма, на пустыре кричит какая-то женщина.

— И вымой руки, — продолжала мама.

— Она кричит и кричит...

— Давай-ка посмотрим, где соль и перец.

— Послушай меня, — сказала я громко. — Мы должны ее выкопать. Она похоронена под тоннами земли, и, если мы ее не выроем, она задохнется и умрет.

— Я уверена, что она может подождать, пока мы пообедаем, — ответила мама.

— Ма, ты что, не веришь мне?

— Конечно, верю, дорогая. А теперь вымой руки и отнеси эту тарелку отцу.

— Я даже не знаю, кто она и как туда попала. Но мы должны помочь ей, пока не поздно.

— О Боже! — воскликнула мама. — Посмотри на мороженое. Ты что, стояла на солнце и ждала, пока оно растает?

— Но на пустыре...

— Иди-иди, егоза.

Я пошла в столовую.

— Па, там на пустыре кричит какая-то женщина.



— Мне еще не встречались женщины, которые не кричат.

— Я серьезно.

— Да, ты выглядишь очень серьезной, — согласился папа.

— Мы должны достать кирки и лопаты и откопать ее, как египетскую мумию.

— Я не археолог, Маргарет. Как-нибудь, прохладным октябрьским днем мы примемся с тобой за дело.

— Но так долго ждать нельзя. — Я почти кричала.

Сердце колотилось у меня в груди. Я была возбуждена, испугана, а папа как ни в чем не бывало положил себе на тарелку мясо и принялся за еду, не обращая на меня никакого внимания.

— Па?

— М-м?

— Па, ты должен после обеда пойти со мной и помочь, — взмолилась я. — Па, ну па, я отдам тебе все деньги, которые у меня есть в копилке.

— Ну, — сказал папа, — это уже деловое предложение. Видимо, очень важное для тебя, раз ты предлагаешь мне свои деньги. И сколько ты будешь мне платить в час?

— За год я накопила целых пять долларов. Все они твои.

— Я тронут. — Папа коснулся моей руки. — Очень тронут. Ты хочешь поиграть со мной и готова платить за это деньги. Откровенно говоря, Маргарет, ты заставила своего старого папу почувствовать себя настоящим негодяем. Я слишком мало уделяю тебе времени. Вот что я скажу: после обеда я пойду с тобой и послушаю крики женщины. И сделаю это бесплатно.

— Да? Ты действительно пойдешь?

— Да, только обещай мне...

— Что?

— Если хочешь, чтобы я пошел, ты должна сперва съесть весь свой обед.

— Обещаю.

— Ну хорошо.

В комнату вошла мама и села за стол. Мы стали обедать.

— Не так быстро, — заметила мама.

Я стала есть медленнее, а затем вновь заторопилась.

— Ты слышала, что сказала мама? — обратился ко мне папа.

— Но кричащая женщина... Мы должны поторопиться.

— А я, — заметил папа, — собираюсь есть спокойно. Сперва я со всем необходимым вниманием съем бифштекс, картошку, салат, затем мороженое и, если ты не возражаешь, выпью холодный кофе. Это у меня займет по крайней мере час. И вот что, моя маленькая леди, если ты еще раз за столом во время обеда упомянешь об этой, как ее, кричащей... я не пойду с тобой слушать ее концерт.

— Да, сэр, — произнесла я.

— Тебе все понятно?

— Да, сэр.

Обед длился целую вечность. Все действия родителей были замедленными, как в некоторых фильмах. Мама медленно вставала и так же медленно садилась. Медленно-медленно двигались вилки, ножи и ложки. Даже мухи по комнате и те стали какими-то сонными. Все было так медленно, что хотелось крикнуть: «Поторопитесь! Пожалуйста, побыстрее! Давайте быстро встанем и побежим!»

Но нет, я продолжала сидеть. И пока мы все сидели и медленно поглощали обед, пока весь мир обедал, там, на улице, кричала женщина, и крик ее звучал у меня в ушах. Она была совсем одна. Солнце пекло, а на пустыре никого.

— Ну, вот и все, — сказал наконец папа.

— Мы сейчас пойдем искать эту женщину? — спросила я.

— Сперва немного холодного кофе.

— Кстати, о кричащих женщинах, — вмешалась мама. — Чарли Несбитт вчера вечером вновь подрался с женой.

— Ничего удивительного, — хмыкнул папа. — Они всегда дерутся.

— Чарли — негодяй, — заметила мама. — Впрочем, она не лучше.

— Не знаю, но мне кажется, она вполне порядочная женщина.

— Просто ты к ней хорошо относишься. Помнишь, как вы чуть было не поженились?

— Опять ты за старое? В конце концов, я был помолвлен с ней всего шесть недель.

— Ты проявил здравый смысл, разорвав помолвку.

— Ну ты же знаешь Хелен. Она помешалась на сцене. Хотела путешествовать. А у меня не было времени на подобные развлечения. Это и привело к разрыву. Хотя она была очень мила. Мила и добра.

— И что ей это дало? Ужасного грубияна в мужья — Чарли.

— Па... — подала я голос.

— Я согласен с тобой. У Чарли ужасный характер. Помнишь, как Хелен играла в школьной пьесе? Она была хороша как картинка и сама написала несколько песен, а одну — специально для меня.

— Ха... — засмеялась мама.

— Не смейся. Это была хорошая песня.

— Ты мне о ней не рассказывал.

— Это касалось только нас с Хелен. Как же она начиналась?

— Па... — перебила его я.

— Ты бы лучше пошел с дочкой на пустырь, — заметила мама, — а то она в обморок упадет. Можешь и потом спеть эту прекрасную песню.

— Хорошо, пошли, — сказал папа, и я потащила его на улицу.

На пустыре никого не было. Солнце пекло. Битые бутылки отливали всеми цветами радуги.

— Ну, и где твоя кричащая женщина? — усмехнулся папа.

— Мы забыли лопаты! — воскликнула я.

— Возьмем потом, когда услышим солистку.

Я повела его к тому месту.

— Послушай.

Мы прислушались.

— Я ничего не слышу, — наконец произнес папа.

— Ш-ш... подождем.

Мы еще постояли молча.

— Эй, кричащая женщина, где ты?! — закричала я.

Мы слышали, как солнце движется по небу. Слышали очень спокойное дуновение ветра среди листвы. Слышали, как где-то вдали проходил автобус. Как проехала какая-то машина. Но... только и всего.

— Маргарет, — сказал папа. — Думаю, тебе нужно лечь в постель и положить на лоб мокрую тряпку.

— Но она была здесь. Она кричала, кричала и кричала! — воскликнула я. — Посмотри, здесь копали. Ты стоишь прямо на этом месте!

— Маргарет, вчера именно здесь мистер Келли выкопал большую яму для всякого хлама.

— А ночью кто-то воспользовался его ямой и заживо захоронил женщину, а потом забросал ее землей.

— Ну... я иду домой. Хочу принять холодный душ.

— Ты не сможешь мне копать?

— Долго не стой здесь, жарко.

Папа ушел. Я услышала, как хлопнула дверь, и топнула ногой.

— Проклятье!

И вдруг крик раздался снова. Она кричала и кричала, призывая меня.

Я бросилась к дому и с шумом хлопнула дверью.

— Па, она снова кричит!

— Да, конечно, кричит. Пошли. — Он повел меня по лестнице в спальню. — Ну вот. — Он заставил меня лечь и положил на голову влажное полотенце. — Успокойся.

— Па, мы не можем позволить ей умереть. — Я заплакала. — Она закопана, как тот человек из рассказа Эдгара Аллана По. Подумай, как ужасно кричать, когда никто не обращает на это внимания.

— Я запрещаю тебе выходить из дома, — встревоженно произнес папа. — Будешь лежать здесь весь день.

Он вышел и запер комнату на ключ. Я услышала, как он говорит с мамой. Через некоторое время я успокоилась, встала и на цыпочках подошла к окну. Кажется, высоко.

Привязав простыню к спинке кровати, я спустилась через окно на землю, взяла в сарае пару лопат и побежала на пустырь. Было еще жарче, чем прежде. Я стала копать, а женщина все кричала и кричала...

Это была тяжелая работа. Ковырять лопатой, отбрасывая камни и стекло. Я знала, что мне придется копать весь день. Что я могла сделать? Побегать и рассказать другим людям? Но они, как папа и мама, не обратили бы на это никакого внимания. И я продолжала копать одна.

Минут десять спустя на пустырь прибежал мой одноклассник Диппи Смит.

— Привет, Маргарет! — воскликнул он.

— Привет, Диппи, — с трудом переводя дух, ответила я.

— Что ты тут делаешь?

— Копаю.

— Зачем?

— В земле захоронена женщина. Она кричит, а я хочу ее выкопать.

— Я не слышу никакого крика, — сказал Диппи.

— А ты сядь, подожди немного и услышишь. А еще лучше, если ты мне поможешь.

— Я не буду копать, пока не услышу крика.

Мы подождали.

— Слушай, — крикнула я. — Слышишь?

— Ей-Богу! — Глаза его сияли. — Сделай еще раз.

— Сделай еще?

— Крикни.

— Нужно подождать, — в смущении проговорила я.

— Ну, сделай, — настаивал он, трясая меня за руку. — Сделай. — Он вытащил из кармана коричневый камушек. — Я тебе этот шарик отдам, если ты еще раз так сделаешь.

Из-под земли вновь раздался крик.

— Вот это да! — воскликнул Диппи. — Научи меня делать так же!

Он запрыгал вокруг, точно я чудо сотворила.

— Это не... — начала было я.

— Тебе купили десятицентовую книжку про чревовещание от Далласской компании Фокусов? — спрашивал Диппи. — Или у тебя такая чревовещательная жестянка во рту?

— Д-да, — соврала я. — Если ты сможешь копать, позднее я научу тебя этому.

— Прекрасно. Дай лопату.

Мы стали копать вместе. Время от времени женщина кричала.

— Можно подумать, — сказал Диппи, — что она у нас прямо под ногами. Ты молодец, Мэгги. А как ее зовут?

— Кого?

— Женщину, которая кричит. Ты должна дать ей какое-нибудь имя.

— О да. — Я на мгновение задумалась. — Ее зовут Вилма Швейгер. Это богатая старушка девяносто шести лет. Ее живьем закопал мужчина по имени Спайк. Он подделывал десятидолларовые банкноты.

— Вот это да!

— Вместе с нею закопаны сокровища, а я... хочу вскрыть могилу и завладеть ими, — задыхаясь, произнесла я, продолжая энергично копать.

Диппи сощурился и напустил на себя таинственный вид.

— А я могу тоже стать гробокопателем? — Тут в голову ему пришла мысль. — Пусть это будет принцесса Омманатра, египетская царица, усыпанная бриллиантами.

«Мы спасем ее, — подумала я, — спасем, если только будем продолжать копать!»

— Слушай, у меня появилась идея! — воскликнул Диппи.

Он куда-то убежал и вскоре вернулся с куском картона, на котором стал что-то писать мелом.

— Продолжай копать! Мы не должны останавливаться!

— Я делаю надпись. Видишь? КЛАДБИЩЕ СНА! Мы будем здесь в коробочках хоронить птичек и жуков. Я пойду и постараюсь найти бабочек.

— Нет, Диппи!

— Так интереснее. Возможно, найду и мертвую кошку.

— Диппи, берись за лопату! Пожалуйста!

— Я устал, — произнес Диппи. — Думаю, надо сходить домой и немного вздремнуть.

— Ты не можешь этого сделать.

— Почему?

— Послушай, Диппи, я хочу кое-что тебе сказать.

— Что? — Он ударил ногой по лопате.

— Здесь действительно закопана живая женщина, — прошептала я ему на ухо.

— Ну конечно. Ты это уже говорила, Мэгги.

— Но ты мне не поверил.

— Объясни, как ты кричишь, не открывая рта. Тогда я буду копать.

— Не могу тебе ничего объяснить, потому что не я это делаю. Послушай, Диппи, я отойду в сторону, а ты стой здесь и слушай.

Вновь раздался крик женщины.

— Не может быть! — воскликнул Диппи. — Но там действительно женщина!

— Именно это я и пыталась тебе втолковать.

— Давай копать!

Мы копали без перерыва двадцать минут.

— Интересно, кто она?

— Не знаю.

— Может быть, это миссис Нельсон, миссис Тернер или миссис Брэдли. Интересно, она красивая? Какого цвета у нее волосы? Сколько ей лет? Тридцать, шестьдесят или девяносто?

— Копай!

Насыпь становилась все выше.

— Как ты думаешь, она наградит нас за спасение?

— Конечно.

— Центов двадцать пять даст, как по-твоему?

— Держу пари, что не меньше доллара.

— Как-то я прочитал книгу о магии, — начал вспоминать Диппи, продолжая копать. — Один индус, совершенно голый, был захоронен заживо. Он проспал в могиле шестьдесят дней и ничего не ел. Представляешь, шестьдесят дней без солодовой, жвачки, конфет, наконец, без воздуха. — Вдруг лицо Диппи помрачнело. — А что, если эти звуки раздаются по радио, а мы так усердно работаем?

— Если это и радио, оно будет наше.

Вдруг на нас упала чья-то тень.

— Эй, ребята, что вы здесь делаете?

Мы обернулись. Перед нами стоял мистер Келли, которому принадлежал этот пустырь.

— Здравствуйте, мистер Келли, — поздоровались мы.

— Послушайте меня внимательно, — произнес мистер Келли. — Я хочу, чтобы вы взяли за свои лопаты и вновь закопали эту яму. Я хочу, чтобы вы это сделали.

Мое сердце бешено забилося. Мне самой хотелось закричать.

— Но, мистер Келли, кричит женщина и...

— Меня это не интересует. Я ничего не слышу.

— Послушайте! Слышите крик?

Мистер Келли прислушался и покачал головой:

— Я ничего не слышу. Давайте, давайте, засыпайте яму и по домам, а то вам придется долго меня помнить.

Мы засыпали яму землей. И пока мы работали, мистер Келли стоял рядом, скрестив руки. Все это время женщина кричала, но мистер Келли притворялся, будто ничего не слышит.

Когда мы закончили, он сказал:

— А теперь по домам. И если я еще раз увижу вас здесь...

— Это он, — прошептала я, поворачиваясь к Диппи.

— Что?

— Он убил миссис Келли. Задушил, засунул в ящик и закопал, но она пришла в себя. Почему, спрашивается, он не обращает внимания на ее крик?

— Действительно, — согласился Диппи. — Он ведь стоял здесь, все слышал и все равно лгал!



— Есть только один выход, — сказала я. — Позвонить в полицию и попросить их приехать и арестовать мистера Келли.

Мы побежали на угол к телефонной будке.

Пять минут спустя полицейский постучал в дом мистера Келли. Мы с Диппи вели наблюдение, спрятавшись в кустах.

— Мистер Келли? — спросил полицейский.

— Да, сэр. Чем могу быть полезен?

— Миссис Келли дома?

— Да, сэр.

— Можно ее видеть?

— Конечно. Эй, Анна!

В дверях показалась миссис Келли.

— Да, сэр?

— Прошу прощения, — извинился полицейский. — Нам сообщили по телефону, что вас заживо похоронили на пустыре. Правда, голос был похож на детский, но мы все-таки решили проверить. Извините, что беспокоил вас.

— Чертовы дети! — сердито воскликнул мистер Келли. — Если я когда-нибудь встречу их, то разорву на части!

— Удираем! — крикнул Диппи, и мы помчались со всех ног.

— Что будем делать дальше? — спросила я.

— Я должен идти домой, — ответил Диппи. — Ну и влипли мы! Нам еще за это попадет!

— А как быть с кричащей женщиной?

— Забудь о ней. Мы не должны даже близко подходить к этому месту. Старый Келли наверняка поджидает нас там с ремнем. Кстати, Мэгги, я только что вспомнил: разве старый Келли не глуховат? Ведь он едва слышит.

— Черт возьми! Неудивительно, что он не слышал криков.

— Ну пока, — сказал Диппи. — Мы действительно попали в историю с этим проклятым загробным голосом. До встречи.

Я осталась одна. Помощи ждать было неоткуда. Никто мне не верил. Мне захотелось залезть в ящик к кричащей женщине и умереть. За мной охотилась полиция — ведь я наврала им. И отец, наверное, уже искал меня, обнаружив пустую кровать.

Оставалось последнее средство. Я заходила в каждый дом, расположенный вдоль дороги, звонила и спрашивала: «Простите меня, миссис Грисвалд, у вас никто не пропал?» или «Здравствуйте, миссис Пайкс, вы прекрасно сегодня выглядите. Рада видеть вас дома». Потом я немного болтала с хозяйками, чтобы не показаться невежливой, и продолжала свой обход.

Час проходил за часом. Темнело. Я думала о том, много ли воздуха осталось в ящике с погребенной женщиной. Нужно было поторопиться, иначе она задохнется. Наконец я подошла к последнему дому — к дому мистера Чарли Несбитта, нашего соседа. Я долго стучала в дверь и уже готова была отказаться от своей затеи и пойти домой, как вдруг дверь открылась. Вместо миссис Несбитт, или Хелен, как называл ее мой отец, вышел сам Чарли, мистер Несбитт.

— О! — воскликнул он. — Это ты, Маргарет!

— Да, — ответила я. — Добрый вечер.

— Чем могу быть полезен?

— Я бы хотела поговорить с вашей женой, миссис Несбитт.

— О!..

— Можно?

— Она пошла по магазинам.

— Я подожду, — сказала я и прошмыгнула в дом.

— Ну ладно, — согласился он.

Я уселась на стул.

— Сегодня ужасно жарко, — произнесла я, пытаюсь сохранить спокойствие, хотя меня преследовала мысль о несчастной женщине, о том, что она задыхается в яме, а крик ее становится все слабее и слабее.

— Послушай. — Чарли подошел ко мне. — Думаю, тебе не стоит ждать.

— Почему, мистер Несбитт?

— Видишь ли, сегодня моя жена не вернется.

— Да?

— Она действительно пошла за покупками, но затем собиралась навестить свою мать. Вот так-то. А мать живет в Скенектеди. Так что жена вернется через два-три дня, а возможно, и через неделю.

— Жаль.

— Почему?

— Мне необходимо кое-что ей рассказать.

— Что именно?

— Я хотела сказать ей, что на пустыре захоронена женщина, которая все время кричит.

Мистер Несбитт уронил сигарету.

— У вас сигарета упала, мистер Несбитт.

— Правда? Действительно, — пробормотал он. — Я расскажу Хелен твою историю, как только она вернется домой. Ей понравится.

— Спасибо, но это живая женщина.

— Откуда ты знаешь?

— Я слышала ее.

— Да? Ты уверена? А может быть, это корень мандрагоры?

— А что такое мандрагора?

— Видишь ли, мандрагора — это такое растение, издающее крик. Где-то я об этом читал. А ты думаешь, что это не мандрагора?

— Я об этом не думала.

— Надо подумать, — сказал мистер Несбитт, закуривая новую сигарету. Он старался выглядеть спокойным. — Слушай, а ты... э-э... рассказывала кому-нибудь об этом?

— Да. Многим.

Мистер Несбитт обжег палец спичкой.

— И кто-нибудь что-нибудь предпринял?

— Нет. Мне никто не верит.

— Ну конечно, — улыбнулся он. — Естественно. Ты ведь только ребенок. Разве они обязаны тебя слушать?

— Я пойду и выкопаю ее.

— Постой.

— Я должна идти.

— Побудь со мной немного, — настаивал он.

— Благодарю, но я не могу.

Он схватил меня за руку.

— Ты умеешь играть в карты? В «блэкджек»?

— Да.

Мистер Несбитт взял со стола колоду карт.

— Давай сыграем?

— Я должна идти копать.

— У тебя еще много времени. Может быть, моя жена скоро вернется. А ты ее немного подождешь.

— Вы думаете, она вернется?

— Конечно. Э... а тот голос... очень громкий?

— Он с каждым разом становится тише.

Мистер Несбитт вздохнул и улыбнулся:

— Детские игры! Давай сыграем в «блэкджек». Это гораздо занятнее, чем кричащая женщина.

— Я должна идти. Уже поздно.

— Посиди немного. Тебе все равно нечего делать.

Я понимала, чего он хочет. Он пытался задержать меня в доме до тех пор, пока крики женщины окончательно не затихнут и я уже не смогу ей ничем помочь.

— Моя жена вернется через десять минут, — сказал он. — Всего десять минут. Подожди. Сиди, где сидишь.

Мы играли в карты. Часы тикали.

Солнце уже исчезло за горизонтом. Стало очень темно. Крик звучал в моем воображении все тише и тише.

— Я должна идти, — наконец произнесла я.

— Сыграем еще разок? — спросил мистер Несбитт. — Подожди еще часик. Моя жена вот-вот вернется. Подожди.

Наконец он посмотрел на часы:

— Ладно, Маргарет, думаю, тебе пора.

Я знала, что он задумал. Тайком, глубокой ночью, он собирался выкопать свою жену еще живой, утащить куда-нибудь и похоронить понадежнее. «Всего доброго, Маргарет. Всего доброго». Он отпустил меня, потому что думал, что воздух в ящике уже кончился.

Дверь захлопнулась перед моим носом.

Я побежала обратно на пустырь и спряталась в кустах. Что же мне делать? Рассказать отцу с матерью?

Но они не верили мне. Вызвать полицию? Но Чарли Несбитт скажет, что его жена уехала. Мне никто не верил!

Я посмотрела на дом мистера Келли. Никого. Я побежала на то место, откуда раздавались крики. Но криков уже не было. Все кончилось.

«Слишком поздно», — подумала я, легла и приложила ухо к земле.

И вдруг я услышала звуки — такие слабые, что их едва было слышно. Женщина больше не кричала. Она пела. Что-то вроде: «Я любила тебя всей душой, я любила тебя по-настоящему».

Это была печальная песня. Тихая. И какая-то прерывистая. Долгие часы под землей, должно быть, свели женщину с ума. Она больше не кричала, не звала на помощь, она просто пела.

Я прислушалась к песне. Затем быстро вскочила на ноги, пересекла пустырь, взбежала по ступенькам нашего дома и открыла входную дверь.

— Отец!

— Наконец-то! — закричал он.

— Отец, — повторила я.

— Ну, тебе попадет!

— Она больше не кричит.

— Хватит о ней говорить!

— Она поет.

— Что ты выдумываешь!

— Па, она там и скоро умрет, а ты не слушаешь. Она поет. — И я замурлыкала: — «Я любила тебя всей душой, я любила тебя по-настоящему».

Отец побледнел, подошел ко мне и взял за руку.

— Что ты сказала?

— «Я любила тебя всей душой, я любила тебя по-настоящему», — вновь пропела я.

— Где ты слышала эту песню?!

— На пустыре, только что.

— Но это же песня Хелен, та самая, которую она написала для меня много лет назад! — закричал отец. — Ты не могла знать ее! Никто ее не знал, кроме меня и Хелен. И я никогда никому не пел эту песню.

— Да, ты прав.

— О Боже! — воскликнул отец и выбежал из дома, прихватив лопату.

Через несколько секунд он уже яростно копал на пустыре. Вскоре к нему присоединились другие люди и стали помогать ему. Я чувствовала себя такой счастливой, что готова была рыдать.

Я набрала телефон Диппи и, когда он подошел, произнесла:

— Привет, Диппи. Все прекрасно. Все очень хорошо. Женщина больше не кричит.

— Грандиозно!

— Немедленно приходи на пустырь. Не забудь лопату!

— Давай на спор: кто быстрее! Пока! — крикнул Диппи.

— Пока, Диппи.

Я бросила трубку и со всех ног помчалась на пустырь.

## РЖАВЧИНА

— **С**адитесь, молодой человек, — сказал полковник.

— Благодарю вас. — Вошедший сел.

— Я слышал о вас кое-что, — заговорил дружеским тоном полковник. — В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете и что вам ничего не удастся. Я слышу это уже несколько месяцев и теперь решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе? Не надоело ли вам работать в канцелярии? Может быть, вам хочется на фронт?

— Кажется, нет, — ответил молодой сержант.

— Так чего вы, собственно, хотите?

Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки.

— Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину, что бактерии в оболочках бомб стали безвредными, что танки провалились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание.

— Это естественное желание каждого из нас, — произнес полковник. — Но сейчас оставьте эти идеали-

стические разговоры и скажите нам, куда мы должны вас послать. Можете выбрать западный или северный округ. — Он постучал пальцем по карте, разложенной на столе.

Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы:

— Что делали бы вы, начальство, что делали бы мы, солдаты, что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись и пушки стали ненужными?

Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся:

— Это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. По-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия, и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали бы, разыгралось бы множество трагедий.

— А потом? — спросил сержант. — Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново... Что было бы тогда?

— Все принялись бы опять поскорее вооружаться.

— А если бы им можно было в этом помешать?

— Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками со стальными вкладками; отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти, и зубы, и ноги. Запретите им и это, и они станут плевать друг в друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов и все мухи и комары осыплются на землю.

— Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла, — продолжал сержант.

— Конечно, не было бы! Ведь это все равно что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока.

Молодой человек покачал головой:



— Вы просто хотите убедить себя и меня, ведь работа у вас спокойная и удобная.

— Пусть даже это на девяносто процентов цинизм и только на десять — разумная оценка положения. Бросьте вы свою ржавчину и забудьте о ней.

Сержант быстро поднял голову:

— Откуда вы знаете, что она у меня есть?

— Что у вас есть?

— Ну, эта ржавчина.

— О чем вы говорите?

— Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же.

Полковник засмеялся:

— Я думаю, вы шутите?

— Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию... Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину: водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали «нервный шок». И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах.

Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк.

— Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не утверждаю, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима.

— Вы думаете, я обманываю вас, — произнес сержант. — Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечном коробке. Радиус его действия — девятьсот миль. Я мог бы настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин, никто не думал, что атом может быть губительным оружием, и многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас.

— Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу, — подчеркнуто произнес полковник.

Сержант встал.

— Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?

— Нет, пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюз.

— Я уже решил, — сказал молодой человек. — Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени.

— Послушайте, сержант, не принимайте этого так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит.

— Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте. — Сержант открыл дверь канцелярии и вышел.

Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности. Потом вздохнул и провел ладонью по лицу.

Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку.

— Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело, почему он так ведет себя. Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть, у него странные иллюзии. Да-да, неприятно. По-моему, сказались шестнадцать лет войны.

Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой.

— Минутку, я запишу... — Он поискал авторучку. — Подождите у телефона, пожалуйста. Я ищу кое-что...

Он ощупал карманы.

— Ручка только что была тут. Подождите...

Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины.

Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку.

— Мэтьюз, — сказал он, — положите трубку. — Он услышал щелчок и набрал другой номер. — Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете: Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да... убейте его... вы слышите?

— Но... простите... — возразил удивленный голос на другом конце провода. — Я не могу... просто не могу!

— Что вы хотите сказать, черт побери? Как так не можете?

— Потому что... — Голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.

— Внимание, к оружию!

— Я никого не смогу застрелить, — ответил часовой.

Полковник тяжело сел.

Он ничего не видел и не слышал, но знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в ямы — именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.

— Сэр... — заговорил часовой, видевший все это. — Клянусь вам...

— Слушайте, слушайте меня! — закричал полковник. — Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас! — и бросил трубку.

По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Полковник с проклятием отскочил от стола.

Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «Деревянный, — подумалось ему, — старое доброе дерево, старый добрый бук». Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула по руке.

— Годится, черт побери!

С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.

## ...И ВРЕМЕНИ ПОБЕГ

**В**етер проносил годы мимо их разгоряченных лиц. Машина времени остановилась.

— Год тысяча девятьсот двадцать восьмой, — объявила Дженет, и мальчишки отвели глаза.

Мистер Филдс прокашлялся.

— Не забудьте — вы прибыли для изучения обычаев древних. Будьте внимательны, вдумчивы, наблюдательны.

— Так точно, — отозвались двое мальчиков и девочка в отглаженных защитных мундирчиках. Одинаковые стрижки, сандалии, часы, глаза, волосы, зубы и цвет кожи — как у близнецов, которыми они не были.

— Тшш! — прошептал мистер Филдс.

Они глядели на маленький иллинойский городок давней весной. Над улицами висел холодный предрасветный туман.

Последние лучи мраморно-сливочной луны осветили бегущего по улице мальчугана. Вдалеке отбили пять ударов часы. Оставляя на лужайке следы теннисных туфель, мальчуган пробежал мимо невидимой Машины времени и окликнул кого-то в темном окне.

Окно отворилось. Оттуда выпрыгнул другой мальчишка, и оба умчались в утреннюю прохладу, дожевывая бананы.

— Следуйте за ними, — прошептал мистер Филдс. — Изучайте их обычаи. Быстро!

Дженет, Уильям и Роберт поспешили, уже видимые, по холодным мостовым, через дремлющий город, через парк, а вокруг них вспыхивали огни, хлопали двери, и другие дети, поодиночке и парами, мчались сломя голову к подножию холма, к блестящим синим рельсам.

— Вот он!

Крик донесся перед самым рассветом. Вдали вспыхнул огонек, отражаясь в рельсах, и тут же вырос, грянув громом.

— Что это? — взвизгнула Дженет.

— Поезд, глупая, ты же видела фотографии! — крикнул в ответ Роберт.

Дети будущего смотрели, как спускаются огромные серые слоны, поливая мостовые дымящимися струями, вопросительными знаками поднимая хоботы в зябкое утреннее небо. С платформ грузно скатывались ало-золотые фургоны. В темноте клеток рычали и нетерпеливо прохаживались львы.

— Да... да это же... цирк! — вздрогнула Дженет.

— Ты так думаешь? А что с ними стало?

— То же, что и с Рождеством. Просто вымерли давным-давно. — Дженет огляделась. — Кошмар какой.

Мальчики ошеломленно озирались.

— Верно.

С первыми лучами зари закричали грузчики. Из окон спальных вагонов выглядывали опухшие лица. Копыта лошадей горным обвалом гремели по мостовой.

За спинами детей внезапно вырос мистер Филдс.

— Отвратительное варварство — держать зверей в клетках. Если бы я знал об этом, никогда не позволил бы вам смотреть. Гнусный обряд.

— О да. — Но во взгляде Дженет сквозило недоумение. — И все же, знаете, это как клубок червей. Я бы хотела изучить его.

— Не знаю, — отозвался Роберт: пальцы дрожат, глаза бегают. — Это безумие какое-то. Возможно, мы

могли бы написать реферат на эту тему, если мистер Филдс позволит...

Мистер Филдс кивнул:

— Я рад, что вы проникаете в суть вещей, ищете мотивы, изучаете этот ужас. Ладно. Посмотрим на цирк после полудня.

— Наверное, меня стошнит, — прошептала Дженет. Машина времени загудела.

— Так это и есть цирк, — серьезно удивилась Дженет.

Смолкли фанфары. Последним, что увидели дети, были антраша леденцово-розовых акробатов и ужимки обсыпанных мукой клоунов.

— Надо признать, психовидение куда лучше, — медленно проговорил Роберт.

— Эта звериная вонь, это возбуждение... — Дженет моргнула. — Это ведь вредно для детей, не так ли? И с детьми рядом сидели взрослые, которых называли «папы» и «мамы». Как это все странно.

Мистер Филдс пометил что-то в классном журнале. Дженет помотала головой:

— Хочу еще раз посмотреть на это. Я где-то упустила мотив. Я хочу еще раз пробежать по городу ранним утром. Холодный воздух на щеках... мостовая под ногами... подъезжающий цирковой поезд. Что заставило детей вскочить и мчаться поезду навстречу — воздух или ранний час? Почему они так возбуждены? Я упустила ответ.

— Они все столько улыбались, — заметил Уильям.

— Маниакально-депрессивный психоз, — объяснил Роберт.

— Что такое «летние каникулы»? — Дженет глянула на мистера Филдса: — Дети говорили о них, я слышала.

— Они проводили каждое лето, бегая по округе и колотя друг друга, как идиоты, — серьезно пояснил мистер Филдс.

— Я предпочитаю наши организованные государством летние трудовые лагеря, — тихо пробормотал Роберт, глядя в пустоту.

Машина времени остановилась снова.

— Четвертое июля, — объявил мистер Филдс. — Год тысяча девятьсот двадцать восьмой. Древний праздник, когда люди отстреливали друг другу пальцы.

Путешественники стояли напротив того же дома, на той же улице, но уже теплым летним вечером. Свистели фейерверки, и ребятишки на каждом крыльце швыряли в воздух штуковины, взрывающиеся — бум!!!

— Не бегите! — вскрикнул мистер Филдс. — Это не война! Не бойтесь!

Но лица Дженет, и Роберта, и Уильяма розовели, и голубели, и белели под светом струй ласкового огня.

— Мы в порядке, — прошептала Дженет, застыв.

— К счастью, — объявил мистер Филдс, — фейерверки были запрещены сто лет назад и подобные взрывоопасные развлечения прекратились.

Дети плясали, как эльфы, выписывая бенгальскими огнями в ночном летнем небе свои имена и судьбы.

— Я бы тоже так хотела, — прошептала Дженет. — Написать свое имя в небе. Ясно? Хотела бы.

— Что? — Мистер Филдс отвлекся и не слышал.

— Ничего, — отозвалась Дженет.

— Бумм!! — шептали Уильям и Роберт, стоя в тени ласковой летней листвы, глядя вверх, на алые, зеленые, белые огни в прекрасном ночном небе над лужайками. — Бумм!

Октябрь.

Машина времени остановилась в последний раз, в поздний час, в месяце огненных листьев. Люди вбегали в дома с тыквами и кукурузными початками. Плясали скелеты, порхали летучие мыши, в темных дверных проемах покачивались яблоки.

— Хэллоуин, — сказал мистер Филдс. — Средоточие ужаса. Это, как вы знаете, была эпоха суеверий. Потом братьев Гримм, призраков, скелеты и прочую чепуху запретили. Вы, дети, слава Богу, выросли в чистом мире, где нет духов и привидений. У нас есть пристойные праздники — день рождения Уильяма С. Чаттертона, День труда, День машин.

Глухой октябрьской ночью они шли мимо того же дома, глядя на треугольноглазые тыквы, на маски, что



щерились из темных чердаков и сырых подвалов. А в доме сидели, сбившись в кружок, дети и смеялись над страшными сказками.

— Я хочу быть внутри, с ними, — промолвила наконец Дженет.

— В социологическом смысле? — спросили мальчики.

— Нет, — ответила она.

— Что? — переспросил мистер Филдс.

— Нет. Просто хочу к ним, хочу остаться здесь, хочу жить здесь, здесь и нигде больше, хочу хлопушек и фонарей и цирк-шапито, хочу Рождество и Валентинов день и Четвертое июля, хочу все, что мы видели.

— Это уже слишком... — начал было мистер Филдс.

Но Дженет уже не было.

— Роберт, Уильям, за мной!

Она побежала, и мальчишки кинулись за ней.

— Стойте! — заорал мистер Филдс. — Роберт! Уильям, не уйдешь! — Он схватил второго мальчика, но первый уже умчался. — Дженет, Роберт, вернитесь! Вас не переведут в седьмой класс! Вы провалите экзамен, Дженет, Боб — Боб!

Октябрьский ветер бушевал на улице и вместе с беглецами мчался к стонущей роще.

Уильям бился и изворачивался.

— Нет, Уильям, нет, тебя я верну домой. Мы покажем этим двоим, так покажем, что они не забудут. Им, значит, в прошлое захотелось? Ладно. Дженет, Боб! — прокричал мистер Филдс. — Оставайтесь в этом кошмаре, в этом хаосе! Через пару недель вы ко мне с плачем приползете! Но меня тут уже не будет, нет! Я оставлю вас здесь сходить с ума!

Он поволок Уильяма к Машине времени.

— Только не надо меня больше брать сюда на экскурсии, мистер Филдс, — всхлипывал мальчик. — Больше не надо, мистер Филдс, пожалуйста...

— Заткнись!

Машина времени ринулась в будущее, к подземным городам-ульям, стальным зданиям, стальным цветам, стальным лужайкам.

— Прощайте, Дженет, Боб!

Холодные вихри октября промывали город, как воды потопа. И когда стих ветер, он вынес всех ребят, приглашенных или нет, в масках или без, к гостеприимным дверям домой. Двери закрылись, и в ночи больше не слышалось шагов — только ветерок ныл в голых ветвях.

А в большом доме, при свечах, кто-то наливал холодный яблочный сидр всем, всем и каждому, кем бы они ни были.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Электрическое тело пою!

Машина до Килиманджаро, <i>перевод Норы Галь</i>	7
И все-таки наш..., <i>перевод Норы Галь</i>	19
Женщины, <i>перевод Т. Сальниковой</i>	38
Мотель куриных откровений, <i>перевод И. Тогоевой</i>	50
Ветер Геттисберга, <i>перевод Т. Шинкарь</i>	64
До встречи над рекой, <i>перевод О. Битова</i>	83
Разговор заказан заранее, <i>перевод О. Битова</i>	94
Электрическое тело пою!, <i>перевод Т. Шинкарь</i>	108
Могильный день, <i>перевод Р. Шитфара</i>	153
Друг Николаса Никльби — мой друг, <i>перевод Н. Григорьевой, В. Грушецкого</i>	163
Силач, <i>перевод Р. Шитфара</i>	195
Человек в рубашке Роршаха, <i>перевод И. Тогоевой</i>	207
Генрих Девятый, <i>перевод Т. Сальниковой</i>	226
Марсианский затерянный город, <i>перевод О. Битова</i>	235

### К — значит космос

Превращение, <i>перевод Норы Галь</i>	273
Наблюдатели, <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	301
О скитаньях вечных и о Земле, <i>перевод Норы Галь</i>	321
Наказание без преступления, <i>перевод Я. Берлина</i>	342
Кричащая женщина, <i>перевод С. Шпака</i>	354
Ржавчина, <i>перевод З. Бобырь</i>	370
...И времени побег, <i>перевод В. Серебрякова</i>	376

## МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Собрание фантастических произведений в 7 томах

Том шестой

Составитель *Д. Смушкович*

Ответственный за выпуск *Е. Чутов*

Редакторы *В. Баканов, М. Проворова*

Технический редактор *К. Козаченко*

Корректоры *Ж. Голубева, А. Хиришфелде*

Оператор компьютерной верстки *Е. Глуховская*

Оформление шмуцтитолов: *В. Ковалев*

ЛР № 062455 от 23.03.93.

Подписано в печать 30.05.97. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Гарнитура Таймс. Печать высокая.

Усл. печ. л. 20,16. Тираж 10 000 экз. Заказ № 743.

Издательство «Полярис»

Латвийская Республика, LV-1039, Рига, а/я 22

Отпечатано с готовых диапозитивов

на Тверском ордена Трудового Красного Знамени

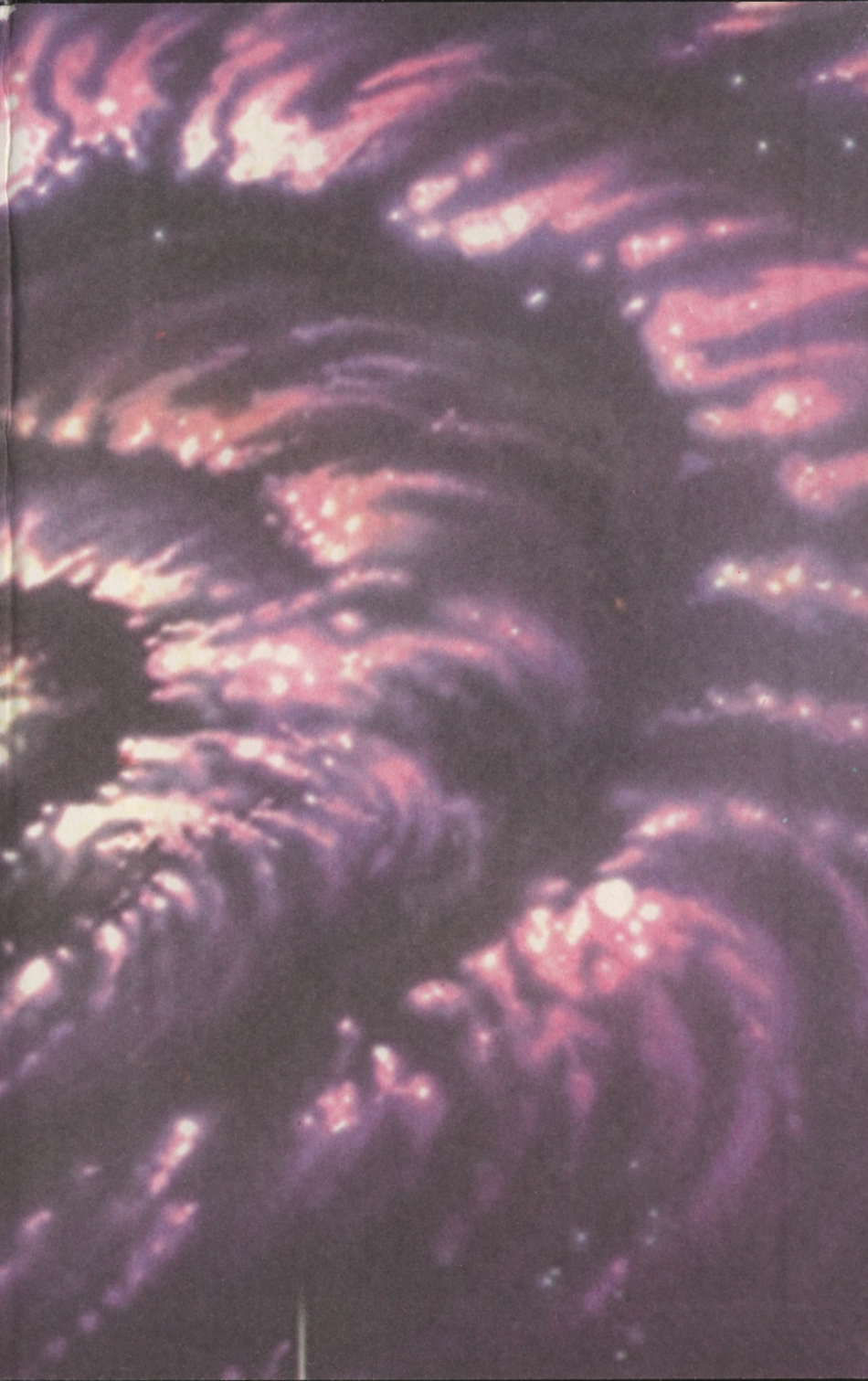
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР

Государственного Комитета Российской Федерации по печати

170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.



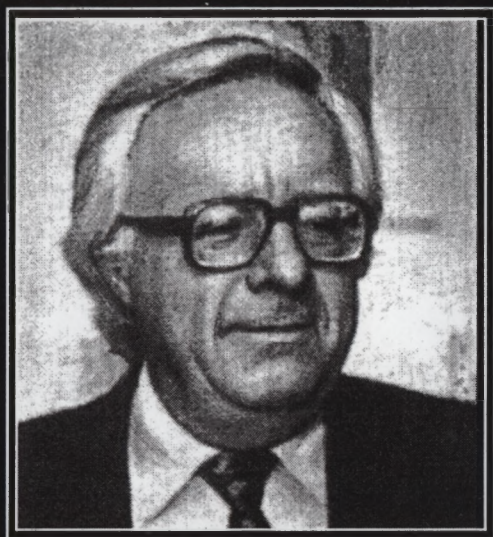






# **МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ**

**В СЕМИ ТОМАХ**



## **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО ПОЮ!**

Удивительные и поэтичные рассказы, вошедшие в этот авторский сборник, открывают перед восхищенным читателем не только потаенные глубины человеческих душ, которые, как открытую книгу, читает автор, но и нечто большее — великий талант американского сказочника.

## **К — ЗНАЧИТ КОСМОС**

Космос велик и исполнен чудес. Но не только в глубинах пространства и времени подстерегает нас необычайное, потому что каждый из нас — частичка космоса...

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»**

**1997**